95 коп.

14

Индекс 73276



ISSN 0130-741X

НЕВА

12 | 1988



«Нева», 1988, № 12, 1—208

НЕВА

Выходит
с апреля
1955
года

12 | 1988

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
иллюстрированный
журнал

Орган
Союза
писателей
РСФСР
и Ленинградской
писательской
организации

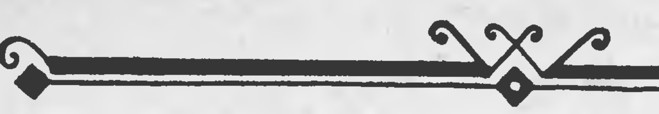


Ленинград.
Издательство
„Художественная
литература."
Ленинградское
отделение

Содержание

В номере цветная вклейка: «Александр ФЛОРЕНСКИЙ. Первая выставка».

На обложке: гравюра В. БЕНДИНГЕРА «Медный всадник».



Олег ТАРУТИН

БОЛЬНИЧНЫЕ СТИХИ

1. ПОЕЗД ЖИЗНИ

Скорость — качество благое.
Так ли думаю теперь?
Перестуки, лязги, сбои...
Ну какое Бологое!
Промелькнула даже Тверь...
Ах, курьерское железо,
что ты мчишь, как под откос?
Дай спокойно мне и трезво
вспомнить то, что пронеслось.
Иль тебе не все едино?
Хоть немного потяни...
А предфинишного Клина
скорость смазала огни.
Все мы катим, нету спора.
Все — вперед, а не назад.
И не держат семафоры...
Только все же — ах, как скоро,
ах, как все же грустно, брат...

2.

Я лежу в реанимации.
Флаги бодрости — опущены.
Не имею информации
относительно грядущего.
Мой сосед курортной нации
свесил руку полосатую...
И бормочет он в прострации
что-то радостно-невнятное.
То ли скачет он над кручами,
то ль в саду любовью лечится.
...Проводами грудь окручена,
по дисплею сердце мечется...
Впрочем, смерть над ним не клацает
костяными кастаньетами.
Вышел врач реанимации
отдышаться сигаретами...
Медсестра с усталой грацией
чуть позвякивает шприцами...
Тяжкий сон реанимации.
К сожаленью, друг Горацио,
это все-таки не снится нам...

3. ВПУСКНОЙ ДЕНЬ

Воскресенье. День свиданий —
родником среди песков.
Запах чудного питанья
из пакетов и кульков.
Шелест тапочек домашний,
бодрый короб новостей:
мол, суконный день — вчерашний,
а сегодняшний — калашный,
где удачи всех мастей.
...Я и сам ходил в палаты,
силой-бодростью дыша,
улыбался, как с плаката,
а теперь лежу плашмя.
Не встаю навстречу другу,
и минор в душе брюзжит:
скоро, бодрый и упругий,
друг мой дальше побежит...
Не встаю навстречу даме.
Я о ней мечтал годами
с нежным трепетом в душе.
Мне теперь с ее пудами
делать нечего уже...
Я рукой машу: идите!
Уморил меня прием.
И смотрю, печальный зритель,
как идут они вдвоем.
Улыбаюсь умудренно,
возвращаюсь в свой мирок.
То ль навеки примиренный,
то ли все-таки на срок.

4.

Встаю, разбужен, в морганье век.
Последний ужин — сребристый хек.
Последний вечер дождем кропит.
— Бегом тут лечат! —
сосед хрипит.
Жует, обросший, сопит, смурной...
В инфаркте брошен второй женой.
Ему больница — родимый дом.
Вот с ней простится, а что потом?
Слюной лечиться — плевать на все?
Ему — судиться, и то, и се...
А мне вот — радость, а мне вот — прок!
Неужто вправду окончен срок?
...Скелет трехгранный: доеден хек,
и к сердцу прана струит свой бег.
Сосед, голубчик, восславь судьбу!
Иль было б лучше скучать в гробу?
Поделит метры народный суд.
Пиджак твой ретро не унесут!
Я в душу лезу, а мне в ответ
зубным железом хрустит сосед.
Ну, ну, не буду... Но боже мой,
какое чудо: с утра — домой!

ГАДАНИЕ У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

— Покажи мне ладошку, соколик.
А колец у тебя, а перстней!
Да не тычь ты в меня биополем —
у меня эта штука сильней!
Золоти мне, бриллиантовый, ручку.
Ох, красавец! Не ври, не греши!
А в кармане-то в левом — получка?
Что за ливры? Да ты покажи.
Ни в какой кошелек я не лезу:
звон ты где, а звоно — я...
Да не суйся ты с телекинезом,
половина уж точно моя!

Не кричи, драгоценный, не надо.
Я тебя и без звука пойму.
Видишь, ходит милиция рядом?
Нам с валютой она ни к чему!
А теперь я тебе погадаю.
И попробуй оспорь, отопрись:
хоть и внешность твоя молодая,
ты уже пожилой интурист.
А зовут тебя — граф Калиостро.
И спешишь ты, ну прямо горишь!
То ли — я не пойму — в Белоостров,
то ли — я сомневаюсь — в Париж...

РАССЕЛЕНИЕ

Коммуналка выстрадала волю:
те — на Ржевку,
эти — в Озерки...
За стеной квартирный алкоголик
безучастен, смыслу вопреки.
Коммуналка нынче мягче воска,
ей сосед почти уже в печаль...
Но вовсю торопит перевозка,
по ступеням мебель волоча.
...Капли с крана раковину колют
в непривычной гулкой пустоте.
Догорает тихо алкоголик
на своей чудовищной тахте.
Он лежит небрито-синелицый.
Что там ордер! Что там переезд!
Не успеет даже похмелиться,
из кастрюль забытых не поест...
Он лежит с закрытыми глазами,
и он видит сквозь последний хмель,
как садится — еле осязаем —
кто-то белый на его постель.

Белоснежный, нежный посетитель,
говорит он:
— Вот и срок истек...
Я твой ангел, твой несохранитель,
ах ты Вити, Витенька, Витек...
«Неотложку» вызвать я не властен.
Ты меня уж заодно прости:
я тебя ни от одной напа́сти
ни спасти не мог, ни отвести...
И теперь над этим страшным ложем,
обескрылев в образе твоем,
я — как ты. И да простит нам боже
в вечном милосердии своем.
...Алкоголик размыкает вежды
и глядит:
так вот он ты какой...
Значит, вовсе ты не белоснежный,
ты — сугроб весенний городской.
Ноздреватый, грязный и осевший,
где окурки втоптаны в плевки...
Ну, и квиты, дядя... И утешен...
И ничьи на стуле медяки...

ВООБРАЖАЕМАЯ РЕЧЬ

Кабы знал я древнегреческий,
я бы в древность путь прорыл,
я бы влез в одежде жреческой
на трибуну той поры.
Я бы начал содержательно,
на груди рванув хитон:
«Волей Зевса Вседержателя,
был мне послан вещий сон.
Был я в будущем, сограждане,—
двадцать пять веков вперед!
До того Земля загажена:
дрожь берет! мороз дерет!
Все глубины посейдоновы,
весь живительный эфир
пестицидово-гудроновый —
выхлопной мзгадил мир!
Все изрыто, разбуравлено,
перепилено давно!
Нимфы нежные потравлены

и сатиры заодно!
Поклянемся всем собранием,
всей агорою, сиречь —
вырвать корни одичания,
человечество сберечь!
Тормозите технократию,
драгоценные собратия!
Философия, поэзия —
да пребудут на коне,
ну, а техника железная
пусть хромает в стороне!
Сбережем потомков, граждане!..»
...А толпа рычит в ответ.
И не влезешь в душу каждому:
убедил я или нет?
Проняла ли их риторика?
Только все-таки боюсь:
ох, не вырастет историком
карапуз из Сиракуз...

ВОСПОМИНАНИЕ

...Окна здании барачного,
в палисаднике — березы.
Дискобол, с рукой утраченной,
загипсован в трудной позе.
Неких ящиков горение —
запах с примесью резины.
Где-то там, у края зрения —
промелькнувшая дрезина.
Провода с какой-то птицею,
наблюдающей в веселье,
как работники милиции
на таежника насели.
Как он рьяно вырывается!
Как он, верно, любит волю!

Но бузить не полагается,
даже если — после поля.
Где, ища запаса рудного
для страны и для народа,
ничего такого людного
не видал уже полгода.
...Почему мне это помнится
через годы-расстоянья,
и душа обидой полнится
при одном воспоминаньи?
Не ко мне ли эти санкции
очень грубо применяли
на забытой богом станции
Транссибирской магистрали?

НА ПРИЕМЕ

— Ну, что за проситель?
— Пракситель.
— Уж больно орать он здоров!
Чего ему надо?
— Простите,
и этот насчет мраморо́в...
Уж я ему — как человеку:
мол, нету паросских пород.
Все отдано питому веку,
а он из четвертого прет!

Поверили ж Фидий и Мирон,
что мрамор отправлен в шестой,
лишились сознания мирно,
а этот — настырный такой!
— Так как его звать-то?
— Пракситель...
— Ну что же,
прощай не прощай...
Вы этих двоих выносите,
а после заходит пущай!

◻ ◻ ◻

Непроста расползались когда-то
совокупные материки:
расползались в преддверии даты,
что наступит, всему вопреки.
Торопились свирепо и слепо,
выгрызаясь из общей брони,
обрывали сосуды и скрепы,
размягчая в базальте клешни...
А Земля — в мезозойском обилье:
нету счета телам и стволам...

Для чего ж растащили, укрыли
семя жизни по разным углам?
То планета учуяла разум
и себя в пятипалой горсти.
Чтоб не разом,
чтоб все же — не разом,
чтоб хоть толику жизни спасти.
А еще и не пахнет приматом,
тьма веков до разумных, до нас...
Рановато, Земли, рановато...
В самый раз, говорит, в самый раз...

◻ ◻ ◻

Срок пришел, и вымерли рептилии,
ничего в природе не нарушив.
Захлебнулись тяжкие флотилии,
танки-туши замерли на суше.
Ничего никем на них не сброшено,
в жвачку не намешено отравы —

пали, эволюцией подкошены,
в некий час, безжалостный и здравый.
А такое — разве же предвидели
эти туши из болот минувших?
Срок придет, и вымрут все властители,
ничего в природе не нарушив.



Рис. Л. Московского

1

— Вам привет от бабы Леры...

Уж сколько лет прошло, а я до сей поры слышу эти слова. Они звучат в телефонной трубке то мужскими, то женскими голосами как пароль странного братства незнакомых людей, как сигнал из одиночества. Как отзвук неистового, вечно юного «Дае-ешь!», бешеного топота копыт, звона клинков и грохота торопливых выстрелов.

— Баба Лера, неужели вы стреляли из маузера?

— Вам трудно представить, что у этакой засохшей старушенции хватало сил надавить на спусковой крючок? А я на пари дырявила пятак, но всегда почему-то промахивалась в людей.

Баба Лера... Вечная полуулыбка на запавших губах, добрые морщинки и горькие глаза. Горькие даже тогда, когда баба Лера смеялась, а она очень любила смеяться.

— Знаете, Алиса Коонен рассказывала мне, что шестнадцати лет начала дневник с фразы: «Я очень хочу страдать». Смешно, но я тоже решила вести дневник в шестнадцать, но начало у меня было иное: «Я очень хочу умереть счастливой...» Мечтания гимназисток выпускного класса.

Шел тысяча девятьсот шестьдесят третий год, первое лето нашего знакомства. И на следующий день после разговора о девичьих дневниках и мечтаниях я пошел за четырнадцать километров в Красногорье. Я купил самую толстую тетрадь, какая сыскалась, вывел на титульном листе «ДНЕВНИК» и сам написал первую фразу: «Дорогая баба Лера! Живите долго и долго дарите людям счастье». Баба Лера неторопливо надела очки, внимательно прочитала восторженное вступление. Затем столь же неторопливо сняла очки и задумчиво постучала ими по тетради.

— Дарить счастье — это талант, а талант всегда живет меньше, чем надо. И вообще мне кажется, что следует прибавлять жизнь к годам, а не годы к жизни, уважаемый Борис Львович.

Баба Лера всех называла по имени и отчеству, делая исключение лишь для единственного человека — для Анисьи или Анюхи Поликарповны, как та сама себя иногда величала. Она звала ее Анишей, хотя сама Анисья обращалась к бабе Лере с крестьянской обходительностью: «Леря Милентьевна». Анисья была моложе бабы Леры — ей было пятнадцать, когда ее сослали, шестнадцать, когда посадили за побег из ссылки в родное село, в восемнадцать, когда «навесили» еще десятку за немыслимый по дерзости отказ удовлетворить естественное желание начальника конвоя,— но, шагнув из отрочества в ссылку, тюрьмы да лагеря и выйдя оттуда уже старухой, она ко всем обращалась только по имени, либо — «начальник», если очень сердилась.

Она мне упорно напоминала лошадь. Не исполненную грации и животворной силы кровную кобылицу, а заморенную, мослаковатую, с екающей селезенкой несуразную крестьянскую Савраску. Лошадиными выглядели даже ее руки: тяжелые, длинные, в узлах вздувшихся вен; лошадиной была сутулая костлявая спина, тоскливые, глубоко проваленные глаза и те четыре зуба, что еще сохранились чудом каким-то. Четыре желтых, больших, как стамески, резца в верхней челюсти, которыми она не жевала, а скоблила хлеб или картошку, совсем по-лошадиному мотая при этом головой.

— Аниша, ты бы вставила зубы.

— Ништо, господь и такую примет, не обознается.

— В рай метишь?

— А куда ж меня еще, Леря Милентьевна? Я в жизни не по своей воле грешила. А по своей всего один разочек, один-разъединственный за все зимы мои.

Анисья считала не годами, не летами, а только зимами: «мне, почитай, сорок девять зим намело, так-то».

— Сорок девять лет?

— Зим, милай, зим. Это у вас — леты, а у меня вся жизнь — вьюга да мороз. Стало быть, зимы и надо считать.

Спорить с нею было бессмысленно, ибо она не признавала никакой логики, и сама баба Лера отступалась, когда коса находила на камень. А такое могло случиться вдруг, совершенно непредсказуемо, от мимолетной интонации или случайно сорвавшегося слова. Тогда Анисья Поликарповна замолкала и долго глядела на провинившегося тяжелым изучающим взглядом. Тот порою не замечал этого, продолжая болтать, но баба Лера мгновенно ощущала силовое поле протеста, исходившее от Анисьи, и пыталась вмешаться.

— Аниша, пожалуйста, завари свежего чаю.

Если Анисья безропотно брала чайник и уходила, значит, вина гостя была еще невелика: Поликарповна отругивалась в одиночестве и возвращалась к столу. Но иногда спасательный круг бабы Леры ничем уже помочь не мог: у Аниши белели ноздри.

— А спать будешь с комарами!

— Аниша, помилуй, он все-таки гость.

— Гость? — Анисья вставала, крепко хватив ладонью по столу.— В глотке кость, а не гость! Ступай отсюдова, чего расселся?

— Аниша, оставь, пожалуйста.

— Леря Милентьевна, ты меня знаешь: я за тебя в твой гроб лягу и твоим саваном укроюсь,— проникновенно начинала Анисья и тут же срывалась на крик: — Ты глаза разуй, сестричка-каторга! Да он либо сам лягавый, либо вертухая какого сынок единственный! Ишь глядит скверно-пакостно! Пошел вон, кому говорено? Пошел, пока я тебя в Двину не вдвинула!

Однако буйствовала Анисья не так часто, как можно было бы предположить, зная ее неукротимый нрав и высшее вековское образование. Порою ей было просто некогда негодовать: она ни секунды не сидела без работы, точно стремилась добровольным трудом компенсировать то многолетнее унижение, которое вынесла ее душа от труда подневольного. Она делала по дому, вокруг дома, на огороде и во дворе все, что только замечали ее ненасытные кулацкие глаза, и баба Лера смогла оставить за собою дела кухонные, единожды вполне осознанно обидев женскую душу преданной Анисьи:

— Ты уж меня извини, но готовить буду я. У тебя, Аниша, отрава, а не еда.

Анисья поплакала и сдалась, и таким образом хоть что-то в их доме было исполнено не ее руками. Еда, соленья, варенья да шитье, штопка и починка одежды и белья стали привилегией бабы Леры, и добрая Анисья не забывала восхищаться каждым обедом. Она вообще восхищалась своей «Лерей Милентьевной» безмерно, чистосердечно считая ее образцом, посланным людям на землю для примера, и жарко молила бога об одной милости: помереть раньше бабы Леры. И бог услышал ее молитвы.

Я пишу так подробно об Анисье, потому что мне многое рассказала баба Лера в то последнее лето, когда осталась одна. Баба Лера, видимо, чувствовала, что лето и впрямь последнее, что ей не пережить зимы, но относилась к этому спокойно. И наотрез отказалась перебраться в Красногорье, на главную усадьбу, а тем паче — в город.

— Нет, нет, Владислав Васильевич, и не просите, и не соблазняйте,— улыбалась она, безостановочно встряхивая седой головой — непроизвольный жест, который появился после похорон Анисьи.— Я с Анишей душою срослась, куда уж мне без нее? Каждый день на могилу хожу и с ней разговариваю. Рассказываю, как чувствую себя, как день прошел, что в мире нового. Смешно, правда? Понимаю, а у меня — потребность. Особенно, как что-нибудь про Китай услышу: Аниша последнее время что-то на Китай сердилась.

— Да как же я могу вас тут одну оставить? — вздыхал секретарь райкома, специально прикативший уговаривать заупрямившуюся бабу Леру.— Если желаете, мы Анисьин прах перевезем.

— Ни под каким видом! — баба Лера сердито постучала по столу маленькой иссохшей ладонью.— Тут ее земля. Она сама мне место указала.

— Для вашего спокойствия хотел.

— А что до моего спокойствия, то пообещайте меня рядом с Анишей положить. Звезда и крест в одной ограде — знаете, это даже символично.

Через пять лет после знакомства я привез к недавним каторжанкам Владислава Васильевича: в то время он заведовал культурой в районном масштабе. Я рассказал ему о бабе Лере и Анисье, и он тут же собрался к ним. Сгоряча я согласился, а пока ехали, одумался и — испугался. Испугался, что Анисья учует в симпатичном мне Владиславе невыносимый для нее «номенклатурный» дух и без всяких околичностей «вдвинет в Двину». Но мы уже катили на райкомовском «уазике» по кривым дорогам Задвинья и поворачивать было поздно. Владислав что-то увлеченно говорил о деревянном зодчестве, а я страдал, предчувствуя бурю.

Предчувствие меня не обмануло: как на грех, мы попали в один из тех злосчастных дней, когда Анисья напивалась. Такое случалось два-три раза в месяц, напоминало запой, но редко продолжалось более суток. Однако эти хмельные сутки были Анисьиным днем: она не слушалась даже бабы Леры, и поведение ее было изощренно капризным. То она начинала страдать и убиваться по причине загубленной жизни, то извергала лагерный мат, то радовалась, как все прекрасно устроено богом, а иной раз начинала и сосредоточенно точить нож, чтобы раз и навсегда покончить счеты с этой... так ее и разэтак... жизнью. В таких случаях посторонним не рекомендовалось подвертываться под тяжелую Анисьину руку, а нас, как нарочно, поднесло в самый неподходящий момент.

— А, начальники! Учуяли, где на дармовщинку можно глотку сполоснуть?

Анисья сидела за столом в одиночестве. Перед нею стояли початая бутылка водки, стакан и миска с осклизлыми груздями прошлогодней засолки. Бабы Леры поблизости не было — как видно, она бойкотировала этот загул,— и я растерялся. Хотел спросить, где баба Лера, хотел прикрыть собою незваного гостя, хотел пристыдить Анисью, напомнив, как дорого обходятся ее запои «Лере Милентьевне». Хотел и не успел: Владислав Васильевич плечом оттер меня, сдернул кепку и поклонился с порога:

— Хлеб да соль!

— Ем, да...— Анисья вдруг раздумала отвечать обычной прибауткой.

Поморгала мутными глазками и, привстав, двинула налитый до половины стакан через весь огромный, рубленный топором на добрую довоенную семью, стол.— Угощайся, начальничек.

С хмельных глаз она устраивала гостю проверку. А я всю дорогу толковал о бабе Лере, так и не найдя времени сообщить об особой, болезненной обидчивости Анисьи. Но Владислав шагнул к столу, взял захватанный, мутный стакан и неторопливо, истово выкушал.

— С поклоном к вам и со здоровьем.

Анисья проморгалась, подумала, тяжело выбралась из-за стола и принесла чистый стакан. Один: я в зачет не шел. Владислав уселся напротив с таким видом, будто сто раз тут сидел, и пальцами — про вилки Анисья забывала и в трезвом состоянии — вытащил из миски комок слипшихся груздей. Анисья плеснула в стаканы, не ожидая гостя, выпила и, горестно подперев тяжелую, в седых лохмах голову рукой, хрипло завела:

Глухой неведомой тайгою...

Пока она неторопливо распевалась на первом куплете, Владислав хлебнул из стакана, закусил грибками, прокашлялся, продышался и серьезно, задумчиво подхватил вторым голосом:

Укрой тайга его густая,
Бродяга хочет отдохнуть...

Они пели неторопливо и проникновенно, будто не песня то была, а молитва. И отдавались этой молитве столь потрясенно, что из далекого конца дома вышла баба Лера, забыв про бойкот. И замерла на пороге, боясь помешать, отвлечь, нарушить это удивительное пение. И я стоял в полном онемении, потому что впервые, как мне тогда показалось, понял, что такое русская песня и почему она должна звучать не со сцены, а из-за стола. Анисья тряслась, шмыгая носом, и слезы текли по ее лошадиному лицу, а Владислав был где-то в далях и в нетях, и глаза его, глядя в упор на меня, видели что-то совсем иное.

Жена найдет себе другого,
А мать сыночка никогда...

— Понимаешь,— тихо сказала Анисья, когда они закончили песню и немного помолчали, ожидая, чтобы звуки утихли в их душах.— Понимаешь, я уж думала, подохли все, кто песню понимал. Ан нет, живы! Сейчас все хотят не своим голосом петь, а ты — своим. Ну, спасибо, ну, уважил, ну, дай, поцелую тебя.

Владислав подружился с Анисьей куда быстрее, чем я, хотя за мной во весь недосягаемый рост стоял авторитет бабы Леры. Аниша выпесла приговор сразу:

— Простой человек и, видать, бессердечный.

Я онемел от такой характеристики, баба Лера улыбнулась, а Аниша продолжала громко и невозмутимо пить вприкуску чай из блюдечка. Владислав только что уехал, и Анисья определяла, куда его отнести — к чистым или нечистым.

— Как так бессердечный? Да он...

— А так, что сердце ни на кого не держит, стало быть, бессердечный и есть,— пояснила она.

С того дня Владислав часто наведывался к старушкам: даже зимой умудрялся пробиться на вездеходе через замерзшую Двину. Следил, чтобы продуктов им подбросили, керосину да дров, хотел телефонный провод протянуть, да не успел... Наскакивал внезапно, на час-другой, и исчезал вдруг, но на неделе непременно звонил в Красногорье. И связь не обрывалась и длинными сумеречными зимами.

А я зимой у них никогда не был. Мечтал об этом, по возвращении от бабы Леры строил планы, но наступала зима, работа, московская суета, и мне все никак не удавалось выкроить недельку. А впрочем, мы всегда мечтаем с большим энтузиазмом, чем пытаемся осуществить хоть что-то из своих мечтаний, и я не был исключением, красочно представляя себе двух старых женщин в желтом круге керосиновой лампы, уютное тепло раскаленной печи, сугробы до половины окон, нестерпимо белые снега да великую тишь за стенами избы. Не белое безмолвие Джека Лондона, а ту оглушающую русскую тишину, от

которой сходят с ума. И на четырнадцать верст вокруг нет ни одного огонька, а баба Лера негромко читает, часто останавливаясь, чтобы растолковать прочитанное темной сестре своей.

— Ты все поняла, Аниша?

— Серьезный человек Каренин-то этот, чего ж не понять. А офицеришко, поди, стервь, а? Задрал бабе подол, она и голову потеряла.

— Мне кажется, здесь все-таки сложнее. Женщина хочет любить, это ее право.

— Чего? — презрительно тянет Анисья.— Очнись, сестричка-каторга! Тебя блатняки с нар на нары передавали? Вот и вся наша любовь.

— Лагерь — зловонная яма на дороге. Кто перепрыгнул, кто упал, но все равно он — позади. А жизнь — впереди.

— Лагерь он и есть вся жизнь наша! — разозлясь, уже кричит Анисья.— Там даже лучше, если хошь знать, лучше, сестричка-каторга! Там все свою цену имеет, а тут — слова одни, а цены нет никакой...

Они постоянно спорили друг с другом, и последнее слово всегда оставалось за Анисьей. Но постепенно, год от года, от спора к спору было заметно, как мягчеет, оттаивает вечная каторжанка, в тугие пятнадцать лет познавшая всю звериную лагерную науку и не узнавшая ничего более. Ее сжигали старые обиды, она кричала, спорила, дралась и пила, не в силах понять, что обижаться уже не на кого. И хотя не было у нее спасительной мудрости бабы Леры, скандалы ее были кратки, обнаженны и отходчивы. И уже через час она с виноватыми глазами ластилась к своей сестричке-каторге, ибо во всем мире не было для нее никого дороже, святее и благороднее ее «Лери Милентьевны».

— Офицерье — они такие.

— Анна полюбила человека, а не форму. В те времена даже образованной женщине трудно было отстоять свое человеческое достоинство.

— Достоинство,— несогласно проворчала каторжанка.— Начальника лагеря на начальника конвоя сменила, дура, вот и все достоинство. А ребятеночка...— Аниша внезапно замолчала и зло нахмурила светлые разлапистые русские брови.— Ладно, читай уж.

И баба Лера безропотно начала читать; худенькая рука ее нашла жесткую жилистую ладонь Аниши и нежно поглаживала ее. А подруга курила папиросу за папиросой, и по остекленевшим глазам ее было видно, что до нее не доходит сейчас ни одного слова. Тогда баба Лера переставала читать, шла к тумбочке, где хранились лекарства, и, не отмеряя, наливала валерианки.

— Выпей,— обнимала за плечи вдруг окаменевшую подругу, тихо целуя в седую, редкую гриву.— Пожалуйста, очень прошу. А то и я вспоминать начну, и будем мы с тобой реветь до завтрашнего вечера. А что толку-то? Ну, ревут взахлеб две старухи — эка невидаль.

Иногда Анисья выпивала капли и мягчела, иногда решительно отталкивала протянутую руку и бежала во двор, где прятала свои бутылки. И начиналась пьянь, ругань и слезы.

— Пьем в скорбях о материнском праве,— объявляла баба Лера с грустной и одновременно виноватой улыбкой.— Пить перестанет, пожалуй, завтра к вечеру, но неделю не советую задевать. Уж извините нас: как теперь говорят, «болевая точка».

Болевая точка была настолько ощутима, что Анисья приходила в себя, будто после приступа. В эти дни она была на редкость неразговорчива, груба и трудно переносима даже для очень близких. Исключая, естественно, бабу Леру, которая все понимала и все прощала, ибо была не только мудра, но и смертельно ранена тем же оружием, которым нанесли раны открытому и доброму сердцу Аниши.

В огромном — в два этажа — доме старушек, где ни одна дверь не запиралась на замок, даже если обе хозяйки надолго уходили в Красногорье, никогда не бывало ни одного ребенка. Здесь с открытой душой принимали редких туристов и топографов, рыбаков и охотников, собирателей фольклора и странствующих художников — при одном непременном условии: без детей. Условие это не знало никаких исключений и неукоснительно проводилось в жизнь при любых обстоятельствах, хотя баба Лера поддерживала активную дружбу

с детьми, но так сказать, вне стен этого дома. Она была почетной пионеркой и еще кем-то в Красногорской школе, часто ходила туда зимой — пока, естественно, была дорога,— а летом посещала пионерские лагеря и любила рассказывать ребятам о гражданской войне. Но это, повторяю, вне дома, а в нем баба Лера свято соблюдала все условия, выдвинутые Анисьей.

— Есть одна тема, которую не надо бы затрагивать,— сказала мне баба Лера в самом начале нашей дружбы.— Аниша очень болезненно реагирует на любые упоминания о детях, и на это, поверьте мне, у нее есть очень серьезные причины.

Я воспринял предупреждение бабы Леры как закон, но Анисья сама однажды начала разговор. Баба Лера ушла в пионерский лагерь на очередной костер с воспоминаниями, Анисье это очень не понравилось, и заговорила-то она, как мне кажется, от несогласия.

— Пионери,— ворчала она, гремя самоварной трубой.— Пионери и пионерьки, костры и дымища.

Я сидел в сторонке, двумя руками отмахиваясь от комаров. Был поздний вечер, было светло, как днем, и Двина под обрывом играла всеми красками исчезнувшего за горизонтом солнца.

— Пионерьки называются, а грудища, как у верблюда. Иди в дым, горемыка, чего комарье подпаиваешь?

Я послушно пересел поближе к струе густого желтоватого дыма, валившего из самоварной трубы. Анисья еще раз громыхнула ею, подсыпала сосновых шишек, ударила ладонью о ладонь и сердито уселась рядом. Закурила и вдруг заворчала, не глядя на меня:

— Меня такой, как пионерьки эти, на Канал пригнали за то, что я с реки Лены, где жить нам было велено, самовольно бежала в село свое родимое. Тугая была: надавишь — соком брызну, ей-богу, будто тыщу жизней в себе носила. На Канале говорят: во, говорят, еще одна рожалочка приехала. Это меня так воровайка Муся окрестила и к себе в барак взяла. Блатным всегда лафа, а тогда — на особинку: бригадами командовали, контриков очкастых перевоспитывали и жрали с котла первые, а нам — водица теплая. Я потому к ним-то и пошла, дура, а Муся эта меня на второй день своему полюбовнику подложила. От него я и понесла попервости, да мертвенького родила: глупой была очень, отбиваться не умела, и мяли меня тогда сильно, когда и по пять раз на дню мяли, вот ребеночка и задушили. Много раз я потом мертвеньких скидывала, а шестерых живеньких родила и кормила, сколь позволяли. Месяца четыре-пять покормлю, и отбирают от меня деток моих, как щенят у суки. Опять в барак, опять на общие. Я ревмя реву, груди огнем горят, молоко из них ручьями текет, а меня — на лесоповал да на полную норму. Из-за слез деревьев не видишь, в ушах не пилы — деточки твои плачут, и думаешь только: господи, хоть бы тебя, непутевую, болваном каким придавило. А потом глохнешь вроде, сердце запекается, и рвешь ты собственных своих деток из себя самой. Где они сейчас, как зовут их, какая такая фамилия у них? Ничего не знаю. Без вины я виноватая, а на деток все одно глядеть не могу. Душа у меня темнеет, будто черной пылью покрывается, и стыд уж так гложет, что задавиться хочется. Почему стыд, спросишь? А кто ж его знает, может, и от совести. Все во мне убили, все во мне пожгли, все во мне опоганили, а совесть и там выжила. И боюся я детских глаз, будто подлюка я и стерьва. Страдали мы с Лерей Милентьевной, страдали, рожали-рожали, а на старых годах — никогошеньки в доме. Как в лесу, хоть «ау!» кричи...

2

Калерия Викентьевна Вологодова родилась в 1900 году, и история превращения ее в бабу Леру расписана по ключевым датам нашего столетия. Пяти лет от роду она проснулась от стрельбы на Пресне, в десять рыдала навзрыд, узнав о смерти Толстого, в пятнадцать провожала на германскую свою первую, еще старательно скрываемую от самой себя, любовь.

— А в семнадцатом он вернулся, можете себе представить? Ноябрьской

ночью забарабанили в двери. Все испугались: глухая темень, правопорядок рухнул, на улицах вторые сутки идут бои. Но стучали настойчиво, пришлось открыть, и вбежал Алексей. В форме, офицерской портупее, еще с «Георгием», но уже без погон.

«Лера, у нас — тяжелораненые, юнкера обошли, хотите нам помочь?»

И я пошла сразу, как стояла, так и пошла, даже, кажется, забыла оглянуться. Моя жизнь начиналась, как роман, и я была счастлива, как бывают счастливы только в романах...

Так тихой белой ночью баба Лера начала рассказывать мне о самом главном, самом светлом, гордом и чистом — о своей молодости. И я понял секрет ее бессмертного оптимизма: вся ее жизнь опиралась на легендарную юность, идеально совпавшую с юностью нашей страны.

Каждое дитя рождается в муках и крови, и каждая мать обмирает от счастья, навсегда забывая собственную боль. И ребенок, по-моему, плачет тоже от счастья, тоже навсегда забывает об ужасах собственного рождения и подсознательно помнит только великий миг освобождения...

Стояло жаркое лето. Еще было время до смертной зимы; еще сухонькая, с фигуркой подростка баба Лера неделями бродила по лесам, ночуя в брошенных селениях и забытых скитах. Она была удивительно отважной, эта дочь царского сановника, жена героя гражданской войны, вдова врага народа, вечно юная большевичка Революции и солнечная женщина безулыбчивого двадцатого столетия.

— Страшно ли одной в лесах? Порою невыносимо, но страх — самое унизительное чувство. Он перечеркивает человеческое «я», оставляя животное «мы»: недаром страх был оружием фашизма и уголовщины. Я знаю первое лишь по документам, но хорошо знакома со вторым. И когда я подавляю в себе страх, я торжествую победу над всеми, кто пытался вселить его в меня. О, это удивительное чувство, будто в вас звучит труба. Далеко-далеко и звонко. Кто хоть раз слышал ее, тот никогда не унизится до страха.

Она говорила закругленными книжными фразами, но так, что собеседник никогда не ощущал резонерства, оставаясь собеседником и не превращаясь в слушателя. Баба Лера сообщала только то, во что веровала, не боясь банальностей, а потому и не скатываясь на них. Я любил слушать ее и Анисью, может быть, еще и потому, что к этому располагала сама природа — белые ночи, играющая красками на закатах и зорях Двина, оглушающая тишина и огромные пространства когда-то густонаселенного, а теперь обезлюдевшего края. Это была добычливая окраина, где до сей поры жили не знавшие крепостного права потомки гордых новгородцев, отличавшиеся особой степенностью, достоинством и самостоятельностью. Они не подверглись той обработке страхом, который был характерен для жителей собственно Великороссии, и мне восторженно представлялось, что они бесстрашны и несгибаемы извеку. Я объявил об этом, но баба Лера грустно улыбнулась.

— Аниша родом из этих мест. Поговорите с нею.

Я перевел рассуждения о страхе на понятный Анисье язык. Она сидела на высоком парадном крыльце строенного на века дома и сосредоточенно скоблила репу уцелевшими зубами. Выслушав, долго разминала огрубевшими деснами сладковатую кашицу.

— Самостоятельные были, верно. Это в России лапотники, а у нас — все в сапогах, даже если и бедолага какой. И бар не было, правильно говоришь. Даже слова такого не знали, бабушка сказывала, а потому и жили мы дружнее, чем у вас в России.

— Ой ли? И бедняки с кулаками дружили?

— Ха! — она колюче глянула на меня.— Кулаков тогда и навовсе не было. А вот так скажу тебе, что в каждом селе обязательно одно окошко светилось цельную ночь. Сегодня, скажем, у Севостьяновых, завтрева у Чекалкиных, а там еще у кого. Вроде как дежурство. Чтоб человек и в самую черную ночь знал, под каким окном ему краюху хлеба искать.

— Для охотников, что ли?

— Эх-ма! — с презрением выдохнула Анисья.— Охотник, он и в дверь войдет. А этот свет для тех, кто сторонкой шел, глухой да неведомой, ночами да лесами. Кто глаз опасался, чтоб людей во грех не вводить, чтоб им врать не приходилось. Беглым окошечки ночью светили, беглым.

— Каторжникам?

— Это для начальников они — каторжные.

— А если убийца?

— Ты, что ль, ему судья? Раз бежал, значит, несогласный. Согласный никуда не бегал, совесть не позволяла.

— Аниша, ну как же так? Ты же уголовников ненавидишь, а тут вдруг защищаешь их.

Анисья долго молчала, а потом разразилась монологом, где частично понятными были только матерные слова. Но то ли потому, что ругалась она на блатном жаргоне, то ли от искренности матерщина не похожа была на сквернословие, а казалась словесной шелухой. Баба Лера всегда останавливала такие пассажи, по-особому, искоса поглядывая на Анисью. Та сразу же замолкала и начинала усиленно пыхтеть, будто бежала в гору.

— Нелогично рассуждает наша Аниша? — улыбнулась баба Лера.— А вы попробуйте забыть о тех абсолютах, которые заучивают с детства. Ведь думать — значит анализировать предлагаемые обстоятельства, а не с натугой припоминать, как там полагается реагировать по правилам. Я зануда?

— Что вы, баба Лера!

— Вероятно, но что же делать, когда так хочется оставить людям хоть чуточку личного опыта.

Баба Лера сокрушалась, что мало у нее сил и мало времени. Она вела в огромном Красногорском совхозе необозримый по темам курс лекций: рассказывала о Софье Перовской и Екатерине Второй, о правах женщины и обязанностях матери, о свободе личности и законах общества, о гражданской войне и строительстве социализма, о... Господи, о чем может рассказывать потомственная русская интеллигентка? Она торопилась успеть, не щадила себя, выступала и писала, и в далекое Красногорье шли весомые посылки с книгами, журналами и фотокопиями документов.

— Мой муж в двадцать три года руководил действиями армейской группы и был настолько знаменит, что я из самолюбия оставила девичью фамилию.

Баба Лера ничего не придумывала, не сочиняла, но во всех ее рассказах о муже, юности и гражданской войне отчетливо звучал оттенок горделивости. Это нисколько не мешало мне слушать, но помимо воли все ее воспоминания приобретали характер романтический, будто надевали котурны. Калерия Викентьевна Вологодова искренне гордилась не собою, а своим и впрямь легендарным временем.

Бывший поручик стал знаменитым уже в первый год гражданской войны. Он командовал тогда пехотной дивизией на южном фронте и оказался отрезанным от резервов, тылов и снабжения. Нависала реальная угроза полного окружения, в батареях оставалось по полтора снаряда на орудие, а в подсумках — по две обоймы на винтовку. Следовало уходить, отрываться от противника, превосходящего по всем видимым военным статьям, но молодой начдив медлил, рассылая во все стороны связных. Он собирал остатки красных войск, разбитых петлюровцами или деморализованных страхом. И когда собрал всех, кого можно было еще собрать, объявил себя полновластным и единственным командиром и начал отход. К тому времени петлюровцы перекрыли все вероятные пути отступления, сосредоточив на важнейших направлениях ударные курени, но Алексей повел свои войска совсем уж невероятными путями. Он организовал ряд ложных движений, широко и умело пользовался дезинформацией, совершал неожиданные ночные броски и не просто уберег войска от невыгодного боя, но умудрился так запутать противника, что два куреня долго и усердно колошматили друг друга, а красные тем временем без боев уходили все дальше и дальше в степи, к рабочему Донбассу. Это был уникальный в военной истории марш безоружной армейской

группы — без дорог, обозов, боеприпасов и продовольствия — по территории, занятой врагом.

— Сейчас уже немыслимо представить эти марши,— баба Лера ласково и задумчиво улыбнулась своему мятежному прошлому.— Тысячи людей идут босиком, и степь гудит в такт их шагам. И марево на горизонте, и сухарь на весь день, и страх, что отрежут, перекроют дороги, что навяжут бой, а патроны есть только у дежурного полка,— она неожиданно вскинула голову, и я увидел в ее старческих глазах две искорки: оттуда, из тех огней.— Мы много говорим о страхе, и убеждаем друг друга, что он унижает, а ведь тогда, в том походе, боялись все, кроме Алексея,— баба Лера строго посмотрела на меня.— Я знаю, что страх был ему неведом, влюбленную женщину не обманешь. А я и по сей день в него влюблена. Так же, как тогда, в восемнадцатом...

Тогда он шел пешком, как все. В ярко начищенных хромовых сапогах, перетянутый офицерской портупеей, с тяжелым немецким биноклем на груди. Люди падали от изнеможения, голода, отчаяния, тепловых ударов; люди сбрасывали с себя все, что возможно, и шагали, обливаясь потом. А бывший поручик шел размеренным шагом, крепко сжав тонкие губы, и дышал только носом.

— Алеша, позволь людям передохнуть.

— Нет. Мы должны сохранять отрыв от противника в дневной переход.

— Расстегнись. Солнце в зените.

— Иди молча и дыши через нос. Четыре шага — вдох, четыре — выдох, четыре — вдох, четыре — выдох. Только так можно дойти.

Ни одной пуговицы не расстегивал на людях, ни одного вздоха, ни одной жалобы не слышали они: дисциплина. Каждое утро — зарядка, бритье, начищенные сапоги: дисциплина. Ежедневные приказы, отпечатанные на машинке.

— Алеша, милый, их же никто не читает!

— Дисциплина, Лера. Печатай: пункт первый. За истекшие сутки наши доблестные войска...

Дисциплина — это уверенный, всегда ровный голос командира. Дисциплина — это оркестр, беспрерывно играющий марши. Дисциплина — ночная поверка караулов после сорокаверстного перехода. Дисциплина — упругий шаг, когда нестерпимо болят растертые в кровь ноги. Дисциплина — вечный спор с отважным рубакой Егором Ивановичем, командиром кавалерийской бригады.

— Колоритнейшая личность! — увлеченно рассказывала баба Лера.— За десять лет до революции поднял восстание, жег усадьбы и экономии, раздавал крестьянам хлеб, скотину, деньги, наказывал жадных и жестоких и был чрезвычайно, сказочно популярен. Его не раз ловили, а он убегал и снова брался за свое. В конце концов его все же поймали и сослали в Сибирь, в бессрочную каторгу, откуда он освободился только после Февральской революции. Он был чудовищно смел, самоуверен и темен.

Егор Иванович действовал самостоятельно, однако при угрозе окружения согласился на настойчивые предложения начдива объединиться. Прискакал в село, где стоял штаб, бросил поводья вестовому, громыхая парадным кирасирским палашом, вошел в избу, где Лера печатала очередной приказ, который диктовал затянутый во все офицерские ремни Алексей.

— Здорово, начдив! — гаркнул с порога огромный, картинно увешанный оружием недавний гайдамак.— Жмут, гады... тра-та-та! Но мы им намылим холку... тра-та-та!..

Бывший повстанец пользовался матерщиной с изобразительностью и щегольством истого южанина, но бывший офицер не переносил подобного общения, несмотря на два окопных года. Побелев, вскинул голову, снизу вверх глядя на рослого комбрига, и рука его медленно поползла к кобуре.

— Алеша...— еле выдохнула Лера.

Рука остановилась на полдороге. Начдив глубоко вздохнул и громко, чтобы слышали вестовые и ординарцы, толпившиеся под открытыми настежь окнами, отчеканил:

— Если вы при мне или моей жене еще раз посмеете произнести хотя бы

одно скабрезное слово, я пущу вам пулю в лоб в то же мгновение. Кру-гом! Шагом марш!

Знаменитый мятежник настолько опешил, что тут же и вышел, «кругом», правда, не повернувшись. Два часа он гонял по окрестностям, нещадно нахлестывая коня и отводя душу в сверхизощренной ругани. Потом перегорел и вернулся.

— Командир отдельной кавалерийской бригады,— хмуро представился он в той же избе.— Прибыл для согласования, как жить дальше.

— Рад познакомиться,— сухо ответил начдив.— Прошу садиться,— он повернулся к машинистке, собиравшей бумаги.— Вы свободны. Ко мне — начальник штаба.

Лера вышла, а мужчины некоторое время молчали, неприязненно разглядывая друг друга. Потом Егор Иванович перевел взгляд на потолок и сказал, политично ни к кому не обращаясь:

— Прижмет нужда, так и офицерью поклонишься!

— Пользуясь отсутствием посторонних, считаю своим долгом высказать вам претензии,— негромко сказал начдив, проигнорировав элегантный выпад комбрига.— Я — противник партизанщины, а посему буду требовать дисциплины и строгого исполнения уставов. Далее, я видел ваших кавалеристов, товарищ комбриг, и характеризую их одним словом: табор. Все, что возится во вьюках и тороках, сдать в обоз.

— Ты же — белый,— со злорадным торжеством объявил Егор Иванович.— Ты хочешь отнять у трудящего последний прибыток?

— Я хочу командовать регулярной частью, а не анархистским сбродом.

— Ах, ты командовать хочешь! — заорал вдруг комбриг с яростью и стал пугать вытаращенными глазами.— А где ты был, когда я один воевал с царизмом и жандармами? В гимназиях...

Он вдруг смолк, оставшись с разинутым ртом. Там, под вислыми украинскими усами, явно клокотал мат, но комбриг вовремя вспомнил, что его ожидает, если этот мат вырвется наружу, и сейчас мучительно давился им.

— Справедливо заметили о возрасте, если полагаете, что он заменяет собой все прочие человеческие способности,— начдив достал из офицерской сумки печать, положил ее перед Егором Ивановичем и встал.— С удовольствием меняюсь: принимайте командование всеми войсками, а я возьму вашу бригаду.

— Ах ты, недобитый...

Комбриг сорвался с места и, грохоча палашом, вылетел из хаты. Сквозь открытые окна тотчас же донеслась его забористая ругань. Отведя душу, Егор Иванович вернулся и хмуро сел к столу.

— Чуть не упали,— сказал начдив озабоченно.

— Чего?

— Чуть не растянулись, говорю, потому что носите парадную погремушку вместо боевого оружия. Принимаете общее командование?

— Ищи дурака!

— Тогда впредь прошу являться ко мне в боевом, а не опереточном виде,— начдив подался вперед, приглушил голос.— И волосатую свою грудную клетку прошу ни при мне, ни тем более при молодой женщине более не показывать. Пуговицу пришейте.

Таков был первый разговор с легендарным комбригом, и в дальнейшем отношения складывались соответственно первому впечатлению. Егор Иванович издевался над бывшим поручиком, как только мог, называя его офицерской шкурой, белым недобитком и паршивым интеллигентишкой и приправляя каждое определение художественно оснащенной матерщиной. А молодой начдив с завидным постоянством тыкал бывшего романтического разбойника носом во все упущения, не забывая при этом с глазу на глаз указывать и на личные промахи касательно формы одежды, правил поведения и привычного лексикона. После этих внушений распаренный, как после бани, комбриг с грохотом и звоном вылетал на простор, отводя душу в чутком обществе личных вестовых и ординарцев.

Но это касалось только их двоих: начдива и комбрига. Кавбригада, спаянная прежде всего огромным авторитетом командира, была грозной силой и единственным козырем начальника дивизии, которым он пользовался широко и умело. Конники вели авангардные и арьергардные бои, заставляя охочих до расправы над безоружными сечевиков держаться на почтительном расстоянии; бригада несла дозорную и разъездную службы, прикрывала ползущую на заморенных клячах артиллерию с пустыми зарядными ящиками, служила единственным активным резервом начдива и исполняла всю огромную работу, связанную с разведкой, связью и наблюдением за противником. Начдив не жалел ни людей, ни лошадей, и это особенно тревожило и обижало гордившегося своими лихими хлопцами Егора Ивановича. Когда обида переполняла чашу, комбриг мчался в штаб группы, где и изливал ее на бывшего офицера в весьма резких, громких, но вполне парламентских выражениях. Начдив никогда ничего не разъяснял, никогда не спорил и не оправдывался, а только доставал дивизионную печать и скучным голосом предлагал обмен:

— Принимайте общее командование, а я возьму вашу бригаду.

— Мальчишка! Царский недобиток! Паршивый интеллигент! — орал Егор Иванович в своей бригаде после таких поездок.

Невидимые кристаллики льда медленно накапливались в их отношениях. Егор Иванович все более открыто возмущался «офицерской спесью» начдива и уже не обрывал разговоров об измене. Теперь он стал уклоняться от свиданий с начальником дивизии, присылая своего заместителя — фигуру незначительную, как и положено заместителю фигуры значительной. И кто знает, до чего довели бы эти шепотки да взаимная неприязнь, если бы в отношения начдива и комбрига не вторгся случай — один из самых частых гостей в гражданской войне.

Егор Иванович давно и, кстати, вполне справедливо негодовал по поводу бесконечных дневных переходов и ночных марш-бросков, по опыту зная, что лошади требуется более длительный отдых, чем человеку, и что заморенный конь в бою подводит куда чаще, чем безмерно измотанный пехотинец. Начдив знал об этом не хуже, но севший на хвост противник долго не давал возможности передохнуть. Но как только группа оторвалась от петлюровцев на три-четыре перехода, немедленно был отдан приказ о суточном отдыхе для всех.

Кавалерийская бригада для дневки облюбовала тихий хуторок с чистым ставком и не менее чистой самогоночкой, легкий аромат которой тревожил измотанных маршами конников. Голые хлопцы с веселой руганью и солеными шутками купали коней, а сам комбриг мирно подремывал, отдыхал на берегу. Большой, старательно выскобленный череп его покрывал мокрый платочек, который верный вестовой то и дело освежал в пруду. Знойная тишина висела над хутором и над степью, и этой тишине нисколько не мешал жеребячий гогот лихих кавалеристов. Зануда начдив остался в десяти верстах, в селе, где располагался штаб, и Егор Иванович пребывал в покойной истоме.

— По шляху ктой-то верхи бегет,— доложил вестовой, принеся платочек.— Видать, с приказом.

— Вот и покурим,— не открывая глаз, пошутил комбриг, поскольку принципиально не читал ежедневных штабных обзоров, напечатанных на машинке.

Всадник на запаленной, хрипящей лошади вылетел на берег, топча разложенные для просушки выстиранные рубахи и подштанники. Просипел, исходя в кашле:

— Там... начдива... кончают.

И упал на землю, подставив нестерпимому солнцу четыре запекшихся пулевых дырки в спине. Рокочущий бас комбрига вмиг перекрыл хохот хлопцев, плеск воды и ржание лошадей:

— На конь!..

И, вырвав клинок из лежавших поверх аккуратно сложенной одежды ножен, первым вскочил на неоседланного коня:

— За мной!..

Хлопцы влетели на мокрые лошадиные спины еще в пруду, разбрызгивая воду, гнали к берегу, на скаку подбирая оружие. И голые, на блестящих мокрых конях мчались вслед за сверкающей шашкой комбрига.

— Дае-ешь!..

Ах, какая это была атака! Все четырнадцать с половиной тысяч войн, которые вело человечество за всю запомнившуюся историю, не знали такой атаки. Пятьсот мокрых, распаленных скачкой коней, пятьсот голых горячих хлопцев, опьяненных ветром, степью и революцией, пятьсот сверкающих на солнце клинков и комбриг Егор Иванович впереди всех с обнаженным клинком. И топот копыт, и конское ржание, и матерщина во всю глотку, и дикий свист, и рев сотен глоток:

— Дае-ешь!..

Нет, эти хлопцы не просили, но и не давали пощады, и петлюровский пулемет подавился патроном на первой же очереди. Крики, топот, свист, лошадиный храп и разудлая ругань ворвались в широкую улицу и потекли по ней, гоня перед собой обезумевших от ужаса сечевиков к центру. К церкви.

— А я в это время стояла в церкви, в простенке, на коленях, и в лоб мне упирался наган Алексея,— рассказывала баба Лера, и веселые лучики играли в морщинках ее вдруг помолодевших глаз.— Он был уже дважды ранен, мы глядели друг другу в глаза, слушали, как петлюровцы бревном высаживают двери. И я отчетливо представляла себе, что живу последние мгновения.

— Неужели он мог застрелить вас?

Лицо бабы Леры сделалось незнакомо надменным:

— Я любила мужчину.

Она спохватилась, загораживаясь привычной улыбкой. На миг выглянувшая гордячка из привилегированного класса ушла без следа, уступив место мудрой старой женщине, страдавшей и простившей.

— Это было высшее милосердие. Кроме того, надо было знать Алексея. Помните, в фильме «Чапаев» есть эпизод замитинговавшего во время боя эскадрона? А у нас в таких же обстоятельствах замитинговал полк. Алексей прискакал, когда там одновременно выступали три оратора и все трое требовали примирения с Петлюрой. Алексей достал наган и с седла расстрелял выступавших. Бойцы онемели: еще секунда, и его бы разорвали на части, но он отобрал у них эту секунду. Гаркнул вдруг! «Построить полк! И немедленно доложить о боевом настроении!..» Через полчаса он повел этот полк в атаку...

— А тогда, в церкви? Когда вы стояли на коленях, а петлюровцы выламывали двери?

— Тогда? — и вновь озорные лучики заиграли в глубоких морщинах бабы Леры...

Тогда Лера ничего не слышала, но Алексей услышал и крики, и конский топот, и беспорядочные частые выстрелы за стенами церкви. В двери опять стали ломиться, сорвали ее с петель, и в церковь ворвалась орава голых парней во главе с самим комбригом.

— Цел? — задыхаясь, спросил он.— Цел, начдив?

— Георгий Иванович, я же просил вас являться ко мне в боевом, а не в опереточном виде,— сварливо и укоризненно сказал начдив.— Тем более, когда со мной — молодая женщина...

Смертельно обиженный комбриг рванул из церкви, расталкивая голых хлопцев:

— Ах, тудыть-растудыть! — орал он, враз позабыв о предупреждении начдива.

Сморщенное, как печеное яблоко лицо бабы Леры сияло двадцатилетней улыбкой: она была счастлива. Счастлива, что любила необыкновенного человека, и этот необыкновенный человек любил ее; счастлива, что была не только свидетельницей, но и участницей жестокой и прекрасной битвы; счастлива, что видела столь много, и может об этом рассказать. Удивительно, но она и сейчас была счастлива, никого не проклиная и ни о чем не сожалея.

— Вы фаталистка, баба Лера?

— Меня слушают. Вы молоды и не можете этого понять. Меня слушают, затаив дыхание; значит, мой опыт нужен людям?

Прожитая жизнь оказалась интересной, важной и нужной не только ей, и в этом заключался секрет ее отчаянного оптимизма.

— В те времена существовало множество возможностей ущемить человеческую гордость, честь, достоинство, и истинно гордые люди становились болезненно гордыми. Понимаете, гражданская война размывала вековые наносы до глубинных пород, устраняя привычно среднее, обыденное, и становилось видно, на чем же стоит человек. Алексей стоял на монолите.

Да, молодой поручик из семьи потомственных интеллигентов оказался человеком с неразмываемым характером. Такие кремешки наживают себе больше врагов, чем друзей, но даже враги понимают, что на них можно положиться. А неспокойное время подтачивает устои не только государств и классов, но и каждой личности, и свою твердость приходится доказывать ежечасно. Это было необходимым условием жизни, ибо в дни тяжких потрясений люди тянутся к сильным натурам, обеспечивая тем самым высокий потенциал этих сильных натур. Бывший поручик понимал это и никогда не давал спуску ни себе, ни подчиненным, ни кому бы то ни было иному.

Случилось так, что именно в расположение его дивизии прибыл Чрезвычайный Уполномоченный Совета Обороны — ЧУСО, как тогда говорили. Этот ЧУСО был известен властным и жестоким характером, с особой силой проявившимся на Юге во время удач генерала Краснова: решительно объявив себя единоличным командиром, возглавил оборону, организовал растерявшихся, расправился с оппозиционерами, а заодно и со всеми подозреваемыми в оппозиции, и выстоял. После этого случая он уверовал в свой полководческий гений и, пользуясь огромной властью Чрезвычайного Уполномоченного, постоянно вмешивался в действия командиров на тех участках, куда его посылали по вопросам, далеким от боевой деятельности. И оказавшись в дивизии бывшего поручика с задачей изыскать возможно больше хлеба для голодающей Москвы, энергичный и своенравный ЧУСО начал беззастенчиво вторгаться в суверенные дела начальника дивизии. Начались аресты царских офицеров, служивших в штабе и тылах, выдвижение новых руководителей, перестановки и перетасовки, смущения и перемещения и даже расстрелы: Уполномоченный «чистил» тылы, деятельно отправляя в мир иной заложников из дворян, промышленников и купцов. А начдив, как на грех, находился в боевых частях: на фронте было нестабильно. Но узнав об арестах, тут же вызвал командира кавалерийской бригады. К тому времени Егор Иванович перестал таскать парадный палаш и порою даже чистил сапоги, но отношения между начдивом и комбригом, мягко говоря, оставляли желать лучшего.

— Георгий Иванович, прошу быть готовым принять под свое начальствование мою дивизию.

— Чего? — недоверчиво протянул комбриг, учуяв подвох.

— Повторяю: прошу быть готовым принять под свое начальствование нашу дивизию.

— А на хре... Кхм! — комбриг оглушительно прокашлялся.— А зачем мне эта хвороба? Мне своих — во! Кони подбились, ремонту нет, овса не дают, железо у артиллеристов христом-богом вымаливаю. А ты хочешь дивизию мне навесить? Да шел бы ты, начдив, это...

— Иду, и потому прошу отнестись к моей просьбе со всей серьезностью. ЧУСО арестовывает невиновных и тем подрывает авторитет нашей власти и мой лично. Пора ставить вопрос: либо он, либо я.

Егор Иванович долго глядел на Алексея. Потом достал платок, вытер взмокший череп и шепотом осведомился:

— Ты што, Алеша, сказывся, чи шо?

— Пока нет, но дивизию все же прошу...

— Начдив, не лезь к волку в зубы!

— Позаботьтесь о дивизии, Георгий Иванович. Пожалуйста.

На следующее утро начдив выехал в тыл. Ждать приема у ЧУСО пришлось дольше, чем его решения, хотя бывший поручик старался излагать претензии ясно и кратко.

— Арестовать,— ЧУСО в мягких сапогах двигался по личному вагону легко, как барс.— Ишь, контрик,— вдруг привстал на носки перед высоким начдивом, уставился в глаза.— И не боишься?

— Я требую отпустить на свободу ни в чем не повинных людей. Военспецов, тыловых работников, заложников — всех, арестованных по вашему приказу.

— Жалко,— помолчав, вздохнул ЧУСО.— Такой смелый — и враг советской власти.

Он явно ожидал, что уже обезоруженный начдив, стоявший под охраной двух молодцов в английских френчах, станет спорить, утверждать, что он не враг, не изменник, не предатель. Тем самым этот бывший офицеришко стал бы спасать себя, а не тех, ради кого прискакал с передовой, и главное противоречие можно было бы считать устраненным. Но молодой начдив по-прежнему чеканил:

— Я требую немедленного освобождения...

— Жаль,— уже жестко повторил хозяин салона-вагона.— Изменников расстреливают без суда. Распорядитесь.

И распорядились бы — тогда такие проблемы решались просто. И расстреляли бы, но тут без стука вошел увешанный оружием начальник охраны. Не глядя на приговоренного, пересек вагон и, почтительно склонившись, зашептал ЧУСО в ухо. Начдиву показалось, что хозяин бросил встревоженный взгляд на зашторенные окна; терять было нечего. Алексей шагнул к окну и отдернул штору.

Хмурый Егор Иванович располагался точно напротив салона-вагона. Он был на Мальчике — любимой лошади, которую приказывал седлать в исключительных случаях. Справа и слева от него в развернутом конном строю стояла бригада; хлопцы беззлобно переругивались с охраной, но патронташи обвисали на ремнях, правые руки были свободны, и шашки каждый миг могли легко вылететь из ножен...

— Ты что, шуток не понимаешь?

Алексей оглянулся: начальника охраны в салоне не было, а ЧУСО добродушно улыбался, доставая из кармана френча трубку.

— Хочешь закурить? Кури, пожалуйста, сделай милость.

Безмолвные молодцы вручили начдиву отобранный наган и шашку.

— Я требую немедленного...

— Правильно требуешь, очень правильно,— тут же согласился хозяин.— Твое поручительство много значит: я уважаю принципиальных. Все задержанные сегодня же будут освобождены, даю слово. А на шутку не обижайся, у нас на Кавказе очень любят шутить с друзьями.

ЧУСО, улыбаясь благодушно, протянул руку, но бывший офицер не заметил этой руки. С подчеркнутым шиком щелкнул каблуками:

— Честь имею.

Вскоре начдив забыл об этом инциденте: уж слишком он выглядел мелким на фоне тех дней. Егор Иванович погиб уже после войны при весьма загадочных обстоятельствах, а бывший ЧУСО быстро стал набирать силу, умело стравливая вчерашних соратников. Через полтора десятка лет он достиг высшей власти и, как выяснилось, ничего не забыл. Он вообще отличался изумительной памятью, этот бывший Чрезвычайный Уполномоченный Совета Обороны.

3

Как-то на очередной пересылке Калерия Викентьевна встретилась с женой или вдовой (кто знал в те времена — жена еще она или уже вдова?) военюриста Горбатова Ниной. Горбатов когда-то служил у Алексея, и женщины тотчас узнали друг друга. И там, на нарах, под нескончаемый мат блатнячек, беззвучно — губы к уху — Нина нашептала Калерии то, чего она не знала и не надеялась узнать.

Мужа Калерии Викентьевны — героя гражданской войны и командующего Особым военным округом — судили заочно и торопливо, не дав возможно-

сти не только оправдаться, но и просто объясниться. Приговорили к расстрелу без права апелляции. Только приговор огласили в присутствии приговоренных. Крестьянский сын Горбатов с детства мечтал учиться — все равно где, все равно на кого — и из строя пошел в Военно-юридическую академию только потому, что туда был набор. И теперь, выучившись и став юристом, судил своего бывшего командира по обвинению в измене Родине.

— К расстрелу без права апелляции...

Сорокалетний командарм, обвиненный в предательстве, не испугался, не растерялся, даже не удивился: он негодовал. Он обвинил суд и судей в искажении линии партии и потребовал немедленного созыва партийного съезда не для собственного спасения, а для спасения идеи, которая для него была дороже жизни. И члены суда стояли перед ним, опустив глаза, и уже он обвинял их в предательстве. А потрясенный Горбатов, придя домой, все рассказал жене, написал письмо Сталину и...

И теперь, лежа на вшивых нарах, его жена Нина со слезами шептала:

— Боже, какими детьми были наши мужья! Какими наивными детьми!

— Наивными? — встрепенулась Калерия.— Они были настоящими большевиками. И если мы любим их, мы обязаны быть такими же. Такими же настоящими!

Так была произнесена клятва, которой Калерия Викентьевна осталась верна всю жизнь. Идеалы удивительной молодости остались идеалами навсегда, делая бабу Леру удивительно молодой. И все было удивительно: юность и замужество, вдовство и каторга, сегодняшние встречи у пионерского костра и потеря собственных детей.

— Двое было, мальчик и девочка. Мальчику шесть исполнилось, в первый класс собирался, а девочке — восемь. Павлик и Верочка.

Восемнадцать лет она ничего не знала о своих детях. На все ее дозволенные и недозволенные вопросы ответ был одинаков:

— Ваших детей воспитывает государство. Переписка с ними запрещена для их же блага.

Шагать, как когда-то шагала с мужем: четыре шага — вдох, четыре — выдох. Верить, какие бы сомнения ни грызли тебя, и не раскисать, какие бы удары ни сбивали с ног. Не раскисать, ни у кого никогда ничего не просить, искать силы в себе самой и верить. Верить!

— Вам не верится, что мы верили? Скепсис — ржавчина души, он не способен к созиданию, его удел — разъедать.

Эти слова она повторяла себе все восемнадцать лет. Длинных и долгих: колымских, озерлагских, долинских. На нее смотрели, как на ненормальную. Ее ругали, проклинали, ее били, а она — верила. Упрямо и убежденно.

— Твоего мужа расстреляли без суда. Пристрелили, как собаку, это ты соображаешь?

— Мой муж погиб в бою. Бой не только в гражданскую, не только на поле боя: бой и сейчас, когда к власти, в обессиленной войной и гибелью лучших в партии, пробрался очередной наполеон. Он уйдет, и имя его забудут, а Партия будет жить!

— Идиотка!

— Надо дойти. Надо дойти: четыре шага — вдох, четыре — выдох.

Баба Лера избегала говорить о том, чего не любила: о пьянстве, воровстве, хамстве, трудностях — и о лагерях. Я написал все в одном ряду, потому что для нее все и стояло в одном ряду: несправедливость и безнравственность, лагерь и хамство, тюрьма и житейские трудности. Она никогда не смаковала неприятностей, она страдала не столько от них, сколько от того, что они вообще существуют. А если к ней чересчур уж приставали, страдальчески морщилась:

— Пожалуйста, припомните, что нашему государству всего пять десятков лет. И потом, извините, но историю надо воспринимать полифонически, учитывая при этом, что у нас она впервые за все существование человечества приобрела смысл. Представляете, сотни тысяч лет люди жили, не ведая, что с ними будет завтра, как стадо животных, подверженных любым случайностям. А мы поставили цель, идеал, к которому все должны стремиться. Разве

это не прекрасно? Разве великая цель не требует великих страданий? Страдания страшны, когда они бессмысленны, а осмысленные страдания делают людей чище.

Великая цель оправдывала все страдания — и личные, и народные: в этом Калерия Викентьевна была поразительно последовательна. И в 1956-м, получив свободу, вышла из преисподней с несокрушимой верой и несокрушенным духом.

Однако этому светлому дню предшествовали два события: историческое и личное. Историческое заключалось в кончине Сталина, которую ожидали: кто — с надеждой, а кто и с ужасом. Калерия Викентьевна узнала о событии на пересылке в обстоятельствах, враз перечеркнувших холопью скорбь осиротевшего человечества и заставивших вспомнить об истории, поскольку смерть Ивана Грозного тоже была отмечена скоморошеством. Сходство было столь разительным, что чудом уцелевший энциклопедист Лавровского гнезда сделал на этой параллели обстоятельный доклад о неизбежности шутовства при неограниченной тирании. Но парадоксы ученого собрата прозвучали позже, а в тот траурный день интеллигенция ничего еще обобщить не успела, но темные массы продемонстрировали свою печаль способом весьма неожиданным.

По вполне понятным причинам о смерти сатрапа больше всего горюют работники карательных направлений. Не избежало этой закономерности и начальство пересыльной тюрьмы, в которой ожидала этапа Калерия Викентьевна. Но вместо избирательной команды: «такая-то с вещами», дежурный надзиратель скомандовал общий вывод без вещей. Удивленные «зечки» — уголовные и политические вперемежку — построились и, как было велено, спустились в широченный, старинной постройки коридор первого этажа. Там, окруженные конвоем, уже стояли шеренги зеков, встретившие вновь прибывших восторженным воплем: «Бабы!..» Шум и смех были тут же пресечены, мужчины и женщины замерли в недоуменном безмолвии, и в середину вышел опечаленный начальник.

— Граждане, послушайте важнейшее сообщение,— замогильным голосом начал он.— Вчера перестало биться сердце великого вождя и учителя...

Он торопливо доборматывал полный титул, а в зековских мозгах уже шла невероятная по интенсивности работа: будет амнистия или нет? когда? какие статьи? на каких условиях?.. Закончив официальную часть, начальник — уже от себя лично — осторожно коснулся вопроса о всеобщем единении пред столь гигантской утратой и горестно замолчал. И обалдевшие зеки молчали тоже, но отнюдь не в скорбях. Благолепная тишина эта, однако, продолжалась недолго: из строгих арестантских рядов в центр выпрыгнул вдруг хулиганистый и живой блатняк шестерочного веса.

— Братва, стало быть, усатый хвост откинул? Вот пофартило, едрить твою в пересылочку! Ах, огурчики да помидорчики...

И пошел вокруг заскорбевшего начальника, как вокруг елки, лихо бацая чечетку. И весь коридор взорвался вдруг таким воплем, таким залихватским матом, свистом, гоготом — таким восторгом, какого не знала пересылка за все сто тридцать лет своего бытия.

— Очень совестно, но я тогда тоже что-то орала,— смущенно призналась баба Лера.— Это было какое-то безумие, компенсация чего-то отнятого, торжествующее буйство — совершенно невозможно было удержаться.

Второе событие было менее масштабным, но значение его для Калерии Викентьевны оказалось огромным. Если смерть Сталина дала ей свободу, то встреча с Анишей определила всю ее дальнейшую жизнь.

Судьба щедро мотала ее и по лагерям, и по работам, даже не столько судьба, сколько характер: Калерия Викентьевна родилась и навсегда осталась особой бескомпромиссной. Таких уважают, но не любят не только в коллективах, и принципиальную «зечку» начальство всячески стремилось либо упечь на «общие», либо — этап. В хрустальном тельце Калерии Викентьевны, как выяснилось, обитал дух, которому бы позавидовал и былинный богатырь: она гнулась, но снисхождения не просила, и, естественно, начала «доходить», выражаясь языком тех времен и тех народов. Но и доходя, не теряла присуще-

го ей достоинства, которое чтили даже окончательно отпетые блатнячки, а прочие относились к ней с великим почтением. И при первой же возможности пристроили при больничке — не отсидеться, а передохнуть. И только она начала отогреваться и приходить в себя, как жизнь снова предложила ей тест на звание человека.

Пришел этап — шумный, разношерстный, измотанный распрями, а главное, истерично взнервленный, потому что следовал далее, в места заведомо гиблые. И женщины — и политические, и блатные, и бытовички — об этом знали, а потому и вели себя отчаянно, ниоткуда не ожидая спасения.

За день до отправки этапа далее, в тайгу, в больничку пришла заключенная. Пришла рано — еще не появился не только вольный врач, но и подневольная фельдшерица, и в пустом коридоре скребла пол уборщица. Посетительница быстро и опытно выявила, кто она, по какой и давно ли сидит, а потом сказала, что необходимо спасти хорошего человека. Что на этапе этот человек защитил молоденькую эстонку от грабежа и надругательства, за что и приговорена блатнячками к смерти. И надо совершить невозможное, но снять хорошего человека с этого этапа. И Калерия Викентьевна сделала невозможное, положив хорошего человека в больницу и так все запутав, что в фамилии разобрались только через сутки после ухода этапа, а в диагнозе так никто ничего и не понял. Вольный врач свирепствовал, искал виноватых, и Калерия Викентьевна безропотно вновь пошла на лесоповал, чудом избежав карцера. А хороший человек остался в этом лагере.

— Эх, сестричка-каторга! Да я за тебя в твой гроб лягу и твоим саваном укроюсь!

Незадолго до неожиданного освобождения Калерия Викентьевна потеряла спасенную ею Анишу: сама пошла по этапу, на котором и услышала об историческом событии. А еще через полтора года ее вызвало большое лагерное начальство.

— Вологодова Калерия Викентьевна?

Рядом с начальником сидел пожилой, интеллигентного вида гражданский. Задал несколько вопросов, уточняющих лагерную одиссею, а потом улыбнулся с облегчением и радостно протянул руку.

— От души поздравляю вас, Калерия Викентьевна. От всей души!

— С чем, простите?

— Вы освобождены немедленно, с сего мгновения.

— По амнистии?

— Нет. Было допущено нарушение законности...

— Тогда с чем же вы меня поздравляете?

Начальник огорченно вздохнул и многозначительно поглядел на интеллигентного гражданского: мол, слыхали? Вы ей — радостное известие, а она вместо благодарственных слов — дерзит. Все они такие. Эти. Бывшие большевики.

Калерия Викентьевна оказалась одной из первых ласточек той запоздалой весны. Год спустя уже во всеуслышание зазвучало слово «реабилитация», которая призвана была не только освобождать безвинно севших, но и возвращать их общественной жизни. Теоретически все было верно, а практически получалось скорее печально, чем празднично. В самом деле, можно было реабилитировать большевичку Калерию Викентьевну, но кто в силах был обрадовать этим жену, потерявшую мужа, и мать, утратившую детей?

— Как всегда, и мужчинам было легче, и с мужчинами было проще,— прокомментировала, грустно улыбнувшись, баба Лера.

Реабилитированная еще до Двадцатого съезда, Калерия Викентьевна через некоторое время вернулась по месту последнего вольного жительства, в город Москву. Квартира ее была, естественно, занята, но даже в те, очень стесненные нехваткой жилья годы получила комнату, компенсацию за конфискацию, денежное пособие, новенькие документы и предложения по трудоустройству. Но вместо трудоустройства реабилитированная села за наспех купленный стол и начала писать во все инстанции.

Да, с мужчинами было проще. Намного.

Калерия Викентьевна разыскивала своих детей, разлученных с нею в мае

тридцать седьмого. Двоих. Мальчика и девочку. Шести и восьми лет. Павла Алексеевича и Веру Алексеевну. Купила пишущую машинку и писала, писала, писала... куда только она не писала! Куда велели, туда и писала. И ей аккуратно отвечали, называя другие учреждения и другие адреса, и она снова писала, а ей снова отвечали со ссылкой на входящие и исходящие, называя все новые учреждения и новые адреса. И она печатала опять, потому что у нее была только одна задача, одно желание, одна мечта: найти своих детей.

Да, с мужчинами и тогда было легче. Намного.

«На Ваш исходящий №... от ... отвечаем, что указанных граждан Веру и Павла идентифицировать не представляется возможным ввиду отсутствия...»

Бесконечные поиски детей занимали почти все время. Почти все, потому что у реабилитированной гражданки Вологодовой была и другая переписка, и другой маршрут по другим кабинетам: она просила, требовала, умоляла разобраться с давным-давно, еще в тридцатом году арестованной дочерью раскулаченного. Она еще раз хотела снять ее с этапа. Бесконечные письма и столь же бесконечные хождения по кабинетам были основным занятием, но без дела Калерия Викентьевна обойтись не могла и устроилась лифтершей в гостинице. Служба давала ей три свободных дни после суточного дежурства и возможность писать по ночам черновики бесконечных просьб.

Капля камень точит, и хоть дети так и не нашлись, зато как-то пришло письмо из далекого далека:

«...Вот она, волюшка моя, которую двадцать восемь зим видать не видывала. Кланяюсь тебе земно, сестричка-каторга, за труды твои по вызволению моему. А в Москву к тебе меня никак не пущают и велят ехать прямо на родину, на Двину мою, в которой девчоночкой купалась. Так что не повидаю я тебя, но коли есть Бог на свете, то должен он с небес спуститься и перед тобой, Леря Милентьевна, на колени встать...»

Хоть одно дело разрешилось, и Калерия Викентьевна поплакала на радостях. Написала дорогой своей Анише, обещала в гости приехать. Ушло письмо в далекую Архангельскую область, а реабилитированная гражданка Вологодова продолжала печатать просьбы, напоминания, заявления и отношения. Отвечали с точностью отменно отлаженного автомата, и неизвестно, сколько бы времени продолжалась бы эта пустопорожняя переписка, если бы однажды не постучали в дверь ее комнатки.

— Прошу.

Вошел молодой человек, лицо которого ничего не напоминало, а вот глаза... Даже не глаза, а взгляд... Сердце забилось жалко и испуганно, и она встала из-за машинки.

— Вологодова Калерия Викентьевна?

— Я.

— Детей ищете?

— Да. Мальчик...

— Какой там мальчик,— угрюмо усмехнулся вошедший.— Не мальчик, а бугай вроде меня. Фамилия у вас по мужу?

— Нет. Девичья.

— Вас в тридцать седьмом?

— Да,— колени затряслись, и Калерия Викентьевна без сил опустилась на стул.

Незнакомец с таким знакомым ей взглядом все еще стоял у порога, как вошел и задал первый вопрос. А она и не замечала, что он — у порога: сердце стучало, на лбу выступил пот и было очень страшно. И вошедшему тоже, видимо, было страшно, потому что он странно смотрел на нее и молчал. А потом спросил шепотом, с отчаянной детской надеждой:

— В Саратове взяли?

— Нет.

— Как нет? — он шагнул к ней, прижав к груди руки, точно умолял опомниться и признаться, что арестовали ее именно в Саратове.— В Саратове, в марте тридцать седьмого...

— Нет,— тихо повторила она.— В Москве. В мае.

— В Москве...— выдохнул парень и надолго замолк. Потом сказал сухо: — Извините. Маму ищу. Тоже Калерией звали. А фамилию ее девичью забыл. Извините.

Неуверенно кивнув, он повернулся к дверям, но Калерия Викентьевна успела прийти в себя. Подошла и поцеловала.

— Проходи. Как зовут-то тебя?

— Володя.

Парень беззвучно заплакал, прижимая к лицу уцененную немодную кепку. Калерия Викентьевна молча гладила рано поредевшие волосы и думала, отчего же взгляд-то его показался ей знакомым. Да оттого, что оттуда был взгляд. Оттуда.

Посетитель взял себя в руки быстро, привычно взял. Сел к столу, пил чай, говорил кратко и сухо, и уже не было в нем ничего беспомощного, ничего такого, что позволило бы предположить, что он и заплакать может. Обугленное дерево и червь не берет. Калерия Викентьевна поняла его, сама стала рассказывать. О детях, о себе, о поисках. Он слушал, будто отсутствовал, а сказал резко:

— Зря стараетесь, не найти вам их, даже если и живы. В таких детдомах фамилии любили менять. Я постарше был, отбился, а малышне что навесят, то и ладно. Иванов так Иванов, Первомаев так Первомаев. Как, говорите, сына-то звали? Павлик? Ну, так свободно могли Морозова ему прицепить. Для вернозвучности.

— Для вернозвучности?..

Ничего не сказал гость, только неприятно, во весь рот усмехнулся, показав стальные казенные зубы. А Калерия Викентьевна, похлопотав еще немного, изверилась и написала в Архангельскую область отчаянное письмо.

— Собирайся,— сказала Аниша, через неделю отыскав ее в незнакомой Москве.— Вдвоем, родная, и на ветру удержимся.

— Глухо там, Аниша?

— Леря Милентьевна, так скажу, что как у конвоя в сердце.

Через сутки они выехали архангельским поездом. В Котласе пересели на пароход «ИВ. КАЛЯЕВ», и если бы я был там, с ними, то наверняка увидел бы, что на котласской пристани осталась Калерия Викентьевна Вологодова, а на пароходе рядом с нескладной лошадиной Анисьей стоит новоявленная баба Лера.

Превращение завершилось.

4

Анисью Поликарповну Демову отпустили в 1958-м, но не по чистой, хотя жить дозволили в родных краях, благо края эти и до сего дня все еще числятся в глухомани. После долгих пересадок с обязательными регистрациими Анисья наконец села в Котласе на пароход, а как отвалил он от пристани, так впервые за долгие дни и долгие километры ощутила себя свободной.

Был вечер, пассажиры толпились на палубе, махали платочками, кричали что-то веселое, с неудовольствием поглядывая на нескладную маслаковатую бабу в затасканном ватнике, что выла в голос, по-звериному выла, лбом о палубу колотясь. А вскоре и сердобольные набежали:

— Ты чего, милая? Что, родимая? Ай украли чего?

— Украли,— Анисья привычно, по-лагерному полоснула губу уцелевшими резцами, кровь потекла по подбородку, по ватнику — такому странному, такому чужому и нелепому рядом с легкими платьями.— Жизнь украли мою.

Не поняли бабоньки, однако обласкали, с собой увели, чаем поили. Расспрашивали, но ничего Анисья больше им не сказала. Пила чай, глядела в мир запустевшими глазами, громко вздыхала, и тогда что-то екало в ней, как в старой изработанной лошади. И бабы замолчали и глядели на нее жалостливо, по-русски голову горсткой подперев и вытирая слезы концами платочков.

— Подремли, милая. Мы тебе мягкое постелим.

— Нет,— Анисья тяжело помотала головой.— Стоять мне надо на этой дорожке.

Вышла на палубу и стала на носу, на самом ветродуе. Ночь шел пароход до Красногорья, и всю ясную эту белую ночь Анисья простояла на палубе, глядя на родные берега, мимо которых провезли ее на тюремной барже больше четверти века назад.

— Анисья Демова,— вздохнул председатель колхоза (тогда еще колхоз последние годочки доживал).— Что же мне с тобой делать-то, Анисья Демова?

— Ты начальник, ты и думай,— безразлично сказала она.— В тридцатом, значит, знал, что делать, а теперь, значит, не знаешь?

— В тридцатом я, Анисья Поликарповна, без штанов еще бегал. Ты из Демова родом?

— Демова из Демова.

— Демова из Демова,—повторил председатель.— Там за мной четыре десятка пустых изб числится: может, сторожихой туда, а? Любой дом выбирай, разбежалось твое Демово. Одна глухая старуха Макаровна век доживает.

— Одна? — улыбнулась Анисья. Спокойно и горько.— Там одних раскулаченных двадцать три семьи было. Помнишь, бесштанный?

— Помню,— кивнул председатель.— Хоть я сам курский, а помню. Все помню. Хочешь, корову тебе дам?

— А на... мне она? Церкву красногорскую ты закрыл?

— Опиум это, Демова,— поморщился председатель.

— Вели мне оттудова икону выдать. Матерь божью.

— Молиться решила? Брось, Анисья Поликарповна, ты такое повидала, что тебе и божий гнев — мармеладка.

— За вас бога молить буду,— сказала Анисья, вставая.— Жалко мне вас, дураков.

Всю беседу она рвалась спросить, цел ли ее дом — дом, в котором родилась, в котором жила и из которого забрали. А если цел, то кто живет в нем сейчас, а если никто не живет, то можно ли ей, и до сей поры нерощенной арестантке, хоть ночку под родным кровом провести. Но духу у нее на этот вопрос не хватило.

В Красногорье Анисья никого не знала, потому что тогда, девчонкой, ходила сюда нечасто, а еще потому, что была демовская. До германской их село не только не уступало Красногорью, но и считалось посолиднее, подревнее и побогаче, а как пришла война, так и стало Красногорье переваживать старого соперника, поскольку имело пристань с глубоким фарватером, и дешевый водный путь в конце концов затмил собой древние привилегии Демова. И то ли из Красногорья мужиков в те лихозимья меньше гибло, то ли умнее демовских они оказались, а только после гражданской войны Демово окончательно отошло на второй план, и всякие комитеты располагались ныне в Красногорье. Все тогда располагалось в Красногорье, но отзвуки старого соперничества еще жили в людских душах, и пятнадцатилетняя глазастая Анисья Демова из Демова Красногорье не уважала и с красногорскими не дружилась. А теперь не у кого оказалось спросить, не с кем словцом перекинуться, и получалось так, что на своей родине она — как посторонняя. Чужая как бы, и поэтому после беседы с председателем Анисья пошла в родимое Демово одна с неразделенной тяжестью.

— Все версты бегмя бежать хотелось, уж так меня скипидарило, так скипидарило. А на плечи давит, будто чугуном накрыли, и воздуху в грудях нет. Как сперва-то шла, так и не помню, ноги сами тащили, а я в тоске исходила. Хоть бы слезиночку, думаю, уронить, все бы полегчало, ан не дал мне господь слезиночки, а опамятоваться дозволил аккурат у места, где я свой первый грех приняла...

Так рассказывала мне о последних шагах до дома Анисья: по третьему лету знакомства она стала со мной откровенничать. Баба Лера ушла в глухомань, в старые скиты, о которых ей поведала полумертвая старуха из Красногорья. Стоял звенящий оводами июль, душно пахло цветеньем в перестойных лугах, и мы с Анисьей горько праздновали очередную годовщину ее возвращения.

— По шестнадцатому году влюбилась — как обварилась: и вдруг, и до крика. До того дружилась, плясала, петь была голосиста и в первой спелости; парни потискать горазды были, но по-хорошему, сколько сама дозволяла. А я все баловалась: разрешу, пока он кровь мою не подожжет, да и деру. Пылаю, хоть блины на щеках пеки, а больше ни-ни, ни краюшечки...

Анисья вертит в корявых пальцах стакан и улыбается уцелевшими резцами. Рыхлый нос ее с широкими ноздрями плавает в испарениях мерзкой, местного разлива водки, не чуя ее, а чуя далекие ароматы ранней юности, жаркое дыхание первых страстей и дым родного очага. И вся она сейчас отмягшая, тихая, добрая — такая, какой и предписано ей было быть.

Зноем, хвоей, смолой и земляникой дышал бор, по которому в беспамятстве бежала Анисья. Давила муравьев зековскими башмаками, перла на спине зековский сидор с остатками зековского довольствия, обливалась пóтом под зековским серым ватником. И вроде узнавала вокруг и вроде ничего не узнавала и ужасалась, что не узнáет, и еще больше ужасалась, что узнáет. И не плач, не стоны — рык звериный рвался из нее вместе с жарким дыханием, и совсем по-лошадиному екающей селезенкой. Сорокатрехлетняя Анисья Демова спешила к отчему порогу.

Вначале она нестерпимо, до рвущей боли в гортани, захотела пить, а уж потом как-то вдруг увидела лес, суетливых муравьев, недвижное кудрявое облако над головой. Остановилась, будто наткнувшись на что-то, услыхала жужжание деловитых шмелей, чуть слышное шуршание давно опавших иголок, звон оводов вокруг собственного разгоряченного тела — и опамятовалась. Оглянулась, сразу вспомнив: «Тут ведь свернули тогда, к роднику». Поискала тропку, не нашла и грузно двинулась напрямик, круша подлесок, продираясь сквозь кусты, топча черничник с перезрелыми ягодами. И через двадцать семь лет без дорожек и зарубок, сквозь чащобу, вышла к еле приметному, заивленному, давным-давно никем не чищенному роднику. «Здравствуй»,— шепнула душа ее, и напряженное тело вдруг ослабло, ноги подкосились, и Анисья опустилась прямо в ольху, с хрустом ломая ветки. «Тут-тут-тут. Тут-тут-тут-тут...» — вразгон понесло сердце. Сюда привела ее первая любовь, здесь она со счастливыми слезами отдалась ей, и здесь же распрощалась навсегда. На всю ту жизнь, что украли, и на тот отметок, что вернули, «прости» не сказав...

— А ведь к тебе бежала я с высылки. К тебе, родимый ты мой...

Ах, хорош был Митя Пешнев — с пышным чубом и нездешними цыганскими глазами, первый комсомолец их степенного Демова. Девки вокруг него табунились, глаза кидали, зубками слепили, а он за Нюшей Демовой ходил, как нитка за иголкой. Завлекал гармошкой, сочинял припевки, объяснял текущий момент, тискал, когда позволяла, без самодовольства. И Нюше было с ним интересно, и тянуло ее к нему, и мечтала она о нем, и точно знала, что не минуют Митькины сваты их большого даже для богатого Демова, на веки вечные рубленного дома. И Митя знал это, часто говорил о будущей жизни, прикидывал, как и что. А однажды вздохнул озабоченно:

— В ячейку вызывают. Так что не свидимся сегодня.

— Так не до зари ведь,— улыбнулась Нюша.— Ты на ячейке поговоришь, а я — на завалинке. А домой вместе пойдем.

Она и до того дня, случалось, провожала своего Митю то в ячейку, то на собрание бедноты, то на встречи с товарищами уполномоченными. У Красногорья расставались: Митя шел в сельсовет, а она — к девчатам. Плясала, пела да смеялась, пока дролечка заседал, а возвращались вместе, и эти возвращения Нюша очень ценила. Если честно сказать, то ради них и топала четырнадцать верст туда да столько же и обратно, целуясь да прижимаясь через каждые сто шагов. Но в тот вечер он заседал дольше обычного — уже почти все красногорские девчата по домам разошлись — и вышел чернее тучи. Нюша спросила, что это с ним, а он сказал, что ничего, что устал просто, а взгляд был растерянный. И так случилось, что возвращались они одни, Нюша что-то говорила, а он молчал и обнимал ее строго, будто муж.

— Ты что так-то, миленький? Может, обидел кто?

— Ах ты, Нюша ты моя! — со стоном выдохнул он.— Да я за тебя, знаешь...

Так сказал, с такой болью, что Нюша со всей нежностью прижалась к нему, впервые по-женски прижалась, всего обволакивая и ничего не пугаясь.

— Коли так-то, чего же сватов не шлешь?

— А вот и пришлю,— он начал задыхаться, сердце заколотилось, она слышала этот стук и млела.— А вот и пришлю. Может, завтра же. Завтра... Пойдем, а? Пойдем, пойдем.

— Куда же? Куда, мамочки...

Знала ведь, зачем уводит с дороги, жар его чувствовала, дыхание, клекот сердечный. Знала и пошла, потому что не в силах уже была справляться со своим жаром, своим дыханием, своим клекотом в сердце. Пошла и покорно опустилась на траву, и сейчас сидела на том самом месте. За это время тут ольха выросла, но тело ее именно здесь подломилось, как подломилось тогда, и Анисья тяжело рухнула в сочно затрещавшую ольху, постарев на двадцать семь зим.

— Я по своей воле один разочек грех приняла. Один-единственный, так неужто господь не простит?

Никогда уже не испытывала она той сладкой боли и той нежности к тому, кто причинил ей эту боль. Она стянула с головы платок, жесткие, серые от седины и пыли волосы рассыпались по сутулым плечам, острый ольховый сучок колол сквозь толстую юбку, а Анисья все пыталась вспомнить ту боль, но вспоминались иные. Несладкие боли вспоминались, а она все сидела и сидела, все ждала и ждала...

А Митя тогда сдержал слово: на следующий день пришел.

Вместе с уполномоченным, милиционером и двумя активистами. Глядя поверх голов, расстегнул портфель, сверкнув никелированным замочком, достал бумагу, зачастил:

— На основании постановления общего собрания все хозяйство переходит в собственность колхоза, а вы, Демовы, ссылаетесь в отдаленные края, как вредный для социализма элемент...

Она не слышала, как голосила мать, не видела, как выносили замертво рухнувшего отца, как взяли братьев,— она смотрела на Митю. Она искала его глаза, а видела портфель и холодного зайчика, прыгавшего на стенку от никелированного замочка.

— Значит, ты знал вчера, что нас кулачить будут? Скажи, знал? Знал?

Митя не ответил. Сел к столу, достал чистую бумагу, ручку, пузырек с чернилами — аккуратный был паренек и запасливый — и начал переписывать инвентарь. Живой и мертвый.

— Лошадей три, из них одна кобыла жеребая...

Неприкаянно сидела Анисья, неприкаянно ждала, и вся жизнь представлялась ей неприкаянной — прошлая, настоящая и будущая. Не приходил тот сладкий час ее тела, тот восторг ее души, та немыслимая нежность ее женского существа. Даже на миг ничего не возвращалось, и, поняв это, Анисья перестала вспоминать. Выдохнула застоявшийся, саднящий стон, огляделась.

Не билась струя в родничке, не цвели его берега, и она подумала, что живая вода ее молодости замутилась и заилилась, цветущие нивы души заросли кустами да кочками, и что деревенеет она изнутри. Встала на колени, глотнула затхлой, болотной воды, перекрестила бывший родник, изломанный ею куст, что вырос на том месте, саму себя перекрестила и потащилась дальше. В бывшее село Демово.

Теперь она шла медленно, глядя в землю и ничего не видя. Ее уже не интересовали такие знакомые и такие чужие места, она уже не торопилась в опустевшее село, где и родной могилы не могла бы сыскать без чужой помощи, она уже не вдыхала прогорклой грудью настоянный на детстве воздух. Она отрешилась от всего, ушла в себя, она вспоминала и думала, неторопливо вороша в душе свалявшиеся пласты прошлого. Думала о своей любви, о своем единственном часе и о Мите, который подарил ей этот огненный час. Думала без всякой обиды, без всякой горечи, а с тихой радостью, что было у нее это пламя, и что, стало быть, счастливая она, и у нее найдется, в чем покаяться, когда предстанет перед Высшим Судом. «Уж там-то, поди, за это на общие не

пошлют,— с некоторым ликованием думалось ей.— Уж там-то, может, в каптерку какую пристроят или при раздатке...»

Дорога стала круто спускаться, сосны отступили, сыро зашелестел ольшаник, и Анисья вспомнила, что сейчас будет запруда и мельница, что урчала по осени днем и ночью, безостановочно урчала, а подводы с зерном иной раз выстраивались и на версту, и где жила знакомая девчонка Нюра. И когда случалось им ходить с Митей в Красногорье, они всегда отдыхали на этой мельнице, и Нюра поила их молоком. Двадцать семь лет не пила она молока, и сейчас, вспомнив о нем, ощутила вдруг давно забытый вкус. «Ах, молочка бы испить, молочка бы»,— вздохнулось ей, и ноги сами заспешили к повороту. Она завернула за этот поворот и стала, будто налетев на стену.

Не было мельницы, не было плотины, не было широкого плеса за этой плотиной, где на зорях упруго били горбатые озерные окуни. Не было людского жилья, не было скотины, не было живых звуков, а было гнилое болото, заросшее саженной крапивой место, где стоял дом, да жалкий ручеек, который можно было перейти, ног не замочив. И от всего — от шума воды, скрипа мельничного колеса, фырканья застоявшихся лошадей, от людского гомона, смеха, веселой ругани, песен и трудов остался забытый вкус молока. А потом и он пропал.

В родное Демово Анисья пришла белым вечером, таким тихим, что было слышно, как под обрывом играющая зоревыми всполохами Двина покачивает гальку у берега. Мучительно вслушиваясь, долго стояла у околицы, ловя голос, мычание, лай собачий — хоть какой-то звук, хоть тень жизни: она вдруг забыла, напрочь забыла о словах председателя. Но мертво молчало мертвое село, скорбно глядя на мир провалами выбитых окон. Понапрасну прождав, Анисья задами, через непролазную крапиву, разросшуюся на бывших огородах, спустилась к реке. Вдали тащился плот, пыхтел, изнемогая, буксир, но их демовский берег был пустынен. Ни одной лодки не было ни на реке, ни на берегу, ни одного мальчонки не плескалось в воде, и прибрежный песок не сохранил ни единого следа человека. И было так пусто в мире сем, будто минул пятый день творения и Богу еще только предстояло создать человека. Анисья вздохнула, разделась догола и тихо-тихо, мелкими шажками вошла в Двину. Опустилась на колени, и вода ей стала до подбородка. «Здравствуй, родимая,— шептала она дрожащими губами, не замечая, как по лицу текут слезы.— Здравствуй, матушка Двина моя. Крестили меня в твоей воде, вот и вернулась я. А ты, матушка, будто по погосту текешь, будто одна я живая на бережку твоем, будто сдвинулось все, и пропала я в чужом краю, в чужом времени, в чужом племени. Так прости ж ты меня, матушка, что не сберегла я жизни звон на берегах твоих...»

Анисья никогда не была религиозной, в церковь ходила по родительскому приказу, а когда Митя-дролечка сказал, что бога нет, то и совсем от церкви отвернулась. И службы все перезабыла, и праздники из головы выбросила, и даже из «отче наш» только первых пять слов в себе сохранила. И в лагерях поначалу не до бога было, да и не нужен он ей был вовсе, но чем дольше сидела, тем все чаще на ум один вопрос приходил: о справедливости. И так получалось, что на земле эту справедливость уж и не сыщешь, а чтоб не пропасть окончательно, чтоб хоть во что-то верить, хоть во имя чего-то зубами за жизнь эту проклятущую держаться, пришлось вспомнить о боге. Мол, лютуйте тут, сколько влезет, а там вы бессильны, а так как я есть безвинная, то там-то уж мне непременно снисхождение будет. Вот таким образом Анисьин бог принял форму высшей справедливости, и жила Анисья теперь для того, чтоб после смерти все ему рассказать. Без злобы, без слез, без обиды. Просто рассказать, как есть: пусть узнает, как тут, на земле, люди друг над дружкой измываются, друг перед дружкой на брюхе ползают, друг дружку предают до первых петухов. Пусть все узнает и меры примет, а ее велит куда-нибудь к сытному и чтоб работать не до надрыва. Вот какой странный бог жил в душе Анисьи Демовой, а поскольку никаких молитв она не помнила, то сочиняла их сама, смотря по обстоятельствам.

Умывшись, Анисья надела сбереженную белую рубаху, причесалась, напялила зековскую обмундировку и неторопливо стала подниматься в село по



давным-давно нехоженному изволоку. Сердце ее колотилось хоть и быстро, но ровно, и ноги лишь чуть подрагивали, когда она проулком вышла на мощенную крупным булыжником главную улицу. Теперь поверх булыжника трава выросла, хоть косой коси, но она помнила, как гордились демовцы этой булыжной мощенкой перед красногорскими, у которых и по сегодня такой улицы не было. По обе стороны еще прочно стояли дома, еще глядели друг на дружку, и Анисья шла посередке, узнавая: «Сикотиных дом. Савастьяновых — здравствуйте, родня все ж таки. Чекалкиных...» За Чекалкиными на отступе стоял их дом в два этажа с хлевом под клетью, с прирубленными службами под общей крышей на восемь комнат и залу в четыре окна в палисадник, и...

И ничего не было. Ничего. Бугры, бурьяном заросшие, четыре валуна под углы да чудом уцелевшие пять ступенек крыльца — уже втянутые в землю, уже мхом заволоченные. И все.

— Все!..

Что мочи крикнула, а на ногах устояла, закачалась только. И долго кача-

лась, закрыв глаза, так долго, что потом и припомнить не могла, сколько же это часов качалась она перед родным пепелищем. Потом очнулась, скинула мешок, опустилась на колени, ладонями дорожку к уцелевшим ступеням подмела и сама ступени от мха очистила. Тряпочкой до блеска протерла их, поцеловала, встала, взяла сидор свой каторжный и низко-низко поклонилась.

— Здравствуйте,— сказала.— Здравствуй, батюшка мой Поликарпий Сазонтович, здравствуй, матушка моя Лукерья Фоминишна, здравствуйте, братаны мои родные Федор Поликарпович и Данила Поликарпович. Вернулась я. Низко вам кланяюся.

И по ступенькам чинно-благородно вошла в дом. Все повороты исполнила сквозь бурьян и крапиву, все двери открыла, все порожки перешагнула, все сени прошла и вступила в залу, что четырьмя окнами глядела когда-то на улицу, откуда мать домой ее кликала, до пояса из окна высовываясь.

— Нюша! Нюша, доченька, где ты?..

— Здеся,— хрипло сказала Анисья, опять не замечая, что по лицу ее давно уже ручьями бегут слезы.— Здеся я, маменька. Не кори, что долго не шла, воли на то моей не было.

Поклонилась углу красному — там лопух вырос, что куст, хоть прячься под ним. Сняла котомку, достала выпрошенную у председателя иконку и свечку, которую еще в Котласе в керосиновой лавке купила. Приладила иконку, затеплила свечку и села в бурьян, где положено: с краю стола, слева от матушки. Вынула из мешка хлеб, селедку, луку пучок, пачку маргарина, на отца покосившись, не заругает ли — вон там, где лопух, там сидел всегда,— бутылку водки выволокла. И вздохнула:

— Вернулась я. Дозволили.

Чинно поужинала, крошечки не уронив. Собрала все в мешок. Отошла в угол, утоптала бурьян, легла, мешок под голову приспособив и ватником укрывшись. Теплилась свечка в белой ночи под лопухом, горько и строго глядела с иконы Матерь Божья, с низин туман тянулся, сырость ночная, а Анисья ничего не чувствовала. Спала Анисья. Сладко спала в отчем доме, вернувшись через двадцать семь зим.

5

— Нюша, доченька, вставай, родимая. Вставай, кралюшка, уж рожок пропел, уж коровушку гнать пора...

Ах, как певуче, как ласково звучал материнский голос в затоптанной и поруганной душе! Не словами — самой интонацией, строем своим, мягкостью, округленным «о» и чуть ощутимым древним новгородским цоканьем: «доценька...» И уже дрогнуло жестокое лицо Анисьи, готовое отозваться улыбкой, да изменился вдруг голос маменьки:

— Ты это чего тут, а? Ты кто ж это, а?

Над Анисьей согнулась рыхлая бесцветная старуха. Ничего не осталось в ней от прежней молодости — даже брови вылезли,— но двадцать с лишним лет, выкинутых из жизни, не выкинулись из памяти, и Анисья сквозь старческую дряблость увидела крикливую Палашку Самыкину, всегда чем-то недовольную, всегда что-то требующую, всегда где-то шумевшую.

— Докричалась, значит, Палашка?

— Постой-постой,— старуха отступила, замахала рукой.— Ты... Чья ж ты? Чья будешь?

— В дому я собственном,— строго сказала Анисья.

Жужжала ей чего-то Макаровна. Пока прибиралась — жужжала, пока в Двине умывалась — жужжала, пока назад ворочались — жужжала. А потом к себе зазвала чай пить. Хотела Анисья послать ее по-лагерному, да Палашка вовремя о чекушке помянула.

— Ах ты, Нюшенька ты Демова, горькая головушка! — сокрушенно вздыхала старуха, не скрывая радости, что теперь ей не одной загибаться тут, в мертвом Демове.— Поди домашнего не пробовала, поди забыла уж.

— То, чего я забыла, то и ты не помнила,— отрезала Анисья.

Она сидела в горнице, загроможденной множеством старых вещей, брошенных за ненадобностью и притащенных хлопотливой Макаровной в свою избу. Источенные червями самодельные и фабричные шкафы и шкафчики — с дверками и без дверок, с полками и без них; разнокалиберные столы и стулья, комоды и кровати, полки, лавки, диванчики и скамеечки — даже старая зыбка, в которой выросло не одно поколение демовцев — давили на Анисью со всех сторон, и она начинала злиться. Уже закипало все в ней при виде остатков той, прежней жизни, которая столько лет была ее недосягаемой мечтой, и лишь сейчас, с этого вот мгновения, начала превращаться в прошлое, осознаваться тем прошлым, в которое никогда-никогда не будет ей возврата, даже если и отсидит она все навешанные ей сроки. И от этого становилось темно и тревожно, хотелось вскочить и бежать, бежать без оглядки, бежать... «Куды?..— горько подумалось ей.— Где оно, пятнышко мое родимое, горстка землицы моей?..» И понимала, что нет и никогда уж не будет у нее горстки земли детства своего — той земли, по которой ходили ее отец и мать, ее братья и сестры, ее дядья и тетки, родные и знакомые, односельчане, дружки и подружки. И от этого понимания поднимался со дна души черный осадок горечи.

— Сейчас картошечки приспеют,— ворковала Макаровна, накрывая на стол.— Вот-те грибочек наш, вот те...

— Натаскала ты цельную каптерку,— зло усмехнулась Анисья.— Животом не маялась, когда перла?

— Так ведь брошенное, не пропадать же. Народ с места стронулся...

— А про общее орала — в ушах звон. Ничего-де нам не надобно, окромя светлого будущего. Вот оно, твое светлое будущее: одна в пустом селе с наворованным дерьмом.

— Ай, да что старое поминать! — Самыкина махнула рукой и попыталась улыбнуться, но дряблые губы ее так в улыбку и не растянулись.

— Давай водку, а то я тебе, дырявая кадушка, такое старое припомню, что ты у меня сама в сундук заместо гроба ляжешь и крышкой укроешься. Ну?..

Никак не могла она оторвать глаз от собственного детства, что вдруг стеснило ее со всех сторон не туманными образами, не воспоминаниями, а грубыми предметами простого и прочного быта. Даже зыбку помнила она, хотя была младшей, и зыбка уж не качалась середь горницы, а хранилась в холодной половине; и деревянный диванчик был в точности как у них, и буфет такой же — только со стеклянными дверцами, а не кое-как забитыми фанерой. Все, все было оттуда, все скребло, бередило душу, поднимая из мрачных провалов ее все новые и новые пласты горечи и злобы. Ах, каким же все оказалось горячим, каким болезненным, а она-то думала, что давным-давно все забыто, а если и не забыто, то схоронено в таких тайниках, в каких она признается только на Страшном Суде, когда каждому воздастся по мукам его.

— Да скоро ты там, квашня убогая? — гаркнула она, заглушая звенящий стон звериной лагерной тоски, что подступал уже к самому горлу.

А после первого стаканчика отпустило. Правда, наливала она себе сама, хорошо наливала, а остаток плеснула вмиг поджавшей губы Макаровне. Хватанула с чувством, с верой, что поможет, что снимет звон этот,— и помягчела. Молча катала в беззубом рту грибки, вспоминая давно забытый вкус их и запах, и всхлипнула, не сдержавшись:

— Где грузди брала? За оврагом?

— Там, милая.

— Не перевелись еще?

— Так переводить некому. Кого убили, кого сослали, кто сам убег.

— Хороший там груздь, хрумкий,— Анисья откинулась от стола, уже другими, отмякшими глазами оглядела загроможденную горницу.— Из нашего чего тут? Не соври, смотри, поберегись.

— Ничего. Вот те крест святой, ничего, Нюшенька. Сгорел ведь он, дом-то ваш. Еще до войны, за вами вскорости. Году в тридцать четвертом вроде. Не помню. Митька в нем...

— Женился? — вдруг перебила Анисья.

— Женился. Известно, мужик молодой...

— Кого же взял?

— Учителку городскую привез. Худющая — и лечь не на что. Все в беретке ходила...
— Ну, а что дом? — опять нетерпеливо перебила Анисья: ей не хотелось слышать о худой учителке.— Кто жил в нем? Они?
— А никто не жил. Митька там Красную избу открыл. Книжки собрал, картинки всякие, граммофон. А в большой горнице переборку снял и помостки устроил, как в театре. Про попов и кулаков представления делал под гармошку. Молодые не только что из Красногорья — из Верхнеспасова ходили. Раз подрались, так еле утихомирили. Ну, дом и сгорел.
— Поджег кто?
— Может, поджег, может, сам собой — кто ж ведает? Долго тут гепеу шерстило, на допросы тягали, а потом Митьку увезли вместе с учителкой.
— Как увезли? — ахнула Анисья.— Куда ж увезли-то, господи?
— Сказывали так, что туда же, куда и тебя.
— А его-то, его-то за что же? Он же им служил, как не всякая собака...— она громко всхлипнула, затряслась, замахала рукой.
— Жалеешь, стало быть,— помолчав, горько вздохнула Макаровна.— Ах ты, баба, баба. Он тебя сгубил, а ты — вона как... А у нас, помню, мужики говорили, что, мол, бешеный пес всегда до пули добрешется. Вот, значит, и добрехался...
— Ах ты, Митенька ты мой,— не слушая, шептала Анисья.— Ах, какой же лютостью господь-то тебя покарал. Не мог ты там жизнь свою спасти, не мог, хребта в тебе не было.
Что-то бормотала Макаровна, но Анисья уже не слушала ее. Она представляла себе Митю — того Митю, Митеньку ее! — в отрицающем жалость и сострадание зверином лагерном житье, понимала, что не видать ему там пощады, и что, пожалуй, лучшая доля его, если забили сразу. А могли ведь и не забить, могли холуем сделать, на побегушках, кухонным мисколизом или барачным шутом, которого смеха ради любой блатной торбохват мог заставить такое прилюдно сделать, после чего и петля в сортире отдушиной кажется. Видала она таких мужиков и таких баб, нагляделась на них вдосталь, до отврата, до конца дней своих нагляделась и знала, что ничего нет горше медленного их умирания. И никогда ей ни чуточку не жаль было их, не тратилась она на жалость, презрением обходясь, но то же были неизвестные ей доходяги, дешевки, а то — Митя. Митенька ее, первый ее, единственный ее, любочка ее родимая...
— Давай еще водки, старая. Давай, не жмоться, пока душу не вынула.
Не пожмотничала Макаровна — пол-литру принесла. Сама и разлила, а свой стакан придержала.
— Погоди, погоди. Сказать тебе должна, чтоб уж сразу. Долго грех на плечах волоку, вроде стерпелась уж, а тебя увидела — и невмоготу. Повиниться хочу, а то душа сердце жмет. Так жмет, так уж жмет...
— Ну, завела,— Анисья закурила, откинулась к спинке стула, обвела глазами рухлядь.— Пограблю я тебя, Палашка, мне жить здесь указано.
— Ты погоди, погоди,— Макаровна вся была во власти принятого решения.— Ты послушай меня сперва, послушай, а потом — хоть простишь, хоть убьешь.
— Да не мусоль!
— С чего начать-то, с чего, а? Может, с удивленья, за что же это господь бог наш, всемилостивый наш руку свою тяжкую на народ русский наложил?
— Бога вспомнила? — зло захохотала Анисья.
— Ты погоди. Ты же не знаешь, ты и духом не чуешь, как жилося нам тут после войны. Мужики, которые вернулись, либо калеки калеченные, либо на лесоповал обратно мобилизованы были вместе с девками, а оттуда, из лесу-то, почитай, никто уж не вернулся. Кто там богу душу отдал, а кто бежал без оглядки, куда только ноги снесли. Вот тогда-то и стало кончаться Демово наше: мужиков нету, баб молодых нету, скотину еще в войну забили, а хлебушко по всем закромам подчистую подметали. Как нагрянут полномоченные, так стон стоит над селом, будто война, а что поделаешь-то? Что поделаешь, когда на нас налогу уж и на грибы наложили? На грибы, Нюшенька!

— А разве вы не за это самое на сходках-то глотки драли? — непримиримо усмехнулась каторжанка.
— Мы не за это,— помолчав, тихо и строго сказала рыхлая старуха, и бесцветные ее глаза вдруг подернулись сухой и горькой слезой.— Мы за справедливость, за светлое будущее, а тут оно так все обернулось, что годами карасина не видали. Как война началась, так и исчез он, а как кончилась она, тоже не появился. При жировиках жили, а то и при лучине, вот оно как, Нюшенька дорогая, а уж что дети наши ели, то не всякая свинья сожрет, а хлебушек делили, будто просвирки, будто и вправду он — тело Господне. И вот тут... тут, Нюшенька, вышло такое приказание, что ежели кто беглого властям выдаст, тому за это хлебца цельную буханку и карасину десять литров...
— Это каких таких беглых?
— А разных, много их тогда было. И с лесоповалу бежали, и из лагерей, и дезентиры которые. Летом в лесах прячутся, а зимой их к жилью голод с холодом гонют. Вот тут их... за десять литров карасина...
Старуха замолчала, со страхом глядя на Анисью. Но каторжанка только грустно улыбнулась.
— А помнишь, по ночам огонь жгли и хлебушек под окном оставляли? Было это или, может, приснилось мне?
— Было, Нюшенька,— Макаровна гулко сглотнула слезы.— Июды мы, и я — Июда первая. Я твоего родного брата Данилку в погреб заманила, когда он у меня заночевать попросился. Пять ночей крошечки во рту не держал, как из лагеря сбег, а я его — за карасин да буханку!..
Последние слова она выкрикнула судорожно и тяжело бухнулась в ноги. Анисья молча курила, сверху глядя на рыхлую трясущуюся спину: только желваки ходили на скулах.
— Велено было, велено...— в пол, глухо и жалко бормотала старуха.— А у меня дети, травой кормленные, будто поросята, животы у них пучит, глазки болят...
— Дети? — отрешенно спросила Анисья.
— Старшенького тогда в интернат взяли, а при мне — Васи да Манечка. А я — одна, мой-то, как в сорок первом пошел, так и...
— Погоди, какие дети? Ты ж старуха, Палашка, ты уж мне-то не ври.
Оторвала лоб от пола хозяйка, села на пятки, улыбнулась вдруг сквозь слезы:
— Да ты что, Нюша, ай, запамятовала? Да я ж всего-то на пять годков тебя старше. На пять годков всего.
Помолчала Анисья. Повертела стакан.
— И ты за керосин моего Данилу Поликарповича?
— Сними грех с души. Не вольна я в нем была. Не вольна.
— С того керосину, поди, и к водке потянулась?
— Кабы одна я, Анисья Поликарповна,— вздохнула Палашка.
— Ну, тогда садись. Помянем всех, кого вы тут не по своей воле на керосин сменяли. Садись, говорю, я зла не держу. Однако так скажу: лучше уходи. Сегодня мягкая я, а завтра найдет — удушу. Как бог свят, удушу я тебя, Палашка, не доживешь ты со мной рядом до своего полтинничка.
До смерти напуганная Макаровна хотела тотчас же убраться подальше, но Анисья не отпустила. Заставила бутылку допить, помянуть погибших, пропадших и погубленных, спеть песню и поплакать. А потом утерла слезы и встала.
— Жить я собралась, а не слезы лить. И жить буду у Савастьяновых — родней они нам доводятся, значит, по закону. Тележка у тебя найдется?
Покивала Макаровна.
— Запрягу я тебя в тележку, мебелю погружу, какая понравится, и попрешь ты, милая, за тот керосин.
К вечеру вдвоем и перетащили в огромный савастьяновский дом вещи, которые указала Анисья. Она не жадничала, брала самое необходимое, за долгие зимы свои познав истинную стоимость всего. Однако крестьянская жилка нисколько в ней не ослабла, и по части хозяйства Анисья нахватала

с изрядным даже перебором. Полночи возилась, неугомонная, совсем до черты Макаровну довела, а потом сказала:

— Ну все, считай, устроилась я. За подмогу благодарствую, а только на глаза лучше не попадайся. Не дай бог залютую, так и вправду порешу.

Макаровна поутру испарилась, будто и не было ее вовсе, и Анисья очень этому обрадовалась. За все распроклятые годы ей и часа одной быть не случалось, и теперь она превыше всего ценила одиночество, тишину и полную самостоятельность. Ходила по пустым избам, как в гости: здоровалась с хозяевами, расспрашивала о сверстниках, рассказывала о себе, а коли примечала что-либо полезное — инструмент или чугунок, годное ведро или старую лохань, то брала, как подарок, низко кланяясь и благодаря. Она не юродствовала, не скоморошничала: она обходила родное село, где знала каждого и где каждый знал ее. Навещала односельчан по издревле принятой очередности, никого не пропуская и никого не обижая — так, как мечтала навестить их все свои двадцать семь зим. И не ее была вина, что навещать оказалось некого...

Через неделю приехал председатель. Груженая телега была накрыта брезентом — с утра дождь накрапывал,— лошадью правил щуплый и вроде как перьями поросший старичок; председатель оставил его с лошадью на въезде, а сам нашел Анисью пешим ходом.

— Чего Макаровну выгнала? Два медведя в одной берлоге, что ли?

— Два медведя в одной берлоге, может, еще и уживутся, если крепко дрессированные, а вот две медведицы — никогда.

— Все-то ты, Демова, знаешь,— усмехнулся председатель и заорал: — Федотыч! На голос правь!

Старик направил, и телега остановилась возле дома Савастьяновых, а теперь — возле места проживания Анисьи Демовой. Федотыч поздравствовался, вместе с председателем убрал брезент, и Анисья увидела доселе скрытые им мешки.

— Чего это?

— Картошки, муки мешок, макарон немного. Еще два одеяла тебе положено, спецодежда и керосину бидон.

— А керосин-то за что же?

— Приказано заботу проявить,— улыбнулся председатель.

— Раньше, стало быть, на керосин нас покупали, а теперь —на заботу? Так, курский?

— Ох, и злыдня ты, Поликарповна,— беззлобно вздохнул председатель.— Только на меня тебе серчать нечего. Я, знаешь, кто таков? Я — бурмистр. Слыхала, поди, стихи: «У бурмистра Власа бабушка Ненила починить избенку лесу попросила. Отвечал: нет лесу, и не жди, не будет. Вот приедет барин, барин нас рассудит...» Вот, значит, барин и рассуживает, что вам сегодня положено — керосин или забота.

— А водки ты мне не сообразил?

— Я лучше сообразил, Анисья Поликарповна, я тебе мужика сообразил,— председатель указал на щуплого старичка.— Вот тебе Федотыч.

— Тю, мужик! — презрительно повела плечом Анисья.— Для меня ты — и то сперва с месяц салом откармливать надо.

Засмеялся председатель.

— Он — по другой части. Он тебе стекла вставит, двери навесит, полы переберет, жилье обиходит. Не гляди, что душа в нем на соплях подвешена,— руки у него золотые. Это тебе все, так сказать, от нашего колхоза,— он порылся в передке телеги, вытащил бутылку.— А спирт — это уж от меня. С возвращением тебя, Анисья Поликарповна, и с новосельем.

Застыла улыбка у Анисьи, будто примерзла: ни убрать, ни сдвинуть. Хотела лагерной прибауткой ответить, потом — матом позабористей, а вместо этого — поклонилась. И сказала, как положено, как тысячу лет до нее русские бабы говорили:

— Пожалуйте в избу, гости дорогие. Не побрезгуйте угощением нашим.

Поблагодарили, чинно в дом прошли, чинно за стол сели. Угощать, правда, Анисье было особо нечем, но время, сильно подправив старые традиции, спасовало перед древними отношениями гостя и хозяина. И все шло, как надо, и слова говорились, какие требовались, и за черствую корку от всей души благодарили, и разговоры о хозяйстве вели неторопливые и основательные, и так хорошо у Анисьи на сердце стало, как давно не случалось. Так давно, что, поди, за это время и бабкой сказаться могла, не только что внуков — детей собственных так и не разглядев. Хорошо они эту бутылочку приголубили, по-людски, по-семейному. Потом председатель на телегу взгромоздился и подался в свое Красногорье, старик еще раньше с копыт брыкнулся, и теперь храпака задавал, будто вправду мужик, а Анисья, в дому не прибрав — ай, маменька заругала бы, ай, батюшка подзатыльник бы отпустил! — долго-долго по мертвому своему селу гуляла. К Двине выходила, любовалась зоревыми ее красками, вновь ныряла в улочки да проулочки, и шептала, несокрушимо улыбаясь:

— Не всех еще перевели, не-ет, не всех. Еще остались, еще жива, стало быть, она, родина моя. Нет, не выведешь нас, не сведешь, не вытравишь. Никакими Соловками не вытравишь...

И уснула хорошо, и проснулась славно: топор тюкал, ровно дятел. Спокойно, домовито, по-деревенски неспешно. И, завороженная этим стуком, этим покойным трудом, домовитостью и такой зримой, такой полновесной, так по-крестьянски осмысленной свободой своей, Анисья впервые ощутила, как сладко забилось вдруг ее иссохшееся сердце.

— А старичок глупый попался, на редкость глупый: решил, что в него влюбилась Аниша, и ну над нею куражиться,— рассказывала мне баба Лера.— А она не в него — она в мечту свою влюбилась, в мечту о доме, о семье, о заботе. Этого в женщине никакие лагеря не убьют.

Жажда заботы, которую испытывала Анисья, была куда сильнее всех прочих желаний и инстинктов: Анисья любила чистой и непорочной своей душой, с восторженным трепетом ухаживая за добровольно избранным властелином.

Она радостно кормила его и поила, обстирывала и одевала, чинила ему одежонку, топила по субботам баньку и с девичьей готовностью бегала за бутылкой в Красногорье. И лишь об одном решалась просить, всякий раз чуя, как замирает сердце:

— Топориком постучал бы, а?

— А чего? Ништо! Так сойдет!

— Федотыч, солнышко ты мое закатное, христом-богом молю. В детстве батюшка мой стуком этим будил меня на заре.

— Эка, глупая баба! Чего уж. Ну ладно, огурца соленого принеси. Огурца желаю.

Бежала Анисья за четырнадцать верст, выпрашивала, вымаливала огурцы, которых давно уж не сажали в этих краях напуганные многолетней бескормицей бабы, которые завозили в сельпо издалека и редко, куда чаще распределяя по родным и начальству, чем пуская в продажу. И это тоже было чудно Анисье, потому что огурцами в их Демове исстари занимались девчонки, и труд считался скорее забавой, хоть и солили те огурцы бочками. А ныне все тут сдвинулось, на огурцы сил уж никаких не хватало, и кроме картошки бабы сажали только лук, да кое-кто — помоложе да пошустрее — морковь, а больше ничего уж не сажали, уповая на картошку да на то, чем удастся разжиться в колхозе или прикупить в магазине.

— Скверно живете,— строго сказала Анисья, встретив председателя.— Думают абы день прожить, а о работе не думают.

— Это ты точно подметила, Демова,— вздохнул председатель.— Надорвались бабоньки мои, и хозяйство надорвалось. Деревня-то нынче на бабе стоит, вот какие дни развеселые.

— А чего луга запустил? Раньше луга были — по грудь, а теперь кусты да кочки.

— Косарей нету, Анисья Поликарповна. А машинам дороги нужны. Они без дорог, как мы без ног.

— Теперь ты понял, курский, кто таков есть бедняк? Бедняк, это который без дорог, как без ног. А мы, мироеды которые, мы по колено в топях сутками напролет косили и на себе траву до Двины выволакивали. Братаны мои, бывало, через порог переползут и — как мертвые. Мы с матушкой кой-как сапоги их мокрющие стащим, а самих не трогаем, пока в себя не придут. Слыхал о такой работе, председатель?

— В кино видел, Демова,— усмехнулся председатель.— Положило тебе правление триста рублей в месяц, а трудодни сочтем, коли будет, ради чего считать.

— Это за что же — триста?

— За то, видать, что я тебе нахлебника подсунул. Опять за водкой прибежала, непутевая ты баба? Ох, руки мои не доходят, а дойдут — накостыляю я твоему, Демова!

— Ладно, не твоя то забота,— проворчала Анисья и улыбнулась, не удержавшись, ощутив себя настоящей русской бабой, которой люто помыкает домашний царь-государь.

Влюбленность, в которую столь упоительно играла Анисья, кончилась в одночасье, и не случись тут Калерии Викентьевны, никчемный старичонка Федотыч кончился бы заодно с этой влюбленностью.

Анисья никогда, ни на одно мгновение не забывала о своей «Лере Милептьевне», старательно рисовала ей каракули на почтовых открытках и считала, что есть у нее, одинокой и обиженной, справедливая, строгая и прекрасная, как покойная матушка, старшая сестра. И в основном-то и была занята перепиской с сестричкой-каторгой да самоуничижением перед собственным мужиком.

И таяли, снегом под ярким солнышком, таяли скопленные надрывным трудом денежки.

Их начали выдавать за ударную сверхплановую работу еще в самом начале пятидесятых. А потом, после смерти вождя, и за норму тоже стали платить, правда, мало, не все, что положено, и не на руки, однако Анисья всегда была бережлива до скупости и работяща до беспамятства. А когда отпустили и заработанные до копейки выдали, она, хорошо знакомая со шмонами и с грабежами, все зашила в самые потаенные места и довезла до родимого Демова, копеечки по дороге не истратив. И спрятала все в облюбованном под жилье доме, поскольку никаким государственным учреждениям — а сберкассам в особенности — не верила. И брала из тайничка помаленьку, когда «сам» требовал, обещая за то топориком маленько потюкать. А потом получила письмо из Москвы, проревела над ним ночь и на другой же день выехала за своей единственной «Лерей Милентьевной».

— Аниша мне еще в поезде призналась: «Баба, говорит, я, Леря Милентьевна, глупая баба»,— грустно улыбалась Калерия Викентьевна.— А сама, вижу, прямо от счастья светится. Ну, думаю, влюбилась моя Аниша, и слава богу, что влюбилась, что хоть глоток чистый ей достанется после всей мути каторжной. Поздно приехали, во втором часу: храп висел над пустым Демовым. «Вот, говорит, мужик мой храпака задает. Никакого, правда, проку от него нету, кроме что звуки разные, а — приятно. Утром, говорит, сама познакомишься». А утром проснулась я — ничего со сна не пойму. Голосит кто-то дурным голосом. Выбежала я в одной рубашке — глядь, моя Аниша на веревочке за собою старичка ведет. Руки у него связаны, на шее — петля, и — орет. «Что такое?» — спрашиваю. «Вот,— говорит,— соколик мой проворовался, все денежки мои пропил-прогулял, и я его топить веду. Но не в Двину, чтоб не поганить, а в болото...» Еле-еле уговорила я ее смертную казнь высылкой заменить...

Улыбается Калерия Викентьевна. Грустно и ласково, трогательно и печально, вспоминая неуклюжую любовь дорогой своей Аниши.

— Выслала.

6

Да, Калерия Викентьевна Вологодова осталась на котласской пристани: это и поэтическая метафора, и реальность одновременно, потому что так она мне говорила сама. Она верила в одномоментность своего превращения, ибо отсюда пошел иной отсчет дней ее на этой земле, ее собственная шкала и мера. Но если несгибаемый дух Калерии Викентьевны был способен на мгновенную метаморфозу, то естеству понадобились ступени вживания в новую ипостась. И это опять-таки не мои домыслы, а собственные признания бабы Леры, умевшей смотреть не только вокруг себя, но и внутрь себя, в душу свою, которую она изучала постоянно с прилежанием и любопытством гимназистки.

— Я ведь не просто из привилегированного сословия, но и из семьи обюрократившейся, оборвавшей все связи с природой. Моя мать Надежда Ивановна, урожденная Олексина, получила весьма прогрессивное по тем временам образование и, представьте, нашла свое призвание в репортерской работе, хотя печататься ей чаще всего приходилось под мужскими псевдонимами. И в тысяча восемьсот девяносто шестом году в дни коронации Николая Второго репортерская судьба занесла ее на Ходынское поле. Она, в то время совсем еще юная девушка, уцелела чудом, истинным чудом, но навсегда утратила ясность и самостоятельность натуры своей. Моя тетя, старшая сестра мамы Варвара Ивановна, прилагала массу сил и средств, чтобы спасти маму, избавить ее от этого страшного недуга: возила по врачам, знахарям, спиритам, гипнотизерам, даже по монастырям, но все было тщетно. А мой отец Викентий Корнелиевич любил маму давно, еще с первого ее бала, первого выхода в свет: он был значительно старше мамы. Дело закончилось не очень-то веселой свадьбой, но зато родились мы. Первым — Кирилл.

Калерия Викентьевна вздохнула, скрывая неведомую горечь. Она, как правило, избегала рассказов о своих родных, о детстве и отрочестве — обо всем том, что было с нею до революции, словно шагнув в семнадцать лет за порог отчего дома, она шагнула в иное время, иную эпоху, где не оставалось места даже для памяти о прошлом. Я по осколкам собирал мозаику ее давно ушедших лет, потому что мне всегда казалось, будто портрет бабы Леры, лишенный исторического фона, будет неполным.

— Знаете, поначалу мне вообще представлялось, что я утратила решительно все корни,— помолчав, вдруг улыбнулась она.— Я боялась реки, не умела ориентироваться в лесу, долго не решалась босиком перейти болото. А потом все воскресло. Не возникло, а именно воскресло, ибо ничто, как выяснилось, не пропадает, все хранится в тайниках души нашей и при надобности воскресает, но человек обычно не способен уследить за логикой движения — он воспринимает лишь диалектику превращения, качественного скачка. И таким скачком оказалась для меня одна ночь, до ужаса напугавшая зарею вечерней и благословившая зарею утренней.

Баба Лера улыбается, и морщинки веселыми лучиками разбегаются от глаз к вискам, где голубовато светится бесконечно усталая, медленная кровь. И брови удивленно ползут вверх, собирая недоверчивые складки на лбу, словно баба Лера и до сей поры не верит в то, что с нею приключилось тогда.

— Я отправилась за морошкой в низовые леса...

— Голосить надо, коли по морошку идешь,— выговаривала ей трезвая и ворчливая Анисья.— Побрала ягодок — поори: мол, тута я, живая и крещеная. Говорила я тебе, наказывала, а ты не послушала, вот тебя лешак-то и покружил.

— Покружил, Аниша, твоя правда.

Золотом горела спелая морошка во мшистом кочковатом болоте, просилась в руки, манила в глубину, с кисловатым пьяным ароматом таяла во рту. А брать ее следовало осторожно и не перезрелую — мягкую, тускло-желтую,— а в самом соку, в плотной спелости, в цвете лютика. Все вокруг было усеяно ярко-желтыми ягодами, но те, что светились впереди, казались лучше, сочнее, крупнее и ароматнее, и баба Лера, проваливаясь по колено в мягком сыром мшанике, давно уже потеряла направление. Задыхаясь, торопилась к новым россыпям, брала, не глядя, а глаза уже высматривали, куда идти дальше.

Неторопливый августовский комар, что еще гнездился в болотах и низинах, рвался к разгоряченному телу, зудел, жалил, пил кровь; отмахиваясь от него, баба Лера спешила поскорее набрать корзинку, поскорее выбраться на ветерок, на прокаленные солнцем сосновые взгорья, а потому и не озиралась. А когда стало смеркаться, когда вдруг дохнуло вечерней свежестью, настоянной на ягодах и болотном дурмане, опомнилась. Поставила корзинку, выпрямилась и медленно огляделась, но кроме бесконечных кривых сосенок не увидела ничего. И впереди и сзади, и справа и слева тянулись унылые тощие стволы, и было все равно, куда идти, потому что баба Лера ясно поняла, что заблудилась. И громко, сердито сказала:

— Вот глупость-то какая!..

В сыром застойном воздухе голос прозвучал глухо, будто тут же и осел, будто не поднялся вверх, не расплылся вширь, а остался рядом, и Калерия Викентьевна более уже не решалась ни кричать, ни говорить, ни даже громко вздыхать. И начала кружиться, страшась отступить от корзины, чтоб не остаться совсем одной в этом пугающе гулком пустом болоте. Кружилась на одном месте, пытаясь что-то понять, что-то сообразить, и с каждым мигом ощущая, как поднимается в ней уже неконтролируемый ужас. И безотчетно, беззвучно, но изо всех сил позвала того единственного, кто только и мог спасти ее сейчас: «Алексей!..» «Спокойно,— тотчас же откликнулось в ней.— Прежде всего, никакой паники. Четыре шага — вдох, четыре — выдох». И, подчиняясь его такому родному, такому усталому голосу, Калерия Викентьевна оборвала свое затравленное кружение и начала глубоко и сосредоточенно дышать, отсчитывая про себя шаги: «Раз, два, три, четыре...» Дыхание постепенно выравнивалось, сердце успокаивалось, и баба Лера физически ощутила, как отступает, прячется вынырнувший вдруг ужас. И с гордостью улыбнулась в сырой сумрак болота:

— Все хорошо, Алексей. Не волнуйся, родной, я — из твоего ребра.

На сей раз она не испытала ни страха, ни смущения, хотя звук ее голоса по-прежнему остался рядом, не сумев прорваться сквозь вязкую броню болотных испарений. Она уже пережила мгновение ужаса, преодолела страх, подавила нараставшую панику, и это стало первой ступенью ее возврата к естественной жизни, к природе, от которой много веков было отторгнуто ее «я», растворенное в бесчисленной чреде предков, а в начале двадцатого века сконцентрированное в крошечной девочке Лерочке, жадно и неумело ищущей губками материнский сосок. Но тогда, стоя по колено в гнилой воде, баба Лера еще не осознала, что это — ступень: она лишь почувствовала свободу, избавившись от страха перед лесом, сумерками и безбрежным болотом, и сердце ее билось чуть чаще обычного именно потому, что она впервые ощутила дуновение этой самой древней из всех человеческих свобод.

— Все так просто, но я постигала эту простоту с тупостью закоренелой двоечницы. И сразу же стала припоминать что-то из гимназии: с какой-то стороны ветви гуще, с какой-то — муравейник, с какой-то — мох. Но мох был здесь везде, ему было все равно, где у людей, юг, а где — север, он рос, как хотел и где хотел, и это быстро отрезвило меня. И пока еще не совсем стемнело, я стала присматриваться, где повыше деревья, и пошла туда, не успев как следует подумать, почему я поступаю именно так.

Идти было очень трудно: баба Лера находилась и накла́нялась, напугалась и наволновалась. Корзина, полная отборной морошки, с каждым шагом становилась все тяжелее, но Калерия Викентьевна ни разу не подумала, что можно высыпать ягоды, а завтра прийти и набрать новых. Она упорно волочила корзину по пышному моховому ковру, тяжело оступаясь и то и дело по колено проваливаясь в воду. А сумерки сгущались, темнота окутывала деревья, откуда-то выполз туман, но баба Лера упорно шла и шла, и твердо знала, что идет она правильно.

Подъем был почти неприметен, бесконечно длинен и неудобен, но в конце концов Калерия Викентьевна одолела его. Кончилась вода под ногами, пошли кочки, нежный мох сменился хрустяще сухим, и баба Лера с огромным облегчением смогла, наконец, присесть и перевести дух. Она по-прежнему не имела никакого представления, где ее дом, как выйти на дорогу или к реке, но сейчас

эти мысли ничуть не беспокоили ее. Она знала, что именно *не знает*, и эта конкретность представлялась обычной, почти обыденной. Надо ждать, пока рассветет, спокойно ждать, без паники и мрачных предположений, ждать — самое простое и мудрое из всех мыслимых решений. Здесь сухо, можно вытянуть ноги, прислониться спиной к стволу и думать. Слава богу, она не растеряла этой наивысшей свободы духа человеческого, ну, а размышлений и воспоминаний ей хватило бы и на бессрочный Алексеевский равелин. Баба Лера улыбнулась обступающей со всех сторон тьме и не без удовольствия прикинула, о чем она будет вспоминать. Выстраивала цепочку, чтобы воспоминания не повторяли, а дополняли друг друга, чтобы не остались отдельными пятнами, но слагались в мозаику, чтобы были честными и чистыми, как давным-давно вычеркнутая из обихода исповедь.

Первым делом, однако, Калерия Викентьевна стащила резиновые сапоги, вылила из них воду и натолкала внутрь сухого мха. Потом уложила их так, чтобы ветер задувал в голенища, набрала побольше сухой травы, устроила удобное место и как следует укутала ноги. Пока она возилась, стало совсем темно, и ужинала баба Лера уже на ощупь, вынимая из стоявшей рядом корзины пригоршни кисловатых ягод. Поев, откинулась к сухой, прогретой за лето сосне и закрыла глаза. Ей не надо было звать прошлое,— все было продумано, отсеяно и выстроено. И когда перед закрытыми глазами появился первый смутный облик, Калерия Викентьевна улыбнулась и шепнула чуть слышно:

— Здравствуй, мама. Ты все еще ворчишь на меня, что я удрала с Алексеем в ту безумную ночь, когда юнкера рвались с Пречистенки? Не надо, мама, я счастлива. Я куда счастливее тебя, бедная моя мама...

— Счастье? — тотчас же откликнулся в ней молодой уверенный голос.— У тебя дамское представление о счастье, сестра. Есть только одно счастье, ради которого стоит жить и стоить умирать: счастье отечества твоего...

Калерия Викентьевна ласково улыбнулась: здравствуй, Кирилл. Здравствуй, мой вождь и наставник, мой мудрец и учитель, мой единственный брат. Ты всего на три года старше меня, но авторитет твой всегда был непререкаемым, абсолютным, божественным авторитетом. До тех пор, пока ты не привел в наш дом юнкера, с которым спал на соседних койках.

— Рекомендую тебе, сестра, моего лучшего друга. Алексей, это — Лера, о которой я говорил.

Пятнадцатилетнюю гимназистку великодушно допускали в свою мужскую компанию взрослые, пахнувшие кожей, ружейным маслом и лошадьми будущие офицеры с пока еще будущими усами. Дружба между юнкерами была воистину мужской: если один говорил «брито», другой яростно утверждал: «стрижено!» Мнением гимназистки никто, естественно, не интересовался: она приглашалась на роль аудитории. И кипела негодованием в адрес этого противного Алексея, который осмеливался спорить с Кириллом. Гневно сверкала глазами и без конца теребила косу.

— Свобода не вне человека, Алексей, свобода внутри человека. Вспомни, даже гениальный Пушкин был несвободен: обижался на камер-юнкерский мундир, умолял государя, свято соблюдал глупейшие светские традиции. Первый шаг к личной свободе совершили декабристы: один возглас «Вы свинья, Николай Павлович!» сто́ит иной революции. В этом гласе звучит русская душа, пробудившаяся после тысячелетнего холопства. И какие же могучие крылья обрела эта душа во Льве Толстом, воспарив не только над властью, не только над бытом, но и над церковью — вровень с самим господом богом! Вот путь истинной свободы для русского человека: от Пушкина через декабристов к взлету Льва Николаевича. Стало быть, задача в том, чтобы путем совершенствования пройти эти ипостаси...

— На какие средства? На какие шиши проходить ипостаси, Кирилл? Душа душой, а тело телом: его питать надо, одевать, согревать.

— Тупоголовый материализм!

О, как Лерочка была согласна с братом, как сердилась на этого «тупоголового материалиста»! И перед сном долго отчитывала его, вспоминая усмешку, синие глаза и упрямые губы.

— С людьми, осознавшими себя свободными, мы построим идеальное общество. Все — для отечества, все — ради отечества!

— Утопия, Кирилл. Единственное, ради чего стоит жить, это равенство. Всеобщее равенство и справедливость, исходящая из принципа всеобщего равенства.

— Да пойми, Алексей, что равенство само по себе еще ничего не определяет. Равенство может быть как в среде патрициев, так и в среде плебеев: какое из них ты имеешь в виду? Нет уж, извольте начать готовить людей для равенства, а не равенство для людей: это абстракция! Да если люди когда-нибудь при любом равенстве забудут о свободе личного «я», равенство обернется тиранией! Вторым крепостным правом, на новом витке Истории!

Этот спор запомнился особенно ярко, потому что перед сном Лера впервые не ругала Алексея. Лежала, глядя в темный потолок, слушала, как в гостиной часы отбивают четверти, и думала. Нет, она и тогда не соглашалась с Алексеем, но ей уже не хотелось сердиться, а хотелось спорить. И она сочиняла этот спор, придумывала аргументы, предугадывала его ответы и все время видела его глаза. Синие, которые среди спора вдруг могли потемнеть, стать серыми, растратить теплоту и приобрести холод. Нет, она непременно, непременно, завтра же...

Но на другой день юнкера не пришли: они пришли через неделю попрощаться перед отправкой на фронт. Алексей вдруг объявился в ноябре семнадцатого, а Кирилла она больше так и не видела, и не знала... Нет, знала, зачем лукавить? Знала: ей все рассказали, когда она вернулась в дивизию после тифа. Это Алексей так никогда и не узнал, что она знала все...

...Шел девятьсот девятнадцатый, Деникин жестоко и упорно рвался к Москве, и дивизия Алексея никак не могла выйти из боев, пополниться, вооружиться. В последней схватке повезло: потеснили противника, взяли семнадцать офицеров из ударного офицерского полка. Ввиду чрезвычайного положения на фронте пленных решено было отдать под трибунал. Судили их уже ночью, исполнение приговора отложили до утра; белых заперли в сарае, а когда все утихло, туда вошел начдив. Вошел один и остановился под горящей «летучей мышью» перед семнадцатью смертниками, уже раздетыми до белья. И тихо сказал, помолчав:

— Здравствуй, Кирилл.

Кирилл вскочил с соломы, на которой лежали шестнадцать: семнадцатый безостановочно вышагивал взад и вперед по сараю.

— Господа, позвольте рекомендовать моего друга. Вместе учились в юнкерском, что важнее, два года кормили вшей в окопах. Стало быть, ты — начальник дивизии? Поздравляю, блестящая карьера: из поручиков в красные генералы. А что же Лера?

— Лера в тифозном госпитале. Кризис, кажется, миновал.

— А ты, следовательно, целеустремленно служишь телу, а не душе? — Кирилл нервно рассмеялся.— Помню наши споры, помню. Умри, господь, ты не придумаешь ничего прекраснее и смешнее русской интеллигенции...

— Извини, Кирилл, я должен кое-что разъяснить. Надеюсь, что буду правильно понят, господа. Ревтрибунал приговорил всех к смертной казни. Это первое.

Безостановочно шагавший немолодой человек остановился перед Алексеем. Коротко кивнул:

— Полковник Щербина. Полагаю, что второго нам уже не потребуется.

— К сожалению, второе существует, полковник. Моя дивизия полмесяца не может выйти из боя. Мамонтов разгромил наши тылы, у меня осталось по три патрона на винтовку.— Алексей замолчал. Сердце стучало с непривычной частотой, он собирался с духом, и все ждали, и тишина стояла такая, что слышен был писк мышей в соломе.— Господа, вы — офицеры, и потому позволю себе надеяться, что вы оцените мое положение.

Он умолк, и снова стало слышно, как деловито снуют мыши. Им, мышам, не было дела до гражданской войны.

— И что же? Нас повесят?

— В Красной Армии нет подобной казни.

— Утопят? — усмехнулся полковник.— Живыми в землю?

— Трибунал выделил ровно семнадцать патронов. Семнадцать: по одному на каждого. Следовательно, обычной процедуры расстрела быть не может.

На мгновение замерло все: человеческое дыхание, шуршание соломы, писк мышей, сам воздух. Замерли светила на небе и вращение Земли, замерли птицы и звери, ветер и вода, замерли человеческие сердца и само время тоже замерло. И взорвалось вдруг, разом:

— Палачи! Убийцы!..

Безусый мальчик корчился на соломе, дугой выгибая юношескую спину. Рвал на груди нательную рубаху и кричал, кричал... Как он кричал...

— Звери! Звери! Звери!..

— Прекратите, прапорщик. Вы знали, на что шли, когда записывались в наш полк,— негромко сказал полковник, и юноша тотчас умолк, по-прежнему конвульсивно изгибаясь на соломе.— Придержите его, господа, он же язык прикусит.— Помолчал, усмехнулся, покрутил седой, коротко стриженной головой.— Вы не находите, что это... Это похоже на убийство, гражданин красный генерал.

— Я приказал отобрать самых...— начдив запнулся,— метких стрелков. Это единственное, что я могу для вас сделать.— Он расстегнул кобуру, достал наган, перехватив за ствол, протянул.— В барабане два патрона, больше нет ни одного во всей дивизии. Возьми, Кирилл. Второй разыграете по жребию или отдадите мальчику.

Руки Кирилла дрожали; он никак не мог унять дрожь, и поэтому заложил их за спину. Сказал надменно и как-то оскорбительно громко:

— Благодарю. Оставьте себе, чтобы было чем застрелиться, если проснется совесть.

— Стыдно! — Резко одернул полковник.— Нам вручают свою жизнь, веря, что мы — русские офицеры. Примите мою благодарность, поручик, и спрячьте оружие. Мы все умрем общей смертью,— он помолчал, глядя, как судорожно, не попадая, красный начдив заталкивает револьвер в кобуру.— Ваш порыв дает мне право обратиться с двумя просьбами. Первая касается процедуры.

— Процедуры? — машинально переспросил Алексей.

— Пожалуйста, распорядитесь, чтобы нас расстреливали по одному, а не на глазах друг у друга. Пусть берут по очереди из сарая, это ведь не очень затянет...

— Я уже распорядился об этом.

— Искренне благодарю. И второе. Вы не будете присутствовать при расстреле, поручик. Я старше вас возрастом и чином, и я приказываю вам.

— Слушаюсь, господин полковник,— звякнув шпорами, сдавленно произнес начдив.

— Мы будем петь, господа! — громко сказал полковник.— Мы будем орать во все глотки, ясно? Прощайте, поручик, и ступайте: смертники имеют право остаться наедине с собой и с богом.

Алексей низко поклонился, отдал честь и вышел. А потом сидел в полутемной хате, обхватив голову руками. Светало...

— «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой...» — в рассветной тишине начал вдруг сильный голос, и Алексей узнал Кирилла, и закачался, скрипя зубами. А подхваченная мужскими голосами песня звенела над селом, врываясь в тесную избу начдива. А он, слушая ее, слышал, как уменьшались голоса, как слабела песня, которую орали сейчас во все офицерские глотки: «...туда, где гуляет лишь ветер да я...»

Завел один голос и смолк, оборванный выстрелом. Единственным выстрелом, который расслышал начдив в ту сумасшедшую ночь. А расслышав, сорвался с лавки, бросился к дверям, распахнул их и уткнулся в кожаную куртку комиссара.

— Не пущу,— сказал комиссар.— Не знаю, кто из нас до мировой революции доживет, но если тот, кто доживет, вот о таком позабудет, мы из могил встанем. Все встанем. И так скажем: ты что, гад, запамятовал, сколько русская кровь важит?!

— Алексей никому и никогда не рассказывал об этой ночи,— как-то призналась мне баба Лера.— Я тогда через месяц вернулась из лазарета и увидела, что мой муж в двадцать три года стал совершенно седым...

Какая восторженная романтика бушевала в ее невесомом теле. Как неистово жаждала она еще ярче, еще яростнее раскрасить алую юность свою. Может быть, все они были именно такими, но неистовость их затушили в свинцовые времена, и только Калерии Вологодовой удалось пронести ее сквозь всю жизнь, чтобы передать внукам негасимый факел Великой Революции.

— У каждого времени свой ритм,— лицо бабы Леры вдохновенно горит в пламени пионерского костра.— И очень важно не забывать эти ритмы, если хочешь не просто знать, но и понимать биографию отечества своего. Ну, все, дружно: «Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон...»

Баба Лера дирижирует на пионерском слете полвека спустя, гордо откинув седую голову, а правнуки — поют. В ритмах гражданской войны, что шрамами врезались в сердце... «Так пусть же Красная сжимает властно свой штык мозолистой рукой»,— вместе с пионерами поет она, но — кто знает! — может быть, в душе ее и в эти минуты — «Мы вольные птицы: пора, брат, пора!..» Может быть: гражданская война длится ровно столько, сколько живут пережившие ее поколения.

По сонному обмякшему лицу Калерии Викентьевны медленно сползали слезы. Появлялись в уголках глаз, скатывались к морщинам и уж по ним неспешно текли, пока не срывались в сухой лишайник; баба Лера спала, и слезы никого не оплакивали, а всех жалели. Всех разом и всех с одинаковой горечью, потому что в сердце ее жила только боль и ни единого зернышка зла. И, вероятно, поэтому из тумана, что густо клубился вокруг, неспешно вышел старичок и присел рядом. Баба Лера, не открывая глаз, знала, что он сидит рядом, и еще знала, что это — Бог. И спросила вдруг, от чистого сердца:

— Устал?

— Устал,— он вздохнул.— Гордыня мир обуяла. Вчера еще говорили: «Это мое, а то мое тож». А сегодня каждый мнит себя правым и кричит: «Мы — истина!», а того не понимают, что у лжи есть хозяин, а у истины — нет.

Кого-то напоминал ей этот, заросший по клочковатые брови, старик с глубоко запавшими ясными и пристальными глазами. Его взгляд предполагал глас, а не голос, но старичок говорил тихо, страдая, и сердце Калерии Викентьевны болело от его страдания.

— Трудно тебе,— сказала она.— Ты мстишь, господи, и тебе очень трудно.

— Нет,— он медленно покачал седой кудлатой головой.— Душу положи за други своя — вот и все, чего хочу я. Отдавать надо, вот и вся премудрость мира сего. Отдавать себя и богатства свои, отдавать силу свою и нежность свою, отдавать все, а чтобы отдавать все, надо любить всех, а чтобы любить всех, надо прощать всех, а чтобы прощать всех, надо выжечь гордыню в душе своей...

— Лев Николаевич?! — ахнула Калерия Викентьевна.— Лев Николаевич, это вы?

И заплакала счастливыми, радостными слезами, а заплакав — проснулась. Лицо ее было мокро то ли от слез, то ли от росы; баба Лера отерла его ладонями, но оно снова стало мокрым, и она поняла, что плачет. «Какое счастье! — светло подумала она.— Какое великое счастье, что я заблудилась... Нет, нет, что вышла. Спасибо вам, Лев Николаевич, спасибо, Бог наш, сподобилась я слышать вас, и дорогу, мне указанную, в сердце своем сохраню до мига последнего...»

Бабе Лере стало вдруг невыносимо стыдно за пафосность собственных мыслей. Она засмущалась, завздыхала, заворочалась, окончательно отгоняя не только остатки сна, но и отголоски сновидений. Небо быстро светлело, туман редел, рвался, прижимался к земле, на глазах уползая в болото. Баба Лера поднялась, подвигалась, поизгибалась, потопала по хрустящей постели своей толстыми, Анишиной вязки, чулками, разминая затекшее тело и согреваясь.

Затем умылась росой, растерлась платком докрасна и неторопливо, со вкусом позавтракала морошкой. Вытряхнула из сапог набивку — внутри было почти сухо,— обулась и легко встала на ноги вместе с солнышком. Огляделась и неожиданно для себя самой решила: «Сюда». Подняла корзину и пошла напрямик, твердо зная, что выйдет к людям.

7

— Я вынесла три истины из той ночи,— рассказывала баба Лера.— Первая, самая главная: из России невозможно выйти, и в какую бы ты сторону ни шел, она всегда будет вокруг тебя.

— Резонный парадокс. А вторая, Калерия Викентьевна, о чем будет истина?

— Вторая и третья более прагматические. Мы отвергли старую культуру во всех ее проявлениях, кроме реалистического искусства, но мы не вправе ее забывать. А это значит, что нам следует стать просвещенными атеистами, отрицающими бога, но признающими ценности рожденного религией искусства — таков второй постулат. А третий, возможно, покажется вам спорным: только истинно верующие люди способны на подвиг, и чем выше и чище их вера, тем выше и благороднее будет их подвиг. Мы заменили веру учением, но это, как мне кажется, неадекватная замена. Отсюда вывод: нам нужна новая вера. Не религия — вера.

— Ох, как я вас понимаю! — вздыхает Владислав Васильевич, как-то особо значительно поглядывая при этом на меня.

Мы сидим втроем: Анисья еще утром ушла в Красногорье за продуктами и, судя по всему, явится навеселе. А сейчас — тихий вечер, переливы красок в спокойной Двине, далекий пароходный гудок.

— «Иван Каляев» идет,— почему-то объявляю я.

— Матушка говорила, что была знакома с Каляевым.— И снова в голосе Калерии Викентьевны мне отчетливо слышится странная печаль.— Она всегда называла его только по имени, только Ваней, а познакомились они в Москве, в дни коронации, на которые гимназист Каляев тайком приехал из Нижнего. И мама была свято убеждена, что Каляев не убивал великого князя Сергея Александровича, а лишь казнил его за ходынский ужас.

— Странный парадокс истории,— каюсь, я тогда сморозил глупость.— Рядовой эсеровский боевик удостоен почета и бессмертия, тогда как его непосредственный руководитель и организатор покушения на великого князя Борис Савинков — бесчестья.

— Не окажись Савинков по ту сторону баррикад...— начинает Владислав, но тут же меняет собственное объяснение.— Право суда принадлежит победителям. Это аксиома истории.

— Это — наше объяснение, а не аксиома, Владислав Васильевич.— Баба Лера несогласно трясет головой.— А суть, как мне кажется, в том, что мы воспринимаем Ивана Каляева, прежде всего, как искренне уверовавшего и во имя этой веры идущего на смерть. А в его руководителе видим лишь пастыря, то есть человека, волей своей направляющего искреннюю, а потому и святую веру исполнителя. Людям органически свойственно поклоняться подвигам и заведомо настороженно, если не недоверчиво, относиться к тем, кто вкладывал в руки героя оружие и подталкивал его. Заметьте, люди никогда не приходят в ажиотацию по рациональным поводам: эмоции управляются только иррациональным началом. И поэтому я категорически продолжаю утверждать, что нам необходима новая вера. Необходима!

— Я понимаю,— вторично признается Владислав и вторично поглядывает на меня с особым значением.

Странное дело: мгновенно и естественно найдя общий язык с Анисьей, Владислав так и не смог побороть в себе скованности и, как мне всегда казалось, смутной виноватости в общении с бабой Лерой. Он очень редко спорил с нею, предпочитая соглашаться или молчать, а ведь имел и собственное мнение, и убежденность, и вполне достаточную эрудицию. Он и со мною-то начал

спорить не сразу, а накопив определенную сумму впечатлений обо мне и как бы перешагнув некий рубеж в наших отношениях. В частности, именно потребность веры, как естественного стремления к определенному порядку свыше, его тревожила постоянно, недаром он так выразительно поглядывал на меня: мы много раз говорили об этом.

— Понимаешь, наше поколение впрямую столкнулось с культом личности. Ну, скажем, один факт я могу еще хоть как-то объяснить — культ Сталина. Личность незаурядная, сильная, жестокая сумела оценить сложившуюся после смерти Ленина внутрипартийную обстановку: растерянность, групповщина, борьба амбиций, оппозиций и прочее. Сумела воспользоваться «капризом истории», как любит говорить наша баба Лера. Да плюс — война, в которой, заметь, резко возрастает сталинский авторитет во всех слоях, от солдата до маршала. Но это — Сталин, черный гений страны, диалектический антипод Владимира Ильича в полном соответствии с диалектикой, как основополагающим нашим учением. А остальные культы да культики? Один объяснимый да куча нелогичных — это тебе уже не случайность. Это закономерность,— хотим мы признавать ее или не хотим, но она объективно существует. Согласен?

— Ну, допустим.

— А коль допустил такое, изволь объяснить. Изволь поднатужиться, поразмышлять и вывести некий закон.

— Неутешительный это закон,— сказал я ему тогда.— Выходит, что мы чуть ли не фатально обречены на развитие через культ личности.

— Вот! — Владислав резким жестом обрубает мое неуверенное бормотание.— А почему? А потому, что народу необходима вера. Вера на этом этапе общего нашего развития важнее знаний, потому что для знаний у нас фундамент жидковат: в подавляющем большинстве мы ведь еле-еле из ликбезов вылезли и во всех взаимосвязях закон развития общества постичь пока не можем. А в бога уже не веруем — получаются ножницы, необъяснимая для народа пустота. И чтобы не задохнуться в этой пустоте, чтобы направление движения не утратить, народ инстинктивно жаждет веры в авторитет вождя, в его непогрешимость, абсолютные знания во всех решительно областях и почти что священные обобщения. Вот истоки нашей потребности в культе личности, понял? Невозможно жить ни во что не веруя при этаких-то жертвах, что понесли мы, вот народ вместо свергнутого бога и ищет его вполне материалистическую земную ипостась...

Владислав любит собственные гипотезы, с удовольствием излагает их, но при бабе Лере помалкивает. И тогда я вкратце пересказываю суть его объяснений. Естественно, от собственного имени.

— Парадоксально, но абсолютно антинаучно,— сурово изрекает Калерия Викентьевна.— Вы почему-то исключили наиболее активную силу из своих рассуждений: партию. А партия могуча коллективным разумом, и она не допустит антинаучного развития общества. Я говорила о вере. Просто о вере. О святой убежденности каждого, что прожитая нами жизнь прожита не зря, не напрасно, что в общем своем потоке она подчиняется законам нашего учения, и что, следовательно, задача в том, чтобы донести эту убежденность до масс, и в первую очередь — заразить ею молодежь.

С этого вечера, с этого неторопливого разговора, подсвеченного красками северного заката и озвученного стонущим воплем «Ивана Каляева», и началась бурная («миссионерско-пионерская», по определению Владислава) деятельность бабы Леры. До этого она не только не стремилась к детям — она сторонилась их; понадобилось качественное изменение ее взглядов на мир, Россию, историю («прозрение», как она сама определила), чтобы Калерия Викентьевна перестала замыкаться в себе самой со своими мыслями. Понадобилось заблудиться, чтобы выйти к людям, и это было еще одним превращением Калерии Викентьевны Вологодовой в простую, почти сельскую если не жительницу, то учительницу бабу Леру.

— Самой трудной была первая встреча,— вспоминала она часто.— Не потому, что «первая», поймите, а потому, что пришла я не в учреждение, не в школу — я пришла непосредственно к детям, которых по моей просьбе

собрали с помощью Владислава Васильевича. Случилось это на окраине Красногорья, а потом дети стали сами приходить ко мне, и мы жгли костры во-он на той возвышенности, что на берегу. Там теперь Аниша моя лежит, на месте тех костров...

Мы сидим на крыльце, где так любила по старой, может быть, еще детской привычке, сидеть Анисья. Это наша последняя встреча, но мы еще не знаем об этом — ни я, ни баба Лера. Не знаем, хотя уже нет ее Аниши, умершей в начале года, и нет Грешника, навеки шагнувшего за порог. С той поры баба Лера живет одна, если — со вскрытия Двины — не считать случайных гостей, регулярных, хотя и не частых, наездов Владислава да моего месячного отпуска.

— Как же она одна-то следующую зиму переживет, Владислав?

— Не будет она одна, не будет. Я ей очень милую старушку подыскал, бывшую учительницу. Сейчас старушка внучатами занята, а разъедутся внучата к сентябрю, и перевезу я ее к бабе Лере. С ней детально все обговорено, но баба Лера ничего не знает, и ты, гляди, не проговорись: я не сюрприз ей хочу сделать, я врасплох ее захватить хочу, а то ведь и закапризничать может, если мы ей время на размышления оставим.

...Ах, как волновалась баба Лера перед своим первым свиданием с детьми! Не спала ночь, читала, вставала, металась. Даже Анисья не выдержала:

— Ну чего, чего себя-то мытаришь, Леря Милентьевна? Ну дети, ну сопливые, ну, молчать будут, как клопы. Ну чего из-за них казниться-маяться, сестричка-каторга? Да пошли они...

Указала, куда именно. А потом повздыхала, покурила, поворчала про себя и неожиданно предложила:

— Вместе пойдем, вот чего я тебе скажу. Я насупротив сяду, а ты гляди только на меня и все мне рассказывай, будто и нет никого кругом.

На первой встрече народу оказалось немного: десять-двенадцать старшеклассников (одни девочки), трое учителей, два бодрых старика да парторг тогдашнего колхоза. Калерию Викентьевну никто не знал, но все слышали, что, во-первых, безвинно пострадавшая, а во-вторых, «из бывших». Однако понятие «из бывших», так настораживающее жителя собственно России, на Севере воспринимается скорее с благожелательным любопытством, потому что Север не знал ни всесилья бояр, ни дворянской вседозволенности, ни самого крепостного права. Но все это определилось потом, а тогда бабе Лере было совсем не до анализа. Однако аудитория на четыре пятых состояла из женщин, и Калерия Викентьевна неожиданно для себя самой начала совсем не так, как предполагала:

— Скажите, можно ли искренне, глубоко и преданно любить понаслышке? Можно ли клясться в любви предмету, о котором вы либо не знаете вообще, либо знаете ничтожно мало? Женщины уже улыбаются и переглядываются, и я предугадываю их ответ: конечно, нельзя. Нельзя, невозможно и неправдоподобно уверять всегда и всех, что вы безумно любите то, о чем не ведаете, о чем не думали, не страдали, не плакали тайком или не гордились прилюдно. И, однако, и вы, и все мы это делаем чуть ли не ежедневно: мы готовы в любой момент, на любой аудитории и по любому поводу признаться, как преданно мы любим свою родину...

Прошелестел недоуменный шепоток, и баба Лера передохнула. Напротив сидела верная Аниша, строго глядела в глаза и одобрительно кивала каждому слову. Калерия Викентьевна улыбнулась, весело удивившись, с чего это вдруг она решила начать свою просветительскую деятельность с любви, и почувствовала, что успокаивается, что аудитория заинтригована и послушна, что взяла она правильную ноту, и что теперь можно смело говорить все, не боясь, что тебя не поймут или превратно истолкуют. «Коли сразу приняли — все поймут»,— с юной бесшабашностью подумала она и продолжила:

— Я была гимназисткой начальных классов, когда из Тулы в Москву, где жила наша семья, после похорон Льва Николаевича Толстого приехал мой дядя Василий Иванович Олексин. Для всей нашей очень многочисленной

родни — у моей бабки было десятеро детей — Василий Иванович всегда был высшим авторитетом: в юности участвовал в народническом движении, строил в Америке коммуну по образцу Фурье. Потом служил учителем старшего сына Льва Николаевича Сергея в Ясной Поляне, подружился с графом Толстым, увлекся его учением и оказался тем человеком, который спас для истории «Евангелие» Толстого, переписав его за ночь перед тем, как Синод уничтожил оригинал. Дядя Василий Иванович очень тяжело переживал смерть своего гениального друга и учителя, почему и приехал к своей младшей сестре Наде, которую всегда любил и жалел. Он часто беседовал с нами, своими племянниками, но с Кириллом чаще, потому что брат был старше. И как-то раз так вышло, что Кирилл торжественно объявил, что очень любит свою родину. Дядя сморщился, будто разгрыз зеленый крыжовник, и сказал то, что я запомнила на всю жизнь: «Говорить о своей любви к родине все равно, что утверждать, будто вода мокрая, а молоко белое. Родине служат, родине сострадают, за родину умирают, но болтать о любви к ней может только человек глубоко равнодушный. Любовь — это действие, а не слова, а если любовь — слова, то это фальшивая любовь». Так давайте же не будем клясться в любви, давайте доказывать свою любовь делами. А чтобы принести наибольшую пользу, необходимо знать, чего ждет от вас родина, то есть, надо ее знать. Вы скажете, что знаете ее, что изучали историю и географию, и будете глубоко неправы. Во-первых, родина это не столько то, что вокруг нас, сколько то, что под нами: прошлое, судьба, история. А во-вторых, в школе вас учат не столько истории, сколько исторической хронике, то есть, последовательности событий во времени. А история — это не наука о датах. История — это биография народа. В данном случае наша с вами биография, биография русского народа...

Баба Лера вдруг поймала себя на том, что четко, реально ощутила, как раздвоилось ее внимание. Да что там внимание — раздвоилась ее душа, ее память, ее чувства, она сама раздвоилась. И если первая половина продолжала, поглядывая на согласно кивающую Анисью, ясно и логично излагать продуманное, то вторая половина, ее второе «я», с этого мгновения видела Алексея и разговаривала с ним...

— ...Помнишь семьсот четырнадцатый Бессмертный Пролетарский полк в составе ста трех человек со мной вместе? Перед отправкой на позиции — митинг: «Не желаем идти в смертельный бой за мировую революцию с криком „Ура!“, которым Россия встречала низложенного монарха!» Напрасно и ты, и комиссар, и начштаба, и даже я, важно назначенная начальником культпросветотдела, объясняли бойцам, откуда пошел этот возглас, этот боевой клич России — все требовали нового пролетарского вопля. Все орали, кричали, вопили, пока ты не разрядил в небо полбарабана своего безотказного офицерского нагана-самовзвода. «Тихо! — сказал.— Желаете новый клич? Пожалуйста, давайте предложения, но не все скопом, а по одному. Комиссар запишет в порядке поступления, а потом приступим к голосованию...» Что тут началось, Алеша, помнишь?

«Гады-ы!..»

«А-а-а!..»

«Долой капитализм!..»

«Ма-аркс!..»

«Предлагаю точно и классово: сво-лочь!..»

«Рев! Рев! Рев!..»

— Что — рев, рев? Говори толково!

— Сокращенно: «Революция», товарищи! При атаке — «Рев! Рев!..»

Дружно и страшно: «Сме-е-ерть!..»

«А по-матерному можно? Нельзя? Тогда предлагаю сокращенно: „В бога — душу! В бога — душу!..“»

— Нельзя!

— А нам нравится!

— А нам не ндравится!

«Даешь клич!.. Даешь!..»

— Стоп! — крикнул ты и снова пальнул, чтоб образумились: в начале восемнадцатого стреляли все и помногу, иначе не слушали.— Кто сказал «Даешь!»? Вы, товарищ? Молодец! Командование предлагает вместо царского «Ура!» всем дружно и яростно кричать при атаке пролетарское «Даешь!..»

Но хватит вспоминать, хватит! Вот они, родные Анишины глаза, вот он, вольный берег и вольный ветер, а вот и те, кто должен поверить тебе на всю жизнь. Ты не раз глядела смерти в лицо, ты на спор дырявила пятаки из дареного маузера, ты «доходила», блевала кровью и желчью, ты сидела по каторжной, прошла карцер и лесоповал и ни разу не дрогнула ни перед чекистами, ни перед блатными: что же ты теперь дрожишь, дворянская дочь? Дворянская? Неправда. Российская дочь. Вперед, дочь России. Долг русского интеллигента куда звонче и требовательнее полковых труб, играющих атаку...

Как мы были молоды, Алеша. По-моему, куда моложе этих школьниц, что сидят сейчас передо мной, участвуя в мероприятии, а думая о танцах и мальчиках...

Что такое гражданская война? Война красных и белых? Имущих и неимущих? Дворян и простолюдинов? Большевиков против всех тех, кто с помощью своих и наемных штыков хотел уничтожить завоевания Октябрьской революции? Все так и все — не так, все приблизительно и неточно. Что же, забыли его вывести, этот универсальный и всеобщий, как закон, ответ? Нет, не забыли: пытались. Пытались прежде, пытаются сейчас и до тех пор будут пытаться, пока все и каждый лично не поймет, что у гражданской войны есть одна зловещая особенность: ее невозможно объяснить одной формулировкой. У нее ровно столько объяснений, сколько было участников, потому что каждый, кому выпало жить в то время, вел свою собственную гражданскую войну. И шла эта личная гражданская война прежде всего — с самим собой, потом — с семьей, потом — с друзьями и знакомыми, с теми, с кем вместе рос, учился, работал. Вот почему у каждого свое определение, и вот почему нет универсального и всеобъемлющего. И мне, например, нужно было прожить жизнь, многое испытать, многое потерять, многое найти, а главное, многое передумать, прежде чем я сформулировала для себя, что же это такое — наша гражданская война...

...Что рассказать им, Алеша? До того, как изложить свое понимание, надо, чтобы они хоть что-то если не поняли, то — почувствовали. Что же рассказать им?..

Может, переправу у Гончаровки, перед которой в аккуратно, по-фронтовому открытых окопах засели до зубов вооруженные жители с тремя пулеметами? Это сколько же положить придется, пока сомнешь и прорвешься на тот берег, это же трупами вымостить переправу, потому что у артиллеристов нет ни одного снаряда, потому что у пулеметчиков давно опустели ленты, потому что полегчали красноармейские подсумки за этот невероятно длинный марш: остатки патронов и неутомимые клинки лихих хлопцев Егора Ивановича в арьергарде сдерживают натиск сечевиков. Ах, как надо уйти за реку, но здесь — три пулемета, не считая винтовок.

— Стоять всем,— сказал Алексей.

Сорвал зачем-то лозинку при дороге и пошел прямо на пулеметы, похлопывая прутиком по запыленным голенищам.

— Стой! — закричали оттуда.— Куды? Шагнешь еще, огонь откроем!

Алексей шагнул, не задумываясь. Очередь вспорола небо над головой, даже фуражку сбило на затылок, и начдив аккуратно поправил ее. В землю ударило у самых ног, взбитая пулями пыль заволокла глаза, но Алексей не остановился. Слева ударила очередь, справа...

— Да ты что, мать твою, и взаправду смерти ищешь?

— Хороший у вас пулеметчик,— невозмутимо сказал поручик, хотя сердце его уже множество раз то обмирало, то неслось вскачь.— Беру к себе начальником пулеметной команды.

К этому времени он уже подошел вплотную к окопам, упирался ногой в бруствер и глядел на недоверчивых бородачей сверху вниз.

— А ты кто таков? Его благородие, что ли?

— Я начальник дивизии Красной Армии, и нас гонят сечевики. А у меня

в колонне — раненые, женщины, дети. Их всех порубят, если мы не уйдем за реку.

— А мы не пустим! — заорали.— На...ть нам на красных и белых, на желтых и зеленых — мы сами за себя! Мотай отсюдова со своими красными, у нас на всех патронов хватит!

— Конечно, хватит,— согласился Алексей.— Тем более, что мы в вас стрелять не будем: вы же не враги. Мы пойдем без выстрела, а вы нас пулеметами класть будете, а мы все равно будем идти по трупам своих товарищей, потому что у нас — женщины и дети.

Зашептались мужики, загомонили, заспорили. Алексей ждал, с каждой минутой все напряженнее прислушиваясь, не сбили ли петлюровцы заслон, не загремят ли вот-вот выстрелы в тылу, не будет ли поздно. И не окажется ли он тогда между двух огней...

— А ежели вы к нам подойдете да за шашки али за ножи? Вас, вона, дивизия, а нас — деревня.

— Даю честное слово...

— А что твое честное слово, какая ему цена? Нет, ты садись спиной к пулемету, а мы тебя к нему привяжем, и коли твои краснюки на нас замахнутся, мы в них сквозь тебя...

— Привязывайте.

До рассвета просидел привязанный к пулемету начдив, и в спину ему упирался ствол со снаряженной лентой. Мимо шли безоружные, разутые и раздетые его полки, тащилась на заморенных клячах артиллерия, гремя пустыми зарядными ящиками, нудно тянулись бесконечные обозы, а рядом, прижавшись, сидела онемевшая от ужаса Лера. А в самом конце колонны появился усталый Егор Иванович, восемь раз ходивший в атаку в эту короткую ночь.

— Ты чего здесь сидишь, начдив?

— Отдыхаю,— сказал Алексей; плечи его нестерпимо ныли, накрепко перетянутые веревкой, огнем горело место, в которое упиралось твердое пулеметное рыло.— Где петлюровцы?

— Остудил малость,— комбриг самодовольно покрутил ус.— Раньше, чем часа через два, не сунутся.

— Вот я их тута и встречу! — в непонятном восторге пообещал виртуоз-пулеметчик, освобождая начдива от веревок.— Ступайте себе не спеша, кони у вас подбились, ребята...

...А может, тихую Притулиху с федотовскими плакучими ивами над прудом и выгоном, на котором, как пеньки, торчали головы заживо закопанных культпросветчиков? Мертвые головы с вырванными еще при жизни языками, чтоб «агитацию не разводили». И три — с девичьими косами...

...Или баржу на Волге под Самарой, в которой скопом содержались пленные офицеры и заложники, меньшевики и кадеты, мужчины и женщины? Ее приказано было расстрелять с берега из пулемета, и комроты из дивизии Алексея вызвался добровольно. Ах, как медленно тонула продырявленная баржа, ах, как страшно и как долго кричали люди, заглушая пулеметную дробь... Алексей прискакал, когда набитая людьми плавучая тюрьма уже ушла на дно. Багровый от возбуждения и старательности командир роты громко бахвалился в кругу столь же распаленных слушателей. Конем раздвинув круг, начдив рванул из ножен клинок и, привстав на стременах, сверкнул им под углом от левого плеча вниз, как когда-то учили в юнкерском...

— Неплохой удар, Алексей,— улыбнулся командарм Тухачевский, навестивший бывшего начдива в подвале чрезвычайки.— Мы с Варейкисом попробуем убедить в этом товарищей...

Убедили. Три месяца бывший поручик воевал рядовым, заслужив редчайшую награду — орден боевого Красного Знамени. Тогда простили, вернули в ту же дивизию на ту же должность...

...А может?.. Стояли на Брянщине, на формировке. Ждали мобилизованных из деревень, но мобилизованные группами и в одиночку бежали в леса. Дивизия пополнялась с трудом, а время шло; так было не только у них: мужики устали воевать, устали лить кровь и бежали в дезертиры. Свыше двух с половиной миллионов числилось в бегах, и первоочередной задачей дня стало превращение армии дезертиров в армию бойцов. Для этого были установлены недели добровольных явок, когда прощались прошлые грехи, и счет начинался с нуля.

Но беда заключалась в том, что засевшие в лесах дезертиры и ведать не ведали об этих неделях, а при появлении посторонних тут же бросались наутек, оставив агитаторам горящие костры да кипящие чайники. Алексей выходил из себя: военно-учетные организации категорически отказали в пополнении, предлагая пополняться за счет обитателей чащоб. Обитатели эти вертелись неподалеку, но были запуганы и недоверчивы и ни на какое сближение не шли.

— Я пойду, Алеша,— сказала Лера.— Не беспокойся, пожалуйста, ничего они со мной не сделают. А я им все объясню, а ты прикажи приготовить листовки.

Он не отговаривал, не пугал, не просил быть поосторожнее: ему нужны были бойцы, а это был шанс заполучить их. Слабый шанс, может быть, один из ста, но — реальный, и начдив, пометавшись ночь, утром снабдил Леру листовками, личным письмом и спутницей — пожилой и степенной женой лекпома Христиной Амосовной.

— Дай мне браунинг,— сказал он при прощании.— Знаю, он — в кармашке юбки.

— Алеша, ты знаешь, для чего он мне...

— Если не рассчитываешь удержать словом — не ходи: парламентеру с оружием никто не верит,— жестко отрезал начдив.— Мне нужны бойцы, а не жертвенные самоубийства.— Помолчал, улыбнулся невесело: — Выполнишь задачу — лично маузером награжу. Перед строем.

Расчет был верным: дезертиры не испугались двух баб, забредших в дебри то ли за ягодами, то ли за погибелью. Но дальнейшие их действия мало походили на те предположения, которые Лера излагала сомневающемуся мужу. Их бесцеремонно обыскали, запуская руки, куда хотелось (Лера с трудом выдержала это неприкрытое лапанье), отконвоировали по тайным тропам на глухую поляну, где и организовали митинг, на котором после долгих криков, воплей, матерщины и небольшого междоусобного мордобоя выявили три «принципиальные» позиции:

— Оставить у себя и разыгрывать на ночь в очередь, поскольку всем давно бабы только во сне и снятся.

— Завалить сразу, а потом пристрелить, поскольку бабы теперь знают, где все прячутся.

— Прийти с повинной, раз есть такая возможность и письмо самого начальника, потому как мы же не бандиты какие.

Все эти формулировки вырабатывались в невероятном оре в течение добрых трех часов. Затем заросшие по брови, давно не мытые мужики заперли женщин в землянке, поставив часового с ручным пулеметом Льюиса, и принялись заочно решать их судьбу в яростной борьбе приверженцев выявленных позиций.

— Держи,— сказала тогда лекарева супруга девятнадцатилетней жене начдива, вложив ей в ладонь пилюлю.— Если и вправду завалят, разгрызи сразу же и умрешь без боли и мучений.

Под утро послышалась короткая стрельба, а вскоре два мужика принесли закопченный котелок с варевом и две деревянные ложки.

— Энти тех, которым уж и не нужно,— сказали.— А вы ешьте да спите спокойно: мы вредных постреляли и с вами теперь пойдем.

На другой день Лера привела первую партию из трехсот человек. Им организовали баню, переодели, накормили, добровольцев с листовками отправили в другие места, и через месяц начдив получил людское пополнение, а Лера — маузер перед строем.

— Вот этот случай я и рассказала при первом выступлении,— улыбнулась баба Лера. Аудитория была женской, и, конечно, поняли мои страхи. Правда,

две девочки очень возмущались: «На что вы тратили свою молодость, это же представить страшно, это же дурость какая-то».

— И что же вы ответили, Калерия Викентьевна?

— Что я ответила? Я ответила, что молодость тратят все: одни — чтобы не считаться дураками, другие — чтобы не остаться в дураках...

8

Так началась общественная деятельность Калерии Викентьевны. Она не любила этого определения, равно как и всех прочих производных от слова «общество», но суть от этого не менялась: баба Лера неудержимо тянулась к людям, молодела в их присутствии и готова была отшагать добрых пятнадцать верст, чтобы только ощутить себя нужной. Анисья весьма отрицательно относилась к этому увлечению, считала, что «народ ныне пошел куда хужее прошлогоднего», по-деревенски не доверяла словам, но любила слушать свою названую сестричку, а потому с ворчанием и кряхтеньем сопровождала ее всюду, кроме пионерских сборов и костров. Вот на них она никогда не появлялась, нехотя отпуская бабу Леру одну и с нетерпением, почти тревогой ожидая ее возвращения, а если при этом была одна, то непременно шла встречать и так точно чувствовала и время, и пространство, что встречались они всегда на полпути возле бывшей мельницы, где когда-то мельникова дочка Нюра поила холодным молоком ее Митеньку Пешиева. Давно уж и запруды нет, и мельницы, и плеса, и Митины косточки давно во прах превратились, а поди ж ты, всякий раз в жар ее кидало, когда приближалась к жалкому ручейку, журчащему на месте тихого омута, где не то что с бреднем — с неводом, бывало, мужики ходили. Память куда как прочнее чем жизнь оказалась. Куда как прочнее.

В конце августа 66-го года бабу Леру пригласили на большой прощальный костер и даже прислали за ней машину, которая, правда, сумела пробиться лишь до мельницы: дальше можно было проехать только на телеге. Там баба Лера и поджидала ее, а Анисья осталась дома, где несогласно и громко гремела всем, что могло греметь. При этом она никогда, ни единого разу не поминала о детях, на всякий случай даже избегая не очень ясного для нее слова «пионеры», зато вовсю отыгрывалась на «пионерьках», коих непочтительно именовала кобылицами, утверждая, что на таких пахать надобно, да и глаз при этом не спускать, а то того и гляди в подоле принесут. Особое недоброжелательство ее по отношению именно к старшим пионеркам нельзя было объяснить только тем, что отсутствие труда, хорошее питание да пресловутая акселерация формировали из тринадцатилетних девочек невест на выданьи; нет, здесь скорее действовало несогласие ее с физической незагруженностью этих девочек, поскольку они — по Анисьиным понятиям — обязаны были тянуть на себе семейный воз в равной доле с матерью. Именно в этом возрасте, именно в общей хозяйской упряжке будущая жена и мать воспринимала идущие от века традиции, обычаи, навыки; именно в этом звене — звене матери и дочери — заключалось вековое нравственное зерно, прораставшее затем в новой семье, чтобы и там, когда придет срок, быть переданным из рук материнских в девичьи, вновь и вновь, покуда жив род человеческий. В этой наглядной цепи — «мать — дочь» — и была, по глубокому убеждению Анисьи, заложена преемственность и бессмертие самой жизни, а современные «пионерьки» никак не могли служить передаточным звеном в будущее, ибо и делать-то ничего не делали, не умели да и не стремились, и одевались не так, и веселились не этак, и пели не то, и плясали совсем уж нелепо, и вообще Анисья давно уже не возлагала на них никаких надежд, связанных с возрождением того безмерно дорогого ей мира покоя и детства, который был и остался образцом разумного порядка. Цепь разорвалась на ее глазах, ибо она еще видела, еще застала оба разорванных ее конца, болтающихся беспомощно, бессмысленно и бесцельно.

— Нарожать-то они тебе нарожают,— сердито бормотала она, ни к кому, в сущности, никогда не адресуясь.— У девки ум снизу растет — с того места, на котором юбка держится, и до того, в которое первым делом перстами тыкали, как в избу входили. А теперь все девки в штанах заместо юбок, персты совсем другим заняты, и куды уму расти?

Так же, как баба Лера, Владислав, да и все мы, Анисья была весьма озабочена стремительным падением традиционной народной нравственности. Но если нас беспокоило это падение во всех сферах жизни общества, то Анисью — в одном, в морально-прикладном ее аспекте, если можно так выразиться. В основе ее обеспокоенности моралью сегодняшнего дня лежало противопоставление этих половин: раньше было хорошо, теперь — плохо. Правда, лагерь, активное общение с самыми разными людьми и яростная борьба за существование не могли, естественно, пройти для нее бесследно: Анисья не просто наделяла настоящее и прошлое знаками «минус» и «плюс», а и сравнивала их, нередко вполне разумно и объективно признавая «плюсом» явления сегодняшнего дня. Но это куда чаще касалось технических новинок вроде тракторов, электричества в Красногорье или кино в клубе, нежели поведения людей в отдельности или общества в целом, то есть явлений морально-прикладного порядка.

— Бабы вставать разучились, а почему разучились, знаешь? А потому, что мужики их по утречкам не голубят, как исстари шло. Чего зубы-то скалишь? Я дело говорю! В избе, как в бараке, все рядком спали, даже если и велика изба-то. И старики тут тебе, и детки, и молодые — все вповалку, кто на полатях, кто на печи, кто на лавке, а кто и под лавкой. Ну, летом, значит, сеновал, конечно же, либо сени, либо пристроечка какая, а зимой, что думаешь, поголубиться не хотелось? Не боись, не отмораживали. А когда голубиться? С вечера ждать — терпежу не хватит: деды бессонные кряхтят, старухи любопытничают, да и девки, чего уж греха-то таить, сильно всегда прислушивались к этому, значит, моменту, по себе помню. Ну, и чего мужику с бабой собственной делать? А ничего: погладил чуток, чтоб не распыхтелась особо, и на боковую. Зато уж на зорьке — твоя, баба, воля. На зорьке все дрыхнут, бог так велит, а Матерь божья бабу подталкивает: «жмись, говорит, дура, твой часок!» И жались. Потому и вставали раным-рано, и веселые все были, огонь в глазу и работа в руках горели. А теперь места много, мужиков мало, и бабы совсем разленились. И церкву опять же закрыли, спешить некуда, а в поле не опоздаешь: хоть ходи, хоть не ходи — все едино хрень на трудодень и хвощь на трудонощь...

Анисья и церковь поминала всегда не в религиозном, а все в том же моральном ряду. Если бы в Красногорье не закрыли церковь, она бы, возможно, и пристрастилась бы к ней, но ближняя действующая церковь оказалась для нее практически недосягаемой, а потому и вопрос с богом носил у Анисьи деловой характер: она ему жаловалась, как высшей инстанции, чтобы принял меры и прекратил безобразия.

— Луга позапускали, позакустили, позасорили, и куды ты, господи, глядишь? Раньше, бывало, сено — главное дело. Есть сено — есть скотина, а хлебушек и на мясо прикупить можно. А теперь одно разорение, косить нечего, скота нет, а ты дозволяешь. Нехорошо серчать: ну, погорячились мы насчет тебя, ну, обидели — дак ведь те, кто обижал, тех давно либо немцы, либо свои в землю уложили по твоему же, поди, пособлению, а зачем же на молодых бочку-то катить? Пора бы уж и прощать научиться, это не дело, понимаешь.

Трудно, конечно, понять, как размышляла Анисья, но, судя по всему, способ ее размышлений носил все тот же обостренно полемический характер, что и способ общения с окружающими. Она не анализировала, не пыталась обобщать, как то делала баба Лера,— она спорила сама с собой или — что чаще — с богом, поскольку все вокруг было его хозяйством, которое он запустил, обидевшись на русский народ. Поэтому она часто бормотала какие-то не совсем связные обрывки, сердито хмурилась, улыбалась или несогласно трясла остатками пегой гривы своей — это все были чисто внешние проявления происходящего в ней сложного процесса осмысления окружающего мира. Как ни странно, а мир этот, отринувший когда-то ее от себя, был для Анисьи очень дорог и важен; она не обижалась на него, не припоминала ему обид —

все это она взвалила на бога и тем самым спасла свою душу от злобы и ненависти, а себе оставила беспокойство за людей, живой отклик и почти материнскую ответственность за все, бессознательно и в этом повторяя свою дорогую «сестричку-каторгу».

В тот вечер, когда баба Лера ораторствовала на прощальном пионерском костре, Анисья очень серьезно рассорилась с богом. Пошла встречать к бывшей мельнице свою Лерю Милентьевну и спорила всю дорогу, порой оставаливаясь и втолковывая этому сильно поглупевшему старичку всю несуразность его прежних обид и идущего от них недогляда. В основе этой дорожной филиппики лежало недавнее посещение Владислава Васильевича. И, может быть, даже не сам разговор, возникший при этом, сколько вывод, который секретарь — кажется, в то время Владислава уже утвердили третьим — наконец-таки, набравшись смелости, изложил Калерии Викентьевне.

— Да, историческая закономерность исчезновения деревни как общины, «мира», а крестьянства как класса мелких производителей, обусловлена непреложностью законов общественного развития,— он выпалил это, как цитату, и примолк. Потом добавил уже потише: — А знаете, именно у нас, в нашей стране, без деревни обойтись никак нельзя. Невозможно нам обойтись без деревни.

— В этой категоричности я слышу отзвук чего-то знакомо эсеровского,— улыбнулась баба Лера.

— Вот уж чего не знаю, того не знаю,— с неудовольствием проворчал Владислав.— Нас воспитывают, как девиц в благородных институтах: умело, а чаще — неумело обходя высказывания всяких там эсеров, меньшевиков, троцкистов, и поэтому мы, бывает, ляпаем то по-бухарински, то по-спиридоновски, а поскольку боимся оговорок, то и до сей поры шпарим цитаты вековой давности. Так-то оно безопаснее, знаете.

— Позволю не согласиться с вами,— негромко перебила баба Лера.— Дело, мне кажется, не столько в нашей духовной стерильности, сколько в забвении нами диалектики. Признавая ее на словах и в частностях скорее суетно, чем убедительно, мы тихо и незаметно изжили ее в жизни и в общих вопросах. Сначала мы обрубили Гегеля, молчаливо не упоминая о диалектическом законе развития через отрицание: оно показалось нам тактически опасным, что ли. Дальше — больше: мы повторили то же с законом борьбы противоположностей, поскольку лишили свое собственное развитие борьбы идей. А свободная борьба идей не просто выявляет наиболее жизнеспособную из всех столкнувшихся истин — она дает возможность идеям взаимно оплодотворять друг друга и тем самым оставаться живыми. Неоплодотворенная идея умирает, не принося плодов, как и все неоплодотворенное, почему мы вместо современных, сегодняшних аргументов зачастую пользуемся их вчерашними аналогами. Цитата — это ведь мумифицированная идея, Владислав Васильевич.

— Вполне согласен, однако позвольте все же вернуться к деревне, уважаемая Калерия Викентьевна. Вы сами меня спорить учите, ругаете, когда бесспорно поддакиваю, так уж, как говорится, не обижайтесь. Ну так вот. Вы — горожанка, и хоть помотало вас по жизни не дай бог как, все-таки основу из-под вас не вышибло. А основа та — город, его психология, окружающая среда. А я — местный, я в этих краях голопузиком бегал, о порог лоб расшибал, лес до кровавых мозолей рубил и не из одних книжек да лекций представление себе составил.

— Любопытно,— поощрительно улыбнулась баба Лера.

Так начался этот спор — едва ли не первое столкновение Владислава с Калерией Викентьевной. Она и вправду сотворила с ним нечто подобное духовному возрождению: разрушила стереотипы, по которым живут районные руководители. Для них ведь в основном пишутся инструкции и спускаются приказы, что давно уже превратило их в исполнителей воли свыше, в надсмотрщиков, добывал да пробивал. А баба Лера сумела оживить задремавшую было натуру, отвадить ее от бездумного цитирования, приучить к книгам, к размышлениям и сомнениям, к собственным мыслям, наконец. И сейчас, слушая горячащегося собеседника, испытывала огромную радость: она раздула искру еще в одной тлеющей душе. А Владислав упоенно излагал ей свою, личную, продуманную гипотезу...

...Среди множества функций, которые деревня выполняет — продовольственные поставки, рабочая сила, прирост населения и тому подобное,— существенной является еще одна святая ее обязанность. Россия — собственно сама Великороссия и север ее в особенности — обосновывалась на землях, отвоеванных у леса только деревней, одной деревней и именно деревней. Она, деревня, отважно шагала в дебри, ценой напряжения всех сил заставляя отступать их и превращая в культурные земли. Мы — захватчики, оккупанты территории, издревле принадлежащей лесу, и пограничную службу по-прежнему несет все та же деревня. На юге нашей страны, в Европе, на основной пахотной земле Северной Америки и Канады лес давно побежден: у нас он лишь отступил, ушел в себя, затаился, и тысячи лет ведет с нами изнурительную партизанскую войну. А что же получается сейчас, когда мы вынуждены стягивать далеко разбросанные деревни да деревушки в села, поселки, агрокомплексы, исходя из реальности, из удобства снабжения энергией, связи, транспорта и тому подобного? А то, что в тех местах, где мы отступаем, ликвидируя деревни, наступает лес. Угодья — сначала луга, поляны, выгоны, затем поля, неудоби, клины и тому подобное — начинают зарастать: лес неумолимо берет свое. Не надо забывать, что мы привычно забываем: тайга была везде. Это мы, деревня, тысячелетним нечеловеческим трудом превратили ее в лес, но этот зверь немедленно дичает, когда уходит человек, и в конечном итоге вновь превращается в тайгу. И только деревня, ее пот, ее упорство и вековой навык способны сдержать этот таежный напор: уберите деревню — потеряете уже отвоеванное, покоренное, служащее людям. Мы не Франция, не Германия: мы — Индия, Бразилия, Конго, на нас лес наступает, как и тысячи лет назад. И деревню мы сдаем не цивилизации, не грядущему — мы сдаем ее тайге, дорогая моя горожанка. Вот в чем еще одна проблема именно нашего сельского хозяйства: техническая революция требует концентрации сил и населения, а древний враг русского мужика — лес — диктует прямо противоположное...

Конечно, это было сказано не совсем так. Это был диалог, спор, Калерия Викентьевна отстаивала свою точку зрения, но в памяти Анисьи осталось только сказанное Владиславом. То ли потому, что аргументация его была ей понятнее, то ли потому, что сам Владислав был деревенским, а значит, неосознанно, изначально своим куда в большей степени, чем боготворимая, но недоступно непонятная, как божество, баба Лера — как бы там ни было, а доводы сестрички-каторги потерпели полное фиаско, и Анисья сердито выговаривала господу, опираясь на понятные ей, но вывернутые наизнанку личными соображениями мысли Владислава Васильевича.

— Думаешь, ты в городе когда жил? — обращалась она к своему привычному оппоненту чаще про себя, но порой и вслух.— Нужен ты им, очень даже! Ты там по церквам прятался, понятно? А в деревне в каждой избе проживал, а в церкву только к службе ходил, как все равно что поп. Ты в хозяйстве тут нужен был, пособлял, сколько мог, а не пособлял, так плакались тебе, мысли тайные шептали, просили, чего уж очень хотелось — жениха, корову или смерти ко времени. И другим ты у нас тут был, совсем не то, что в городе: там вроде начальника, а у нас вроде как родич, вроде свой, кровный даже, только жил давно, смерть за нас, за мир наш вот этот, деревенский, принял и на небо тебя за это забрали. И ты глядишь сверху, всех знаешь и обо всем тебе ведомо: вон Антип Самсоныч соли тайком припас да и не говорит никому, ждет, покуда цена подымется; вон Санька Извеков обратно от вдовой Верки на зорьке выскочил, и сапоги в руке; вон бабка Акулина чужого петуха черной водой окатывает, чтоб ее кур топтал, а не своих собственных. Все ты у нас знал, обо всем ведал, а в городе — ну, что тебе в городе, что тебе за житье было? Ничего ты про них не знал, и знать не мог, потому как в запертой церкви тебя держали, будто фраера, а потом и навовсе сбросили. Думаешь, это деревня-дура тебя вредным объявила? Ой, старик, ну чего ты, чего мелешь-то? Город тебя опиумом объявил, город! А ты с обиды все перепутал и нас наказал. Нас, деревню то есть. Народ загубил, хозяйство, скотину под корень повывел,

а теперь вон, слыхала я, лес на нас напущаешь. Да знаю я про лес, знаю, не пугай очень-то. Двадцать семь зим не была, а приехала, и, здрасьте, лес на дворе. В красном углу лопух вырос—это зачем так-то, а? Мало, что семью всю начисто вывел, мало, что меня сквозь каторгу проволок,—хочешь, чтоб и само место, где свет увидела, лесом заросло? Да неужто за то злобишься, что из города тебя поперли да церкви твои позакрывали? Так на город и злобствуй, а на нас-то за что? А-а, молчишь. Либо уж и сам забыл, за что, либо и не знал никогда. Что тебе русский мужик, на мозоль, что ли, наступил? Чего лютуешь, старый, опомнись!..

Так она очень сердито спорила с богом, неторопливо — времени хватало, вечера и в августе еще с полдня длиной — направляясь к старой мельнице заросшей дорогой, по которой когда-то с громом неслись молодецкие пролетки, солидно покачивалась коляска исправника, не спеша и безостановочно шли обозы. После того как разрушили плотину, по этой дороге уже никто не ездил, а новую, автомобильную, проложили дальше от берега, сюда отводки так и не пустили, да и делать-то ее, отводку, не для чего было, потому что жили здесь в ту пору три семьи, да и не жили, собственно, а доживали, и остатки одной из них Анисья еще застала в лице так рано состарившейся Палашки, что продала ее родимого брата за бидон керосина. Да, не ездили тут, да и ходили редко, и эта частично мощенная крупным булыжником дорога так заросла травой по пояс и кустами выше головы, что и лошадь с телегой уже с трудом прорывались по ней. Вот он, лес атакующий, вот извечный враг русского мужика, выпущенный на волю, как бандит из лагеря: Анисья видела, чувствовала, ощущала подкоркой опасения Владислава, а потому и выговаривала господу сурово и справедливо:

— Не любишь ты русских, старый, нет, не любишь. Слепоту на них нагнал, мор, глад и лес в придачу.

Прежде заросли обрывались задолго до мельницы — шли поля да луга с огородами,— а теперь подкатились к самому ручью, осинником приукрасив унылые развалины. И поэтому Анисья заметила человека, сидевшего на черных, как прах, остатках мельничных пристроек, внезапно и близко. Остановилась — он спиной к ней сидел, не видел,— задохнулась вдруг, будто бежала, и руки к сердцу поднесла: показалось, что чудо, что Митя сидит, ее Митя, Митенька, единственный ее. Но — опомнилась, опустила руки и окликнула:

— Здравствуй, добрый человек. Кто будешь такой?

Сидящий неспешно оборотился, и Анисья увидела длинное, худое, заросшее тощей бородой лицо с такими пустыми, такими не от мира сего глазами, что даже вздрогнула, подумав: убийца. Но тут же забыла об этом, поскольку весь облик незнакомца — высокий костистый лоб, длинные залысины, седина, усталые рабочие руки — отрицал эту догадку. Но все же нахмурилась и вопрос повторила строго:

— Ты кто таков будешь, спрашиваю тебя?

— Грешник,— негромко ответил он, помолчав.

9

Сутулый, нескладный мужик, коротко признавшись, кто он есть, без аппетита и даже как-то угрюмо жевал ржавый венгерский шпиг с черствым хлебом, а пустые глаза его, раз глянув на Анисью и увидев ее, продолжали глядеть, но уже в себя, уже ничего не видели и не желали видеть.

Анисья через многое перешла, многого насмотрелась, перебрала людей, перещупала, перечувствовала, а потому и понимала. Сразу понимала, и поддерживать разговор ей было просто, потому что она точно определяла, по какому параграфу проходит ее собеседник и на какую статью потянул бы, вернись опять то волчье время. А тут чуть ли не впервые не могла ничего определить, разобраться и очень расстроилась. Села рядом, сказала сердито:

— Сало жрешь, а у нас в сельпо его уже лет пять как нету.

Отрезал шмат сала, разломил пополам хлебушек и протянул Анисье. Она степенно склонила голову, приняв, и стала неторопливо, с крестьянской исто-

востью, есть, посасывая перченый шпиг и глодая хлеб уцелевшими резцами. Так они сидели и жевали, а когда по Анишиному разумению настала приличная для вопросов минута, она спросила:

— Грешник, говоришь? Пришил, что ли, кого?

Незнакомец усмехнулся. Спустился к ручью, вымыл руки и бороду, напился из горсти. Потом вернулся, поглядел на нее глазами не от мира сего, и признался:

— Я царицу видел. Лежит в гробу во всем уборе, а самой, ну, лет пятнадцать, может.

Многое Анисье приходилось слышать: и ругани, и угроз, и просьб, и приказаний, и исповедей как на духу. Ей давно было известно, что никто ее ничем не удивит, кроме разве сестрички-каторги, но тут она настолько оказалась выбитой из привычного, что рука с хлебом замерла на полпути ко рту.

— В кино?

— В гробу,— резко поправил Грешник.— Вырыли мы могилу, а гроб — целехонький, из свинца. Ну вытащили, крышку срубили, а она лежит там, как в постели. И губы красные. Я сам видел, тетка, своими глазами видел.

— Ты что, из седьмого барака, что ли?

Улыбающаяся в гробу царица подействовала на Анисью столь ошеломляюще, что время у нее спуталось, и она вдруг решила, что сидит себе на перекуре с полудурком, каких держали в седьмом бараке, как безопасных; конвоя рядом нет, а полудурок вместо того, чтобы использовать эту радость и залезть бабе под юбку, травит насчет цариц и смотрит бессмысленно: ну и откуда он может взяться? Только из седьмого барака, больше неоткуда. Но в ответ на ее резонный вопрос мужик глянул равнодушно, и глаза его опять заволокло.

— Ты погоди, погоди,— заинтригованная Анисья тронула его за руку.— Ты дело говори, а не крути вола. Какой гроб, какая могила, и что за царица? Может, привиделось тебе? Принял лишнего, и было тебе видение. Мне тоже раз было — ну, сдохнуть можно! Будто, значит, лежу это я...

— Я правду сказал,— угрюмо перебил неизвестный.

— Побожись!

— Грешник я, тетка. Какая тебе божба.

— Ну, скажи: век свободы не видать.

— А ее и так не видать, чего зря-то говорить. Мне шестнадцать было, записался я в комсомол, и послали нас раскапывать кладбище в Кремле, где Чудов монастырь.

— Зачем раскапывать-то?

— А чтоб добро не пропадало. Ликвидировали его, это кладбище, ну и вырывали, что от мертвяков осталось.

— Кости, что ли?

— Хрена им кости. Кресты серебряные, цепки золотые, перстни, бусы да сережки — вот что мы с древних костей срывали, поняла? Прах один уж, и ты в том прахе копаешься, будто самого в червя превратили. Нашарил чего в человеке бывшем, в страстях его, болях, горях и радостях — вынь да положь. И выходит — ценность не человек, ценность — на человеке, вот чему нас не уча учили. Поняла, тетка, чему нас выучили-то? Пользе. От сережки есть польза — ей честь и место; от седой бороды, что триста лет в земле лежит, нет пользы — ну и на свалку ее. Подхвати лопатой и швырни в ящик, а если череп с лопаты скатился — ногой поддай, как футбол, и хрен с ним, с предком твоим. Пожил, и будя, и хорошо, и ладно: теперь в удобрения для всеобщей пользы, а вот крест с тебя, мертвец, все-таки сымем и на серебро проверим для пользы дела. Все — только для пользы дела, только для пользы, тетка, вот какую веру нам преподали...

Любопытно, что когда он говорил именно эти слова — баба Лера позднее случайно сопоставила во времени и удивилась — Калерия Викентьевна горячо и убежденно, с полной верой, как только и выступали во дни ее юности, иначе — пулю в лоб или штык в межреберье — рассказывала старшим пионерам, вожатым, воспитателям и гостям о прошлом их собственной страны.

О том прошлом, которое являлось таковым только для слушателей, а для нее, для Калерии Викентьевны, было вечным настоящим и единственным настоящим.

— Нет, история — не звуки отдельных инструментов, даже если в данное мгновение вам слышится труба, зовущая в бой, фортепьяно, на котором исполняют ваш первый вальс, или барабан, сопровождающий на расстрел. Не разрозненные мелодии и не рваные ритмы есть голос истории. И даже не симфония. Голос истории это и симфония, и ритмы, и сольные партии, и диссонансные мотивы одиночек. История — это грозная какофония, беспощадно разрушающая любую заранее сочиненную музыку...

Калерия Викентьевна выступала, всегда жадно вглядываясь в лица. Не во все скопом и не в одно-два, а поочередно переводила взгляд, задерживаясь на каждом новом слушателе, стараясь одновременно понять его, не сбиться самой, удержать аудиторию в целом — и упаси бог! — не повториться, не потерять напористого («кавалерийского», как она называла его про себя) ритма и не утратить основной мысли. И чаще всего встречала пустые, дисциплинированные и бездумно глядящие на нее глаза.

— Да не слушают они вас,— с досадой сказал Владислав Васильевич, когда она, не выдержав, сокрушенно поведала ему об этом открытии.— Не слушают и даже не слышат. Отучили мы их от истории, отвадили. Теперь для них она — мертвая наука. Вроде латыни или древнегреческого.

— Вы только подтверждаете мою мысль, что ныне опять возникла насущная необходимость идти в народ, как сто лет назад. Надо развивать детей. Информации у них вроде бы хватает, но знаний нет, да и развитие, увы, застыло на нуле. Полузнайство это ведь, по сути, и есть знание без развития, без понимания, а основное свойство полузнайства — самоуверенность. И чтобы пробить эту броню, надо говорить, говорить и говорить.

— О чем, Калерия Викентьевна?

— О чем? Хотя бы о том, что польза, полученная ими от образования, не абсолютна. Польза вообще никогда не может служить абсолютом, ибо это — всегда частность, сиюминутный результат, арифметика, которой так часто пытаются подменить высшую математику человеческого развития, именуемую диалектикой.

— А глазки-то у слушателей — холодные.

— Зажгу!

И опять жарко горел костер, потоки воздуха высоко вздымали искры. И, встречая то пустые, то отрешенные, то заслоненные чем-то своим, личным глаза, баба Лера упрямо продолжала собственный путь в народ.

— Диалектика в истории не применима столь прямолинейно и событийно, как бы нам этого ни хотелось. Ведь диалектика подразумевает разложение на про и контра, на действие и противодействие, на отрицание отрицания и тому подобное, то есть она слишком логична для живой истории. Да, в конечном счете история выстраивается по законам диалектики, накопив для этого достаточное количество фактов, и... и перестает быть живой. И необходимо не просто знать — необходимо понять, постичь этот парадокс. Для того чтобы почувствовать живую правду вместо мертвых догм, надо научиться слышать какофонию времени, а не одни лишь марши и оратории...

Нет, не слушали ее: дети — скромно и откровенно, взрослые — изо всех сил делая вид, что слушают внимательно, словно боясь пропустить...

...А вот Анисья слушала жадно, искренне, а порою и несогласно. Но собеседник ее, назвавшийся Грешником, замолчал надолго, старательно набивая табаком огромную кривую трубку.

— Дерьмовый табак пошел, тетка. Трава травой. Помнишь, в войну такой табачишко филичевым звали? Вот он и есть филичевый.

— В войну я лес валила, а не табак курила. Ты про царицу говори, что мне война твоя.

Неизвестный раскурил трубку, затянулся, долго кашлял, отплевываясь. Потом прохрипел натужно:

— Снится.

— Ай ты! — всплеснула руками она.— Царевна?

— Там ученый был, успел поглядеть на нее. Говорил, мол, самая настоящая царица Ивана Грозного, что от страху под венцом померла. Марфой, помню, звали, а фамилия... забыл...

— Успел глянуть, говоришь? — затаив дыхание, спросила Анисья.— Как это — успел? Вознеслась она, что ли?

— Рассыпалась. Как гроб вскрыли, так прямо на глазах сереть стала, во прах превращаться. Вот это, тетка, и снится: как красота человеческая во прах обращается.

— Рассыпалась...— с бабьей пронзительной скорбью тихо вздохнула Анисья.— Ах ты, господи, ах ты, жаль-то какая.

— Во прах,— строго повторил Грешник и тоже вздохнул.— Всякая плоть, всякая там материя во прах обращается. И красота человечья, тоже, выходит, обращается. А что не обращалось, неужто все кругом временное да тленное? Как мыслишь, тетка?

Анисья не ответила. Ей и самой привиделся вдруг огромный тяжелый гроб, в котором — розовощекая и яркогубая, тугая и горячая, готовая любить и рожать, рожать и любить — лежала она сама в свои шестнадцать нарядных лет. А рядом еще стояли гробы, и еще, и еще, и бессчетно, и в каждый сама собой укладывалась такая же, как и она, девчоночка. А потом они все стали сереть и стареть, обращаясь во прах земной, в тлен, в ничто.

— Было, значит, тебе видение про всех нас,— убежденно сказала она, когда ее собственное видение растворилось в потревоженной памяти.— Про всю нашу жизнь тебе господь кино показал.

— Да не видение! — заорал хмурый мужик, сплюнув и выругавшись от души.— В том-то и дело, все, дура тетка, что истина это, факт, а не блажь моя и не сон! Правда, она страшнее любого, там, видения, дура ты чертова, тетка. Я же не полоумный какой,— он сердито попыхтел трубкой и пояснил, успокоившись: — А что снится мне она, то, конечно, мираж всякий, если по-научному объяснить — метафизика. А если не по-научному, а как в старину полагали, то так я это объясняю — совесть во мне проснулась. Значит, она все-таки есть, не метафизика, значит. А коли она есть, то и душа есть, и мне мои мучения за то, что я чужие души вот этими руками тревожил, хотя и не по своей воле. Потому и говорю, что — Грешник.

Анисья слушала, кивая каждому слову. Потом помолчала, сочувственно пожевав сухими губами, и спросила строго:

— К попу ходил?

— А на хрена мне к попу? — вновь начал раздражаться мужик.— Где они были, попы эти, когда мы, комса, шарага сопливая, в прахе народном копались, могилы грабили, церкви взрывали прилюдно да еще и с хохотом? В штаны они наклали со страху, а кто не наклал, того — на Соловки: слыхала про такое место? И потому нет у нас никакой церкви, а есть проститутки в рясах да с крестами в руках, и я им ни на грош не верю. Кто раз предал, тот и сто раз предаст, это уж точно, это — закон железный.

— Может, скажешь еще, что и бога нет? — с нескрытой угрозой спросила Анисья.

Обиделась она за попов, потому что помнила их не по церквам, а по лагерям, где под этим названием объединяли разношерстную массу верующих, лишенных свободы именно за приверженность совести своей, за отказ от отступничества и за готовность терпеть во имя того, во что они веровали. Это были служители церкви и прихожане, толстовцы и старообрядцы, сектанты и монахи, вытащенные из затворов длинной рукой беззакония. Всех их одинаково насмешливо звали попами, за что-то особенно не любили, гоняли на самые тяжелые работы и ущемляли в чем только могли. А они все сносили с терпением и смирением, и Анисья вскоре зауважала их очень за ту твердость духа, которой так не хватало многим. И вдруг этот мужик с царицей и заграничным салом...

— Если бог — совесть, то он есть,— негромко сказал Грешник.— Если бог — справедливость, то он должен быть. А если он в церквах окопался, тогда

не надо. Вот каков мой ответ будет насчет бога, тетка. А если про меня лично просишь, то в том моя беда, что я ни во что больше не верю. Верил, было дело, сперва я даже сильно верил, потом, правда, послабже, а теперь — все. Истратился. Теперь нету во мне веры ни на грамм, и даже если совесть меня бередит, если грешен я и грех свой сознаю, то все равно облегчения мне не будет, потому что веры во мне нет. Пустой я, как гнилой пень, вот ведь что из меня сделали. Пустую гниль и слизь вложили вместо твердой веры, и душа моя черна, как сажа, а должна бы сверкать, как алмаз.

Из всего, что с горячностью выложил ей незнакомец, Анисья поняла только, что ему тяжко, что нет у него ни места на земле, ни тепла в сердце, что бежит он от себя самого и что бежать ему, пока не упадет замертво. И такие встречались ей, и таких она понимала, а, понимая, жалела очень, потому, что концы были им, людям тем, которые от самих себя, хрипя кровью, уйти пытались, одинаковые. В круг они себя загоняли. Круг, из которого выхода не было и быть не могло, и мчались они по кругу этому, покуда замертво не грохались под ноги поспеющим. Да, один у них конец был, один, другого и быть не могло. И Анисья сказала строго:

— Хватить бегать-то, будя, набегался. Тут теперь жить будешь, в моем селе Демове.

Вечер тот закончился неожиданностью не только для Анисьи, но и для бабы Леры. Уж догорел костер, с облегчением и радостью зажженный после ее выступления, когда к председателю в ошалелом задыхе прибежал старый, а запуганный еще с молоду, дед, сторожививший закрытую церковь, где хранились теперь остатки фуражного зерна.

— В церковь четверо залезть пытались,— сказал председатель.— Заедем по дороге, одного механизаторы мои перехватили.

Неизвестные взломали заколоченное окно, однако унести награбленное удалось не всем. А лезли они, естественно, не за зернофуражом, а за иконами, сваленными на чердаке, потому что ни одна организация этими иконами не интересовалась, и председатель давно прекратил всякие попытки избавиться от них.

Все это председатель рассказал бабе Лере по дороге к церкви. Отправив перепуганного сторожа за гвоздями и досками, молча пропустил свою спутницу в тесную сторожку. Там под хмурой охраной троих парней на колченогом табурете сидел молодой человек явно городского типа. У ног его лежал мешок с вещественными доказательствами преступления, но грабитель держался спокойно, и только в том, как беспрестанно облизывал разбитые губы, чувствовалось внутреннее напряжение. Он мельком глянул на председателя, но на Калерии Викентьевне задержал взгляд, и, вероятно, поэтому она попросила:

— Можно мне с ним поговорить?

— Если желаете,— сказал председатель.— Все равно милиция раньше утра не приедет.

Он выпроводил механизаторов, вышел следом и деликатно прикрыл за собою дверь. Баба Лера села на топчан, покрытый старой овчиной, продолжая молча изучать задержанного. Любитель икон, неожиданно по-детски шмыгнул носом, вновь облизал губы и уставился в пол. На вид ему было не более двадцати, но Калерия Викентьевна понимала, что на самом деле он старше.

— Вас ударили?

— Что? Нет,— он осторожно коснулся губ грязными пальцами.— Просто упал неудачно.

— Вы художник? Любитель старины? Или, может быть, вы неистово религиозны?

— Что? Нет. Ни то, ни другое.

— Тогда что же вас побудило заниматься святотатством?

— Как вы сказали?

— Святотатство — значит осквернение святынь.

— А разве они есть? Святыни, которые можно осквернить?

Вопрос был задан спокойным, в сущности, равнодушным тоном: спрашивающий не интересовался ответом, а констатировал факт. В тоне не содержалось ни бравады, ни позы, ни выпада: все это так не сочеталось с юным обликом преступника, что баба Лера спросила с некоторой растерянностью, неожиданно для себя перейдя на «ты».

— А что, по-твоему, тогда есть? Ведь если нет ничего святого, то что же все-таки есть? Пустое место?

— Скажите, а если бы я портрет Карла Маркса из вашего красного уголка увел, это тоже считалось бы святотатством? — усмехнулся задержанный.— Или у вас в запасе есть еще столь же содержательное определение?

— Из Москвы? — баба Лера спросила скорее для того, чтобы выиграть время: ей требовалось сообразить, как ответить на выпад.

— Милиция разберется, куда доставить,— он помолчал и добавил, словно пытаясь смягчить собственную резкость: — Нет, я не москвич. Но ведь и вы не местная.

— Да, я не местная,— машинально подтвердила она.

— Отдыхаете на лоне?

— Отдыхаю,— она решительно тряхнула седой, всегда с подчеркнутой аккуратностью причесанной головой.— Воровство — безусловная мерзость, что, я полагаю, ты и без меня знаешь. А вот знаешь ли ты, что обворовывание прошлого — мародерство, не уверена. Не уверена, что тебя страшит что-либо, кроме уголовного наказания, но неужели в душе твоей не шевельнулась совесть, когда ты запихивал иконы в мешок? Иконы, в которые с великой верой и с еще более великой надеждой вглядывались целые поколения наших с тобою предков?

— А у вас не шевелилась совесть, когда вы с пеньем под гармошку выламывали эти иконы из иконостасов и сваливали их как попало на чердак да в подвалах?

— Господи, да тебя же тогда и на свете-то не было! — вздохнула баба Лера.— Что ты можешь знать о...

— Все! — резко перебил он, подавшись вперед.— Это вы думаете, что мы ничего не знаем и знать не хотим, а мы знаем все. Завтра я в милиции плакаться стану, что единственно лишь любовь к запрятанной и гибнущей красоте двигала мною, когда я в церковь лез. Но вы мне представляетесь неглупой старухой, а потому поговорим, как говорится, без протоколов. Не знаю, откуда во мне сейчас этакая исповедальная чесотка, может, пожалею о ней, но хочется хоть одному своему предку задать единственный вопрос: вы отдаете себе отчет, что вы наделали? Что, разрушив систему устаревшую, вы из ее же ржавых деталей начали кое-как собирать систему новую, но впопыхах забыли про вечный двигатель духовного прогресса — про нравственность? И что в результате получили?

— Тебе не кажется, что ты смешал в кучу все подряд? Ведь мы не косметический ремонт державе Российской делали, а строили абсолютно новое государство, не имея ни опыта, ни сил, ни средств, ни аналогов в мировой истории. Да, мы натворили множество ошибок, даже преступлений, но в целом-то, в целом нам же удалось чудо! Нам удалось заложить фундамент небывалого завтрашнего дня. Небывалого!

— Эт-точно,— усмехнулся молодой человек.— Уж чего-чего, а небывалого у нас навалом,— он вдруг опять резко подался вперед.— Фундамент, говорите? Чудо, говорите? Спас на крови ваше чудо. Вот вы спросили, откуда я, так я — из Ленинграда, из колыбели революции, как любит выражаться наша пресса. Мой отец, чудом успев нас с мамой в эвакуацию отправить, всю блокаду в Ленинграде по двадцать четыре часа работал, из кабинета не уходя. А в пятьдесят первом его к стенке прислонили. А потом мне — мама от горя умерла — мне в пятьдесят седьмом писульку прислали: извиняемся, дескать, неувязочка вышла, не того хлопнули. Святотатство, говорите? Что посеешь, то и пожнешь, вот вам и все святотатство. Поколения, предки!.. Чушь собачья, нет у меня никаких предков нашими совместными ошибками. Нету, все корни обрублены. И для меня эта вчерашняя святость,— он ткнул ногой в мешок,— товар. Товар для заскучавшего нашего мещанина во дворянстве. Вот так-то, бабуня. Учительница первая моя.

— Обиделся, значит? — Калерия Викентьевна сочувственно покивала.— Понимаю, понимаю, встречала и таких. Только ведь обида — реакция слабых, ибо утешительна она и сладковата при всей горечи своей.

— Меня устраивает,— сказал он.— И все. И до свидания: мне выспаться надо, а то знаем мы эти ваши допросы.

— Что ты знаешь?..— горько вздохнула баба Лера.

Она вышла на крыльцо, где курил председатель. Темнело, с окраины Красногорья доносилась музыка из приемника, включенного на полную мощность, да рядом, у церкви, слышался стук молотков: парни заколачивали выломанное окно.

— Поговорили?

— Как вы сказали? — она точно очнулась.— Знаете, просьба к вам. Огромная.

— Уж коли в силах.

— Отпустите вы этого парня на все четыре стороны. Пожалуйста.

— С иконами, что ли? — опешил председатель.

— Нет, без икон. Иконы мне отдайте. На память.

— Как скажете, Калерия Викентьевна,— растерянно протянул председатель.— Как скажете.

Конфисковав награбленное, он и вправду тут же отпустил ленинградца («Чтоб духу твоего...»).

Молодой человек молча растворился в сумерках, иконы сложили в телегу, баба Лера и председатель шли позади, лошадь тащилась по бывшей дороге, и прибыли они к бывшей запруде в темноте, когда Анисья уже начала пугаться, не случилось ли чего.

— Ну, слава те,— ворчливо сказала она.— А я тут жильца нам подобрала, слышь, курский? Хватит ему по свету шляться.

— Документы прошу,— строго сказал председатель.

Грешник молча протянул потрепанный паспорт, председатель зажег фонарь и стал разглядывать то паспорт, то владельца, а Анисья заметила с неудовольствием:

— Ну, не беглый, не беглый, нутром чую.

— Гражданин Трофименков? — спросил председатель, ничего не ответив Анисье.

— Трохименков я, понятно? — с плохо скрытым раздражением сказал неизвестный.— Трохименков. Хер, а не фук.

— Куда идете, Трохименков?

— На край земли.

— Ишь ты. А там чего, на краю?

— А на краю я погляжу. Ежели обрыв — вниз брошусь, ежели стена — башку расшибу.

— Сердитый ты мужик,— усмехнулся председатель, возвращая паспорт.— Ладно, живи в Демове, живи, если Калерия Викентьевна не против.

— Буду очень рада,— улыбнулась баба Лера, протягивая руку новому жильцу.

И опять тащились за телегой в совершенной тьме. Лошадь с фырканьем и хрустом продиралась сквозь кусты, на телеге сухо постукивали иконы, было тепло, тихо и печально. И Калерия Викентьевна почему-то думала, что печаль эта оттого, что они в темноте увозят по глубокому бездорожью иконы, которые столько лет хранились там, где и положено им было храниться: в церкви, построенной и изукрашенной на деньги искренне верующих. «Святотатство,— сказала она себе самой.— Вот это и есть святотатство: кража святынь. И все мы — и музеи, и художники, и коллекционеры, и спекулянты, и воры вроде сегодняшнего — все-все, весь народ — спокойно и деловито занимается сейчас святотатством...»

Так сказала она, заглушая в душе горький выпад ленинградца: «Нет у меня предков нашими совместными ошибками». Именно это и было высшей формой святотатства, но понимая, баба Лера упорно, изо всех сил глушила это понимание в душе своей.

10

Зимы здесь были долгими и снежными. В конце октября начинались первые снегопады, после праздников мороз уже не отпускал, а снега все шли и шли, засыпая избы до окон второго этажа. Жили внизу в трех маленьких комнатках, топили от темноты и дотемна, а по утрам холод все равно проникал внутрь сквозь старые бревна и ссохшуюся растасканную мышами и птицами паклю. Анисья всегда вставала первой не только потому, что была моложе, сколько по извечной бабьей привычке, внушенной матерью и пронесенной сквозь лагеря. Затапливая печь, старательно раздувая угли под пеплом и никогда не пользуясь спичками, как раздували огонь все ее далекие бабки и прабабки, подпаливала лучину, клала колодцем сухие дрова, ставила самовар, а «Лерю Милентьевну» будила только тогда, когда изба прогревалась, а самовар басовито гудел. И хотя баба Лера просыпалась чаще всего раньше своей Аниши, но вида не подавала, чтобы не нарушать заведенного порядка. Потом чинно пили чай и шли разгребать снег, чтобы не завалило совсем.

Как же я жалею сейчас, что так и не побывал у них зимой! Не ощутил утреннего пронзительного озноба, не слышал, как потрескивают, разгораясь, дрова в русской печи, не пил, обжигаясь, чай в сером сумраке северного, поздно нарождающегося дня. И не разгребал снег от крыльца, не таскал воду из проруби на Двине, не рубил эту прорубь, не носил дров из дровенника. И не слышал утреннего ворчания Анисьи:

— Господи, ну куды сыпешь-то, куды? Знаешь, поди, что мужиков нету, что нам тут разгребаться, старым бабам, а все сыпешь и сыпешь. И когда у тебя совесть заговорит?

Об этих ворчаниях часто вспоминала баба Лера в свое последнее лето. И грустно улыбалась:

— Аниша искренне полагала, что у бога непременно должна быть совесть, и что рано или поздно она в нем проснется и заговорит, и тогда случится что-то необыкновенно доброе... А ведь совесть живет только в людях. Разве не так?

— Думаю, что здесь более уместно прошедшее время.

— Пожалуй, хоть это и весьма печально... Знаете, что значит: «совесть заговорила»? Это спор двух половин души: животной и социальной, личной и общественной. А ныне совесть стремится к монолиту: либо личная, либо уж такая общественная, что не приведи господь.

— И вы серьезно рассуждаете о душе? Баба Лера, вы же атеистка!

— Именно потому и рассуждаю, что атеистка. Это у безбожников нет души, и они безумно пугаются любого ее проявления, а у атеистов душа сохраняется. Ведь атеизм — это не голое отрицание, а путь познания, который всегда опаснее самого знания: как же на нем обойтись без души? Опаснее и... жестче: прикиньте людские потери на этой дороге...

Я еще не понимал тогда, что и сама Калерия Викентьевна Вологодова тоже потеря на дороге нашего познания Добра и Зла. Я понял это, когда ее не стало, когда так ощутимо обеднел не только мой, личный, но и наш общий мир. Обеднел духовно, обеднел совестью, той, общей совестью, которая одна на всех, но разлита в мире неравномерно, а сконцентрирована в некоторых особо одаренных натурах, способных брать на себя тяжкое бремя, всегда быть центром кристаллизации этой всеобщей совести.

— Истинствовать,— любила говорить она.— Мы совершенно разучились истинствовать, а ведь это такой национальный, такой русский глагол!

Да, к истине бредут через ложь, это аксиома истории, но как же нужны неразмываемые утесы, ориентиры и точки опоры, чтобы не забрести в болото... Так я думал тогда, когда бабы Леры не стало, так думаю и сейчас: увы, мы постигаем ценность человеческой души тогда лишь, когда теряем ее...

Грешник понял эту ценность в полной мере еще при жизни бабы Леры, оборвав свой угрюмый безадресный бег в никуда и осев в Демове, но поначалу не со старушками, а в дряхлом, покосившемся дряпном домишке, расположенном на отшибе и ближе к реке. Целыми днями он трудился: стучал топором

к великой радости Аниськи, колол на зиму дрова, помогал в огороде. Но больше всего любил ловить рыбу. Вскоре, правда, колхоз превратился в ферму при совхозе, бывший председатель уехал в свои курские места, но остался Владислав Васильевич, сразу взявший на себя заботу о трех потерянных душах. Он пригнал Грешнику лодку и, смущаясь, подарил запретные орудия лова: сеть и перемет.

— Вы уж не афишируйте, ладно? А старушкам рыбки свежей поесть — первое дело.

Грешник принялся за ловлю со свойственной ему молчаливой неистовостью, и продовольственный вопрос, отнимавший столько внимания, сил и времени, оказался почти решенным. Овощи и картофель были всегда, теперь появилась рыба, и Анисья куда реже ходила в Красногорье, что, правда, ее скорее расстраивало, чем радовало. Зато она приладилась покупать по две, а то и по три бутылки, но открыто приносила только одну, а остальные прятала до поры, потому что Грешник от водки отказался наотрез:

— На дух не переношу, и считаю ее самым злостным врагом нашего народа. Категорически!..

— Ну, разве ж это мужик? — пьяно жаловалась Анисья.— Водки не пьет, нас с тобой, Леря Милентьевна, не шугает, и меня ни разу еще не облапил, будто не баба я вовсе, а куль в юбке.

— Потерпи немного, привыкает он. А привыкнет, и навестит тебя на зорьке,— улыбнулась баба Лера.— Ты, Аниша, дверь все-таки не запирай.

— Я ее которую уж ночь настежь держу,— вздыхала Анисья.— Уж сопли меня прошибли, а все зря. Он заместо теплой бабы на реку спозаранку бежит, будто водяной. И это, сестричка-каторга, летом, когда, известное дело, пень одень, и он в лесу за бабу сойдет.

— Как зовут-то его, так и не узнала?

— Темнит. Трохименков, мол, я, и все тут, и хватит, и на хрена тебе мое имя?

— Может, без подхода спрашивала?

— Без подхода? — презрительно переспросила Анисья и безнадежно махнула рукой.— Не только что с подходом, а так ластилась, будто б... конвойная, а все зря, даже себя жалко... «Конвойная» — я сказала? А чего это я так сказала, а, Леря Милентьевна?

Таинственный Трохименков, громогласно объявивший себя Грешником, очень занимал и Калерию Викентьевну. Вдосталь наговорившись о мертвой царевне — разговор этот передала бабе Лере Анисья с массой собственных комментариев,— новый сосед больше прошлого не касался. Он вообще был на редкость угрюмым и неразговорчивым, но необщительным его никак невозможно было посчитать: он любил бывать у женщин, ел с ними из общего котла, слушал и не спешил уходить, но отвечал всегда по возможности кратко и только на поставленный вопрос. Калерия Викентьевна и так и этак подбиралась к нему, наблюдала, следила, и, наконец, поняла: ее тоже изучают, за ней тоже наблюдают и следят. И от этого открытия ей стало как-то легче: Грешник оказывался угрюмым молчуном не из-за характера, а из-за обстоятельств, поскольку, вероятно, жизнь научила его и недоверчивости, и скрытности.

— Присматривается он к нам,— сказала она.— А присмотрится, привыкнет и оттает. Вот посмотришь, Аниша, так будет.

— Не везет мне на мужиков,— Анисья упрямо гнула свое.— То пьянь с топором, то холодец с удочкой.

Кроме загадок с новым жильцом села Демова у бабы Леры появилась еще одна приятная забота: иконы. Она тщательно протерла каждую постным маслом, а потом долго развешивала в пустой, так и не обжитой ими зале, стремясь создать нечто вроде экспозиции. Дело оказалось непростым, поскольку не было ни опыта, ни навыков. Калерия Викентьевна трудилась долго и упорно, перевешивая иконы множество раз, но в конце концов своего добилась. Самодеятельная ее выставка смотрелась не просто скопищем старых, давно уж скрытых слоем почерневшей олифы досок, а маленькой коллекцией, развернутой по определенному принципу. Владислав Васильевич оказался первым посетителем.

— Я к вам иконы свозить буду. Знаете, музеи берут мало и без охоты, воруют все, кому не лень, а если и не воруют, то все равно портятся они. От сырости, от жучков, от мышей, от равнодушия да глупости людской.

Он и вправду доставил ей десятка три икон, потом — еще, и баба Лера, ликуя, развернула уже не выставку, а настоящий музей, заняв для этого почти три четверти их огромного дома. Затем все тот же Владислав Васильевич прислал реставраторов — молодую чету, людей скромных и милых. Они прожили недели три, расчистили много икон, а с десяток отобрали для областного музея, откуда вскоре после их отъезда пришло благодарственное письмо, так обрадовавшее Калерию Викентьевну. Она очень хотела быть полезной, не желала никакого законного отдыха, пенсиона, категорически утверждая, что сочетание «интеллигент на пенсии» звучит для нее с чисто чеховской иронией.

— Ну, это уж вы слишком,— сказал Владислав Васильевич, когда она изложила ему свою позицию.

Это случилось в конце сентября. Я уже отгостил и вернулся в Москву, туристский сезон тоже закончился, и Демово давно уже никто не навещал. А тут заглянул вдруг Владислав с очередной партией икон. К вечеру — а вечерело уже рано — пришел Трохименков; сдал Анисье улов, сидел в углу, молча слушал.

— Тут есть о чем поспорить, Калерия Викентьевна. Правда, спорить мы не умеем, все больше глоткой берем да цитатами, но все же.

— Знаете, почему мы разучились спорить? Мы забыли, что до спора надо уславливаться о единстве терминологии. Мы этого никогда не делаем, потому что спорам нас не учат ни в одном учебном заведении, и чаще всего вместо спора, то есть столкновения идей, толчем в ступе одну-единую просто потому, что различно называем сходные понятия. Ну, к примеру, что вы понимаете под словом «интеллигенция»?

— Интеллигенция? — Владислав не решился утверждать свое.— Прослойка общества, занимающаяся умственной и творческой деятельностью, обладающая специальными знаниями...

— То есть дипломом?

— Дипломом не обязательно, а профессией обязательно.

— Вот сколь различны наши суждения,— улыбнулась баба Лера.— Для вас интеллигенция — понятие социальное, а для меня — нравственное. Это противоречит энциклопедическим словарям? Возможно. Но ведь мы сейчас не отвечаем на экзамене по билету. В лагерях сидело множество людей образованных, которые тоже валили лес и добывали уголь, руду, золото. И что же, они перестали быть интеллигентами? Нет. Следовательно, не вид труда определяет интеллигенцию, не социальное ее положение, а запас нравственности, духовности, как говаривали в старину. Мне кажется, что под словом «интеллигенция», «интеллигент» следует понимать не способ заработка, а количество духовности выше обычного, выше норматива, а потому и перешедшее в иное качество. Интеллигентность — качественный скачок духовности человека, а есть ли при этом у него диплом о высшем образовании или нет — совершенно несущественно. Высокий духовный потенциал, скачкообразно, в полном соответствии с диалектикой, превращающей человека обычного в человека интеллигентного, естественно, легче нажить при хорошем образовании, но не это главное. Главное — ощущение своей личности, осознания своего «я», ясное представление об историческом базисе этого «я» и спокойное внутреннее ощущение своих прав и обязанностей.

— Калерия Викентьевна, вы впали в идеализм! — С торжеством воскликнул Владислав Васильевич.

— В таком случае, да здравствует идеализм. Еще Гегель говорил о делении людей на хозяев жизни и лакеев жизни: вам не кажется, что под хозяевами он подразумевал тех, кого потом русский писатель Боборыкин назовет интеллигенцией?

— Хозяин тот, кто трудится,— вдруг глухо и недобро сказал Трохименков.— Так у Горького сказано.

До сей поры он тихо сидел в углу, сопел своей огромной трубкой и помалкивал. Анисья хлопотала, таская из сеней и погреба закуски: он мешал ей,

вытяпув ноги, но Анисья почему-то не сердилась, всякий раз молча перешагивала через них, а он почему-то не убирал, хотя видел, что мешает.

— Это литературная формула, друг мой,— сказала баба Лера, обрадовавшись, что Грешник включился в разговор.— Алексей Максимович вообще имел склонность к афоризмам, но далеко не все его афоризмы стали народной мудростью.

Трохименков никак не отреагировал на ее слова. Сосал свою трубку, застыв в неподвижности, спорить ни с кем не собирался, но послушать был не прочь. Владислав Васильевич так и понял его молчание.

— Так что же там у идеалиста Гегеля, Калерия Викентьевна?

— А у Гегеля сверхзадача, сверхидея «Философии истории», если помните, как раз и заключается в становлении духа и в осознании им самого себя. Теперь давайте спроецируем самопознание духа на самопознание человека, личности, и назовем познавших свое «я», свою миссию в обществе и место в нем хозяевами жизни, а поленившихся сделать это — лакеями ее. И попробуем порассуждать. Пункт первый и самый главный: отношение к труду. Хозяин воспринимает труд как нечто естественное, как потребность, как непреложный закон бытия, в то время как лакей естественным полагает ничегонеделание: труд для него — каторга, насилие над собой. Пункт второй: отношение к истине. Хозяин никогда не солжет, какой бы горькой ни была правда и какими бы карами она ему ни грозила, ибо истина для него дороже жизни. А лакей не просто солжет, как только этого от него потребуют, но солжет с удовольствием, тем самым без всякого риска себя утверждая. Согласны? Пункт третий: отношение к обществу. Хозяин воспринимает чужую волю — даже если это воля общества! — или чужое мнение всегда критически, всегда подвергая все сомнению и проверке личным опытом, поскольку имеет и личное мнение, и личный опыт. А лакей принимает чужое мнение, как приказ, без всяких рассуждений: чужим мнением, чужой волей, чужими мыслями жить для него и проще, и легче, и бесхлопотнее. Четвертый пункт: отношение к бытию. Хозяин не стремится ни к удобствам, ни к чинам, ни к званиям, ни к удовольствию, находя максимальное удовольствие в собственной деятельности и собственном труде и ради этого довольствуясь малым. А лакей? Да для него удобства, карьера, удовольствия — сам смысл жизни, сама идея ее, цель заветная. Вот вам четыре стороны жизни человеческой, и если вы проанализируете отношение людей к ним, вы придете к гегелевскому постулату: люди делятся на хозяев и лакеев не по социальному положению: ни по богатству, ни по образованию или происхождению, а только по отношению их к жизни, по осознанию ими своего места в ней. А отсюда — прямой мостик к знаменитой русской интеллигенции: да, интеллигенция декабристов и народовольцев, Пушкина и Герцена, Лаврова и Кропоткина была истинной хозяйкой жизни, ибо воспитывалась в предпосылке личной ответственности за судьбы родины. Личной, а не коллективной, Владислав Ва...

— Неправда! — вскочив, вдруг дико закричал Трохименков.— Болтуны! Сказки рассказывали, да? Народ обманывали, да? Счастья ему завтра, сахару ему в борщ! Язык подвешен, чего не наврет! А Россию проговорили, проболтали, промечтали! Про...рали Россию, про...рали, про...рали!..

Он кричал и кричал, дергаясь, топоча ногами. По лицу его текли слезы, он задыхался, рвал на груди рубашку, уже проваливаясь то ли в истерику, то ли в падучую, уже переходя на бессвязный крик пополам с матом. Владислав Васильевич и Анисья бросились к нему, но он с невероятной силой расшвырял их, упал сам, задергался, забился. Владислав навалился сверху, Анисья подхватила под плечи, держала голову, которую он все время запрокидывал. И кричала растерявшейся бабе Лере:

— Нож! Давай нож, чего обмерла? Припадочных не видела, что ли? Нож!

Вырвала из рук нож, тупой стороной разжала зубы, запихала в рот кусок кухонного полотенца, что оказался под рукой. Грешник обмяк, застыл с запрокинутой головой и крепко стиснутым в зубах полотенцем. Владислав Васильевич и Анисья перетащили его на кровать; Анисья раздела, укутала потеплее, вернулась.

— Часов двадцать ежели поспит, так ничего и не вспомнит. Вот, значит,

почему он водочкой-то брезговал...— принесла бутылку, со стуком поставила на стол.— Ну, а мы выпьем. За всех припадочных.

Баба Лера и Владислав Васильевич о чем-то говорили; Анисья не слушала. Выпила полстакана, сказала убежденно:

— Это ему за царицу. За могилы господь его покарал, потому-то он и грешник.

Анисья хорошо знала, что говорила: уж чего-чего, а припадочных в женских лагерях навидалась достаточно. И навидалась, и навозилась с ними, потому что всегда была милосердной и сострадательной. И диагноз, и последствия были указаны с абсолютной точностью: проспав двадцать часов, Трохименков ничего не помнил, но и ни о чем не расспрашивал. Лежал неподвижно, глядел в потолок, ел помалу и нехотя, а в лице появилось что-то новое («просветленное», как про себя определила баба Лера), и если прежде он был просто молчаливым, то теперь стал задумчивым.

— Хотите сказку расскажу?

Был вечер, горела лампа, и женщины сидели в теплой маленькой комнате Анисьи, где и лежал ослабевший после припадка Грешник. Анисья намеревалась заняться починкой, притащила ворох одежды; баба Лера собиралась читать ей и больному, но больной вдруг предложил сказку.

— Жила-была на белом свете очень хорошая женщина, и звали ее Доброта. Всем она была по нраву, всем вышла, как говорится, только никому ни в чем не умела отказывать. Кто что ни попросит — поплачет, а согласится. По доброте душевной. Сватался к ней, к примеру, молодец, да ни о чем не успел попросить, а другой — попросил. Доброта поплакала ночь, поплакала день да и вышла замуж за другого.

Муж ее был купец: толстый, богатый и очень жадный. Торговал, обманывал, выпрашивал, обвешивал, а сам ночей не спал: все считал, что у соседей и денег больше, и товары лучше, и жена наряднее. И так эта мысль в нем засела, так она тревожила его и покою ему не давала, что когда Доброта дочь ему родила, он эту дочь Завистью назвал. Думал, если, мол, назову, то сам завидовать перестану, а на деле ничего не вышло, и он аккурат от зависти-то и помер.

Осталась Доброта с дочкой Завистью, и началась у них трудная жизнь. Прежде она, когда одна была, всех любила, всех жалела, всех хорошими считала да умными, а теперь доченька ей каждое утро в уши жужжала: «Этот богаче нас! Та красивее меня! Эта лучше тебя!» Доброта с дочкой спорить не умела — она вообще по своей доброте никогда ни с кем не спорила — верить не верила, а по ночам плакала и сделать ничего не могла. Не жизнь — мучение сплошное, да тут опять за нею молодец ухаживать начал, но пока рот раскрыл — другой руки попросил.

Доброта опять поплакала и опять отказать не смогла.

Второй ее муж был большим начальником да слабого здоровья, и все боялся, что не успеет он до самого высокого поста дослужиться: помрет раньше времени. И чтоб этого не случилось, начитался всяких заграничных книжек и начал порчу на людей наводить. Сперва на сослуживцев да соперников, потом во вкус вошел — и на всех подряд всякие болезни да хвори. Мол, что же это получится; я помру, а они жить будут? Нет, лучше уж инфаркт с инсультом на них навести: пусть сперва они помрут, а я — потом как-нибудь. И так эта мысль его тревожила, что когда Доброта ему дочку родила, он ее Навистью назвал, а сам помер.

Стала Доброта с двумя дочками жить — с Завистью да с Навистью. Одна все время считает, у кого денег больше да платье красивее, а вторая болезни на людей наводит, чтоб соперниц всех убрать и остаться одной, а потому и самой красивой. А Доброта только плачет да убивается, убивается да плачет, а спорить не решается и вот-вот от двойного огорчения в могилу сойдет. Так бы оно случилось, да вновь повстречался ей молодец. Только с духом собрался, чтобы в любви объясниться, да оттерли его плечом, и совсем даже другой руки у нее попросил. А Доброта поплакала, да и не смогла отказать.

Третий муж у нее оказался военным и больше всего на свете людей не любил. Не каких-то там определенных: толстых, богатых, худых или бедных,

а всех вообще. Он воевать любил, а что такое война без убийства? Не бывает, поэтому он все время мечтал только о том, чтобы поскорее мир кончился, чтобы поскорее война началась. А так как люди войны не хотели и за мир боролись, то он их и ненавидел лютой своей ненавистью. Так ненавидел, что дочку свою, которую ему Доброта родила, Ненавистью назвал. Назвал, на радостях где-то там войну начал, да тут его и убили.

Вот так и осталась горемычная Доброта с тремя своими дочками, тремя сестричками — Завистью, Навистью да Ненавистью. Целыми днями сестрички своими любимыми делами занимались, а Доброта только страдала да плакала, плакала да страдала, а поделать с ними ничего не могла, да и не решалась, потому что очень была добрая. И так она себя извела, так дочки ее измучили, что все это вместе и приблизило ее смертный час. Почувствовала его Доброта и испугалась. Не за себя, конечно, а за дочерей, которых оставляла. Собрала их перед смертью и сказала так:

— Дорогие мои доченьки, Зависть, Навистъ да Ненависть. Умираю я, исстрадавшись, а вас, сирот несчастных, людям оставляю. Но чтобы не пропали вы окончательно, чтоб хоть что-то в вас живое жило, чтоб людей от вас уберечь, я перед смертью на три части разорвусь и в каждой из вас укроюсь. В самой глубине, в сердцевиночке, в самом-самом тайном уголке души вашей. Настолько тайном, что сами вы обо мне вскоре позабудете, но, может, люди хоть когда-нибудь на меня наткнутся и вспомнят, что жила я когда-то на свете.

И исчезла, сказав так, в каждой из дочерей. Вот с той поры и нет среди нас живой доброты, а бродят только Зависть, Навистъ да Ненависть. Но в каждой из сестричек есть кусочек от матушки, который ждет часа своего, чтобы снова вернуться к людям.

Грешник замолчал. Калерия Викентьевна вздохнула, а Анисья сказала недовольно:

— Разве ж это сказка? Я думала, про царицу расскажешь.

— А в тебе нет сестричек,— вдруг улыбнулся ей Трохименков.— Ни Зависти, ни Нависти, ни Ненависти.

— Горькая у вас вышла притча,— сказала баба Лера,— но все же до конца Доброту убить и вы не решились.

— А хотел,— сказал он серьезно.— От доброты все зло, только лишь от доброты.

— И все же не убили,— с торжеством повторила Калерия Викентьевна.— Не смогли даже в мыслях убить ее, а это значит, что за нею, за добротой, и будет в конце концов победа. Просто надо жить...

— Просто! — недовольно перебил он.— Что такое жить, знаете? Жить — это семь раз упасть да восемь подняться: что, просто? Нет, не просто, ой, не просто! Потому-то и живут хорошо если десять из сотни. А остальные не живут, а существуют. Вроде как коровы: в стойле стоят, сено едят, молочко дают, водичку пьют, а сами — в дерьме по колени.

— Откуда в вас этакая злая нетерпимость? — вздохнула баба Лера.

— Нетерпимость? — он зло ощерился.— Разве ж нетерпимость это? Это — зависть, навистъ да ненависть во мне колобродят.

— Выпей,— тихо сказала Анисья.— Я тебе сейчас водички клюквенной дам, а ты выпей.

Она вышла, а Трохименков сказал:

— Людей переучивать надо. Мы все учим да учим, а надо переучивать. Всех подряд — и малых, и старых.

— Зачем?

— Зачем? А затем, чтоб ненависти, зла и зависти в людях не было. Ни к кому не должно быть ни ненависти, ни злобы, ни зависти — тогда будет мир и счастье. И доброта тогда вернется. А мы ведь ненависти учим с детского возраста, если вдуматься, злу учим, а не добру, а добро...

Замолчал, уставясь в подошедшую Анисью. Калерия Викентьевна увидела вдруг, как чуть оттаяли его глаза, как потеплело бледное до синевы, неряшливо заросшее лицо, улыбнулась и тихо вышла из комнаты. А Трохименков этого, кажется, и не заметил.

11

— Вот тогда я и подумала, что если он и расскажет хоть что-то о себе, то — одной Анисье,— вспомнила баба Лера в то последнее лето, когда никого не было в живых.— А ей неинтересно было его расспрашивать. Думаете, из-за отсутствия любопытства? Совсем нет: просто она его понимала. Она так удивительно точно его понимала, что уже и не нуждалась ни в каких комментариях.

— Родственные души? — не очень складно спрашиваю я.

— Нет, скорее,— потерпевшие крушение. Не знаю, как там другие народы, а мы, русские, хорошо понимаем друг друга только в беде. В больницах, на фронте, в лагерях, катастрофах и — потерпев крушение.

— Так скажу, Леря Милентьевна, что сильно он несчастный человек. И горе его куда нашего побольнее: мы свою каторгу снаружи носим, а он — внутри.

Анисья была очень обеспокоена этим внутренним размещением каторги у прибившегося к ним хмурого и больного мужика. Любовь ее начиналась с жалости в полном соответствии с классической путаницей русских баб относительно значений глаголов «любить» и «жалеть». Милосердие, ростки которого то и дело прорывались в истоптанной и заплеванной, как лагерный плац, душе ее, наконец-то обрели почву, цель и солнце.

— Знаешь, говорит, я, говорит, из беспризорников рос,— таинственно шептала она, по-девичьи забравшись в постель к бабе Лере, чего никогда доселе не делала.— Не знаю, говорит, ни отца, ни маменьки, под забором, говорит, с голодухи подыхал, а тут — работа: могилы раскапывать. Вот тогда-то он царицу и выкопал, а она, стерва, ему сниться начала, вот где страсти-то господни! Натерпелся он, ох, и натерпелся же, горькая душа! Потом бросил лопату, в ученье подался, на завод, что ли, устроился. И забылось, затянулось, живую царицу встретил да и свадьбу сыграл, как положено. Стали жить да поживать с молодой-то женушкой, а тут — на тебе, война. Ну, отвоевал, отстрадался, домой живым воротился, а жена возьми да помри. С радости, что ли... Я бы, наверно, с радости точно померла, не осилила бы ее, непривычная она мне... Да. А он с горя пить стал, а у него — пацан да девка, ну и пропил он их. Опамятовался: парень его в тюряге вшей давит, а девчонка по рукам пошла. И опять ему царица в гробу являться начала, и понял он, что грех на нем, мучился и метался, от пьянства лечился да обратно пил, а потом взял да и ушел куда глаза глядят. Вот, сестричка-каторга, каково оно, горе-то человеческое...

Калерия Викентьевна смахнула слезу и виновато улыбнулась. Она никогда не плакала, но в то последнее лето слезы часто появлялись на ее щеках; баба Лера поспешно вытирала их и непременнейшим образом улыбалась, безмолвно прося прощения. Публичное проявление слабости русская интеллигенция всегда считала недопустимым, и Калерия Викентьевна Вологодова искренне стеснялась собственных чувств.

— Великое счастье Аниши, что она умерла, свято веря в легенду.

— Значит, Грешник лгал?

— Лгал? — Калерия Викентьевна задумывается, непроизвольно встряхивая седой аккуратной головой.— Нет, это не ложь, это нечто иное, очень национальное. Помните, Герцен говорил, что у нас, у русских, чересчур уж развит бугор желания нравиться? Это — святая правда, я многажды убеждалась в прозорливости нашего гения, но с одним непременным уточнением: мы, как правило, стремимся понравиться абсолютно бескорыстно. И этот несчастный сочинял себе биографию, думая прежде всего об Анише. Он ведь прекрасно знал и то, где провела она зимы свои, и то, что она любит его со всей отчаявшейся силой. Это не мои догадки, это его собственные признания, когда не для кого стало сочинять. А мне поначалу вообще ничего не рассказывал. Отмалчивался, отнекивался, ворчал что-то невразумительное. А говорить о себе начал после того, как сказочку сочинил. Странная сказочка была, нелепая какая-то, судорожная, и только потом — потом, задним числом! — поняла

я, что это ведь его доброту разодрали Зависть, Нависть да Ненависть. Он о собственной жизни аллегорическое предисловие поведал, словно предупреждал: «Думай, старая, думай, вникай в душу мою». Но, повторюсь, это все я сообразила с запозданием. И слава богу, что с запозданием, слава богу...

Белая, старательно — волосок к волоску — причесанная голова бабы Леры непроизвольно подергивается, но старое, сморщенное лицо ее озаряется улыбкой. Улыбка уже не молодит, и все же что-то непобедимо иное просвечивает изнутри. Не иссохшего тела, нет,— изнутри самой жизни бабы Леры. Просвечивает тем, ради чего жила на свете ровесница века Калерия Викентьевна Вологодова.

— Я думала, мы с ним — сверстники, потому что он и выглядел и рассуждал, как сверстник. А потом узнала, что он на десять лет моложе, что революцию встретил ребенком. Казалось бы — пропасть между нами, временной провал, а по сути, по мировосприятию, что ли, никакого провала не было. Странно, правда? Ведь между нами не просто десять лет — между нами гражданская война, величайшее потрясение народное.

Я тогда не ответил, да баба Лера и не ждала ответа. А ведь суть заключалась в том, что юная Лерочка Вологодова, в семнадцать отважно шагнувшая в самое пекло гражданской войны, так и осталась восторженной гимназисткой, в то время как все вокруг взрослели с ускорением, обусловленным боями, шомполами, расстрелами, виселицами, голодом и холодом. Законсервированная романтической влюбленностью молодость Леры Вологодовой притормозила ее взросление, тогда как бескомпромиссная ярость села, в котором рос Трохименков, бандитские пули, продразверстка и голод делали из подростка мужчину в считанные месяцы.

— Считайте, ровеснички мы: оба в саже, если не гаже. Только все же есть разница меж нами, Калерия Викентьевна: вы образованная, а я — с Поволжья. С голоду бежал куда глаза глядят. Знаете, что такое голод?

Грешник заговорил после припадка. Сперва рассказал сказочку, а затем потянуло его на беседы, и если раньше он предпочитал слушать, то теперь — рассуждать.

— Голод — всему предел: отец дочку за корку хлеба продаст, мать — себя саму, брат — сестру, сестра — брата, потому что нет больше законов. Только страх в тебе растет, а законов нету. И каждый, у кого хлебушек, тебе что захочет, то и скомандует. А ты — исполнишь. За пайку хлеба все исполнишь, вот как я теперь понимаю. У кого хлеб, у того и сила, потому и организовали, значит, колхозы, чтобы силу к рукам прибрать. А дальше просто: кто накормит, тот и барин, мы к этому привыкли, нам и переучиваться не пришлось.

— Друг мой, у вас упрощенческая точка зрения и, извините, вредная. Да, очень вредная и не наша. Я многих встречала в лагере, которые проповедовали то же самое, и, скажу искренне, возмущена, что их реабилитировали. Колхозное строительство было закономерным шагом на пути исторического развития нашего общества. Закономерным!

— Опять в слова играем? — усмехнулся Грешник.— Ну-ну.

— Да поймите ж, дорогой мой, у нас, у нашей страны просто не было иного выхода. Не было, не существовало. Россия окончательно разорилась и обессилела после мировой, а затем и гражданской войны. А капиталистическое окружение существовало реально, и там, за кордоном, только и выжидали удобного часа, чтобы навсегда разделаться с первым в мире государством рабочих и крестьян. И нам необходим был решительный шаг, чтобы превратить Россию в современную индустриальную...

— За чей счет? Бросьте, слова все! Кто нам угрожал, когда весь мир аккурат в то самое времечко переживал Великий Кризис? Да если бы и угрожал, так неужто страх тех слез да крови стоит, которые мы из крестьянства выжали, наганом его в коллективный рай загоняя? Да вы лучше на Анисью свою гляньте, на сестрицу названную, как сами же утверждаете.

— Я лучше вас знаю цену, которую мы заплатили истории,— баба Лера невольно повысила голос, хотя всегда стыдилась этого.— Но и за восемнадцать лет лагерей я ни разу не позволила себе ни нотки сомнения. Ни я, ни мои друзья по борьбе за идею...

— Да идея для вас — давно уже зеркалом стала,— спокойно и даже с некоторой укоризной перебил Грешник, и Калерия Викентьевна замолчала в растерянности.— Вы в него всю жизнь гляделись, всю жизнь в нем себя да тех, кто рядышком, видели, всю жизнь восторгались, какие, мол, мы смелые, честные, чистые да красивые. И столько в вас восторгу этого накопилось, что вы и сегодня всех зовете в то же зеркало глядеться да и сама перед ним красуетесь. А я сызмальства в то зеркало с иного боку глядел, с изнанки. Знаете, что у зеркала с изнанки? Чернота.

Баба Лера не сразу нашлась, что ответить, но он и не ждал ее ответов. Он будто снова заглянул в свою черноту, увидел ее так, как воспринимал много лет, и не нуждался более в собеседнике. Ему нужен был слушатель; а может быть, и слушателя не требовалось: требовалось высказаться. Говорить и говорить, и он — говорил.

— Почему я в беспризорниках не пропал? Так отвечу: с голоду. Хорошо я его узнал, близко: у нас полсела от него вымерло, а мои родичи — так все поголовно. И я голода боялся больше всего на свете, потому и не пропал. Я обеспеченный кусок хлеба искал, а не только тот, что стибрить удалось, а потому возле заводов да мастерских разных куда чащо вертелся, чем возле базаров. И приметили меня, в чернорабочие приспособили. На полдня, правда, и на ползарплаты, но к делу определили, карточки выдали продовольственные, талоны в столовую. Но жизнь мою не завод определил, а — митинг, на который меня с завода послали как не имеющего рабочей профессии. Знаете, что я на том митинге услыхал? Самое главное, что меня тогда тревожило: «Чтобы хлеба у нас всегда было вдоволь, надо строить новые заводы. А чтобы строить, нужно золото, потому что только на золото буржуи продадут нам станки и разное оборудование. А золото — в земле: одурманенные религией темные люди хоронили своих эксплуататоров с кольцами, цепками, сережками, крестами и прочими драгоценными побрякушками. И мы объявляем все скрытые в могилах богатства народным достоянием...»

— Какое кощунство! — баба Лера возмущенно передернула плечами.— Не верю, слышите? Не верю вам!

— Вру, значит? Не-ет, слово в слово запомнил, слово в слово и вам повторяю.— Трохименков помолчал и вдруг выкрикнул: — Он хлебушка мне обещал, вдоволь обещал, понятно это вам? Мне, у которого с голодухи померли все! Кощунство? Кощунство — это когда в России с голоду мрут, вот это — кощунство. И я первым заорал тогда, на митинге, когда добровольцев стали записывать. Потому заорал, что голод собственным брюхом прочувствовал, что не себя — я уж сыт тогда был — я весь народ, всю Россию хотел хлебушком досыта накормить. Вот тут-то мне сразу заступ и вручили. Орудие производства.

В тот день он ни слова более не добавил. То ли увидел, с каким брезгливым ужасом смотрит на него баба Лера, то ли сам настолько разволновался, что и говорить-то уж не мог. Отвернулся лицом к стене и замер, как в недавние времена.

А Калерия Викентьевна до вечера бродила, как потерянная. Натыкалась на стулья и лавки, ела, не разбирая, что ест, а в голове вертелся рассказ Грешника о том, как он стал грешником, почему вызвался сам, и как вручили ему прилюдно страшноватое орудие его производства.

— Леря Милентьевна, да что это с тобой? — растревожилась Анисья.— Да никак заболела ты, что ли?

— Нет, Аниша, не заболела. О болезни узнала.

— О болезни? Это ж о какой такой?

— В мире есть царь, этот царь беспощаден: голод прозванье ему.

— Да уж, не приведи господь,— вздохнула Анисья и перестала допытываться.

Грешник вернулся к рассказу о себе на следующий день, как только ушла Анисья. Она хлопотала по хозяйству с зари и до зари, загодя готовясь к затяжной, вьюжной и суровой зиме.

— И начали мы свои кладбища перелопачивать. От края и до края, как в песне поется. Так скажу, что ни одной неразграбленной могилы у нас не осталось. Почему, спросите? Да потому, что и мы, гробокопатели, соцобязательства на себя брали, выполняли и перевыполняли. А порой и взрывали, чтобы концы в воду. И таких пустых ям после нас — вся Россия.

Он продолжал говорить, но баба Лера вдруг перестала его слышать. В ней впервые вздрогнуло что-то, будто на миг щелкнули выключатели, осветили, но свет тут же погас, и Калерия Викентьевна напрасно вглядывалась во вновь сгустившуюся тьму.

— Это я потом поняла, что Россия для Трохименкова всегда была понятием старательским, а не историческим, не родным и даже не административным. Думаете, уникум? Как бы не так. К величайшему сожалению, мы взрастили, выпестовали целую армию подобных Трохименкову золотишников, которые беспощадно вымывали из нашей родины и нашего народа крупицы золота, все остальное сваливая в отвал. Цель оправдывала средства — будь то человеческая жизнь, любовь, достоинство, честь...— Баба Лера горестно качает седой головой.— Да, так о Грешнике. Не до конца я его поняла тогда, если правду сказать. Мне, например, до самого последнего часа неясно было, зачем он выдумывал то, что так легко открывалось. Да не как частность придумывал, не ради красного словца, а в качестве основополагающей причины собственных поступков.

— Что именно, баба Лера?

Последнее лето, закат, играющая красками Двина. Баба Лера смотрит на меня глубоко запавшими, воспаленными от беспрерывного неуемного чтения глазами, синими до сей поры. В них — горькое недоумение... Или я ошибаюсь? Может, не недоумение это, а прозрение? Столь же горькое, почему я и ошибаюсь.

— Помните, я говорила вам, что председатель колхоза потребовал у Трохименкова паспорт? А вскоре после нашего разговора о разворованных склепах и перерытых кладбищах председатель сдал дела и перед отъездом на родину, в свою Курскую область, зашел попрощаться. Разговаривали наедине — Аниша Трохименкова прогуливала, он уже выходить начал,— пили чай, и я вспомнила о голоде, который столь страшно отразился на судьбе нашего Грешника. «Какой голод? — удивился председатель.— Да он же, Трохименков этот, в Воронежской губернии родился. Далековато от поволжского голода...»

— Как? Значит, выдумывал он про голод, про погибшую семью? Зачем? С какой целью?

— И здесь — все непросто. Он же мог предполагать, что я знаю правду или могу ее узнать: ведь в паспорте обозначено место рождения,— баба Лера замолкает, долго, задумчиво глядя на спокойную Двину.— Может быть, ему хотелось, чтобы я сама догадалась?

— О чем?

— О чем? О том, о чем сумела догадаться моя Аниша. Любовь прозорливее старости...

Тогда баба Лера ни словом не обмолвилась Грешнику о словах председателя. Он уже вставал, уже выходил один, но пока ненадолго, а долго гулял только с Анисьей, когда она бывала свободна. Кое-что делал по дому, но пока осторожно и вроде бы без прежнего удовольствия. А вот к рассказам возвращался постоянно, как только оставались вдвоем.

— Вот говорю с вами, говорю, а — не договариваю. Улавливаете? Автобиографию излагаю, а не саму сущность ее.

— А в чем же сущность?

Баба Лера старалась поддерживать прежний тон, хотя это давалось ей нелегко. Она не умела хитрить, не любила недоговоренностей. Природная деликатность удерживала ее от грубого: «Хватит лгать, знаю я про ваш голод!», и Калерия Викентьевна, насилуя себя, играла роль непривычную, чужую даже.

— Многого нас жизнь лишила,— сказал он.— А главная потеря — так это искренность. Боимся мы друг друга, и даже на самом краю земли и жизни до конца не раскрываемся. Исповеди избегаем.

— Исповедь требует высшего мужества. Оно не каждому по плечу.

— А вы переменились в разговоре со мной, Калерия Викентьевна. Сильно переменились. Раньше все — «друг мой» да «дорогой мой», а теперь — нини. Могилы мои испугали?

— Поверьте, что нет. Без задних мыслей... друг мой.

— Ну поверю,— Грешник невесело усмехнулся. Помолчал, сказал, понизив голос: — Могилы раскапывать погано, но раскулаченных развозить — еще поганее, почему и боюсь, что Анисья услышит.

— Возили?

— Сопровождал. Только не проговоритесь, богом прошу. Одна она у меня.

— И Анишу тоже... сопровождали?

— Нет, тут повезло, я на других направлениях служил. Собрали нас в начале тридцатого года, велели лопаты сдать и — по эшелонам. Нет, не конвойными, а сопровождающими. Получаешь эшелон, по пути следования глядишь, чтоб хоть воду давали, но главное — агитируешь. Мол, ты кем, отец, был? В навозе ты копался, как жук, а теперь в рабочий класс переходишь. Гордись!.. А бабы в голос ревут, детишки до немоты запуганные, на станциях никого из вагонов даже по нужде не выпускают, а мы знай себе текущий момент разъясняем. «Черные доски» помните?

Помнила баба Лера и «черные», и «красные» доски: как раз к тем годам, о которых рассказывал Трохименков, они широко утвердились в общественном обиходе. Доски эти висели в каждом учреждении, в каждом колхозе, заводе, школе — везде, где только работали и учились — и на них регулярно заносились имена передовых и отстающих. Таковыми могли оказаться не только отдельные работники, но и фабрики или колхозы, а то и целые районы. Это начиналось как средство наглядной агитации, но очень скоро было принято решение о принудительном выселении «чернодосочных» колхозов. Таким путем убивали сразу двух зайцев: запугивали деревню, делая ее послушной и старательной, и обеспечивали многочисленные стройки первой пятилетки бесплатной рабочей силой, потому что на основании решения о выселении «чернодосочников» можно было отправлять куда угодно — хоть на Волгу, хоть на Урал, хоть в безводную Среднюю Азию. Но отправлять не с вооруженной охраной, а в окружении актива наблюдающих и агитирующих.

— Возил я их, Калерия Викентьевна. Не раскулаченных, конечно, а все одно Анисьиных глаз боюсь...

Деревню рвали из земли, как коренной зуб: с хрустом, с мясом, с болью, с кровью, а вместо наркоза без передыху нахваливали завтрашний земной рай. Грохотали по бесконечным российским дорогам спецэшелоны, груз, как скот, принимали по счету и сдавали по счету, заменяя умерших официально заверенными бумажками: «мужчин сто двадцать три, женщин сто сорок семь, детей шестьдесят два да пятьдесят четыре акта па выбывших в пути». А далее — дощатый барак, трехъярусные нары, буржуйка да сушилка, если она была. Подъем по рельсу, обед по рельсу, отбой по рельсу, а между рельсами — работа, работа, работа. И бесконечные митинги: «Ура, товарищи, первой свае!..», «Ура, товарищи, первому пролету!..», «Ура, товарищи, первому цеху!..» — знамена, грохот оркестров, речи и всеобщие восторги. Рождались новые города, дороги, заводы, плотины, каналы, а умирали люди. Умирали тихо, без речей и оркестров, будто стыдясь, что помирают. И никто не подсчитывал, сколько человеческих душ заключено в одной лошадиной силе, и не слишком ли дорого нам встал неистовый энтузиазм первых пятилеток.

Трохименков и его товарищи не возводили цехов, не рыли траншей, не топтали ледяной бетон босыми ногами: они сопровождали, агитировали, следили, рассказывали о примерах. И все действительно росло, строилось, возникало на чистом месте, оживало, дымило, давало чугун и лошадиные силы, прокат и киловатты, автомобили, тракторы, комбайны. Великая цель

оказалась реальной, не только достижимой, но и уже достигнутой раньше всяких сроков, и поэтому никто никогда не думал о средствах. Цель затмила их навсегда — именно в этом и заключалось величайшее достижение энтузиазма,— а выжившие раскулаченные, силком трудообязанные и прочие провинившиеся элементы и вправду уже перековались, получив специальность, навык, опыт и тем самым шагнув в ряды рабочего класса. И Трохименков видел гигантский размах строек, он с невероятной гордостью ощущал дерзостный порыв, он жаждал сам со всей энергией участвовать в великом деле.

— Я хочу стать монтером.

— Ты пойдешь учиться. Мы знаем, что у тебя слабовато с образованием, но — поможем.

Помогли...

— Помогли,— лицо бабы Леры делается строгим, застенчивая улыбка вдруг покидает его.— Вспоминаю один разговор. В начале зимы... может, почувствовал он, что последняя она, зима эта?..

— Знаете, кто самый счастливый? Те, у кого детей нет.

— Я, по-вашему, самая счастливая.

— У вас есть дети, Калерия Викентьевна. Просто вы не знаете, где они и какие они, но они же существуют. Существуют — для мести. Кто знает, может, и отбирали-то их у вас, и фамилии им меняли, чтоб потом мщение их использовать.

— Каждое последующее поколение лучше предыдущего. Иначе и быть не может, это закон человеческого развития.

— Каждое последующее поколение судит предыдущее, потому что знает, понимает и может оценить его действия. Нет, уважаемая Калерия Викентьевна, сыновьям дано отмщение за грехи наши. Им отмщение, им.

— Знаете, а я один раз напилась,— неожиданно призналась баба Лера.— Купила бутылку водки и выпила почти всю. Одна. В пятьдесят восьмом, что ли. Когда окончательно сказали, что разыскать моих детей не представляется возможным. Извините, это — чисто женские воспоминания, а вы говорили о...

— О боязни,— он тоже говорил непоследовательно, потому что это была не беседа, а мысли вслух.— Люди всего боятся, замечали, поди? Смерти и жизни, прошлого и будущего. И общества боятся, и одиночества... Бояться — самый необходимый, самый наш глагол.

— Простите, не совсем поняла. Вы начали говорить вдруг очень уж литературно, друг мой, и суть я упустила.

— Суть? Суть — в удивлении: это как же нужно прожить жизнь, чтобы бояться в глаза собственным детям смотреть? Так что вы, Калерия Викентьевна, счастливый человек, что так и не нашли своих детей...

12

В ту зиму, страшную не только своими морозами, но и своей прицельной жестокостью, снега легли поздно. Уже цепко держались морозы, уже трещали деревья в лесу, уже звонким льдом затянуло старицы и заливы, а дороги еще не перемело. Еще не завалило их окончательно, еще кое-где и снега-то не было, а где был — так не выше колена. Еще Демово не отрезало от людей, не превратило в один-единственный дом, окруженный снегами по самые плечи. Еще существовала нормальная связь с Красногорьем, и Анисья торопилась использовать эту природную милость, через день бегая в магазин, в котором покупать было нечего. Но водка и здесь не переводилась, и Анисья помаленьку запасалась ею, хотя впрямую никогда этого не говорила, заботясь как бы совсем о другом:

— Спичек надо прикупить.

— Да ведь у нас есть спички, Аниша. На три зимы.

— Лера Милентьевна, так скажу, что запас ж... не дерет. А ну, как отсыреют все враз?

В эти походы ее часто сопровождал Трохименков. Рыба уже залегла в ямы, не ловилась ни на крючки, ни в сети, а прогулки в Красногорье занимали все светлое время: уходили в темноте и возвращались затемно. Продрогнув и промерзнув, шумно вваливались в жарко натопленную избу к уютному самовару и готовому столу, и во всем была странная, почти праздничная радость. Радостью был теплый дом после длинной холодной и ветреной дороги; радостью оказывался накрытый стол после столь долгого пути; радостью пел самовар, и все эти радости вместе создавали праздник.

— Ах ты, рюмочку с устаточку! — восторженно и умиленно приговаривала Анисья.— Ничего нет слаще для русской души.

Странные это были походы. Весь длинный путь туда и назад, от Демова до Красногорья, от Красногорья до Демова, шли молча, и им было так хорошо, что усталые души их светлели, а ноги шагали и шагали, будто не отшагали до этого целые жизни. И никакой разговор не требовался, словно общались они друг с другом на тех, особо коротких, волнах, когда мужчина и женщина понимают друг друга без слов. А если и возникали слова, то и они звучали особо:

— Ты не устала?

— Ай, несут меня ножки, Васенька. Я ж кругом тебя раз сто обегаю, а ты и не замечаешь.

— Не замечаю, Нюша. Ты уж прости, угрюмый я.

— И не замечай, угрюмый мой, мужикам не все замечать надобно. Вы ведь, поди, и знать-то не знаете, что бабы от счастья над землей летают.

Или — шепотом:

— Глянь, Вася, белочка. Ах, хороша, ах, красива-то как, господи?

И брала его за руку. И они долго стояли рука в руке, глядя на рыжего зверька, деловито очищающего шишку. Так ведут себя молодые, вдруг заново замечая птиц и зверей, траву и деревья, солнце и дождь. Непрожитое дремлет в душе человеческой, как зерно, ожидая тепла и влаги, чтобы прорасти. И в душе Анисьи хранилась мечта о счастье и, ощутив тепло, проросла и зазеленела; и хмурый, ушедший в себя Грешник понял ее и понял себя, начав неуверенно улыбаться. Нерастраченная нежность Анисьи не только согрела, но и озадачила его: он все время хотел сделать ей приятное, доброе, все время страшился ненароком обидеть, задеть, оцарапать ее распахнутое настежь сердце, боялся, что слишком уж он сух, ожесточен, углублен в себя.

— Да будьте вы сами собой,— говорила баба Лера.— Не думайте вы, бога ради, как вести себя: женщины особенно чутки на естественность поведения, и Аниша только огорчается от вашего старания.

— Боюсь эгоистом стать.

— Напрасно, эгоизм свойствен мужчинам. И, признаться, мы с Анишей стосковались по эгоистам.

— Смеетесь, Калерия Викентьевна?

— Улыбаюсь. От счастья за названную сестричку свою. И этакая сладенькая мысль шевелиться начинает — о торжестве справедливости. Признайтесь, эта наивная мечта всех оскорбленных и униженных, вас тоже порою умиляет?

— Не далее как вчера, когда мы два часа муравейником восторгались,— мягко улыбнулся Трохименков.— Нюша мне про муравьиное хозяйство рассказывает, а я смотрю на это хозяйство и думаю, что у доброго человека счастье всегда с собой. Увидел птицу — обрадовался, увидел росу на листке — умилился, обогрел встречного — и сам счастлив больше его самого. И еще я подумал, что вот такими и были, наверное, русские люди — носили счастье с собой и радовались, коли счастьем этим поделиться удавалось. А им вдруг иную задачу взяли да и поставили: брать, хватать, покорять, добиваться. «Нет таких крепостей...», «нечего нам ждать милостей от природы...», «покорим тайгу, реки, пустыни...» — помните? Противен народу был этот культ силы да завоеваний, вот он и запил. Так, как сейчас, Россия за всю свою историю не пила, потому что это не просто распитие водки — это запой. Родина наша в запое, Калерия Викентьевна, вот ведь беда какая с нею приключилась.

— Запой? — задумчиво переспросила баба Лера.— Пожалуй, соглашусь: да, у нас уже не пьянство, у нас нечто пострашнее. И если раньше говарива-

лось, что «веселие Руси есть пити», то теперь — «забвение Руси есть пити»: раньше искали в вине веселья, ныне — забвения, что типично для форм тяжелого алкоголизма. Тут я с вами согласна, только причину усматриваю в ином. Совершенно иная причина, как мне кажется, в этом всероссийском запое.

— Какая, любопытно? — усмехнулся Трохименков.

— Знаете, я училась, когда национальным характером объясняли очень многое, доводя зачастую вопрос до абсурда, до тупика. Скажем, англичане по натуре — господа, французы — бунтари, немцы — солдаты, а русские кто?.. А русские, увы, холопы. Нам свойственна смиренность так же, как британцам — гордость, французам — дерзость, а немцам — исполнительность.

— Ничего себе смирение. Три революции за двадцать лет.

— А сколько терпели до этого? Нет, друг мой, в общем контексте истории наши революции лишь подтверждают свойственную России смиренность. И это понятно: если учесть тысячелетнее отсутствие элементарных свобод, монгольское иго, феодальную грызню, боярское безграничное самовластие, засилие чиновников всех рангов и, наконец, крепостное право, отмененное у нас великодушием верхов, а не яростью низов. Все это не могло не создать совершенно особый тип народного характера: внешнее смирение и согласие, при глубоко спрятанном бунтарстве и отрицании. Говоря «да», мы никогда не исполняем этого «да» до конца, потому что именно этим путем и привыкли выражать свое несогласие. Саботаж — вот наиболее привычная форма борьбы для русского народа, ибо он сотни лет мог бороться только таким путем. Внешняя покорность при полном внутреннем неподчинении — вот что такое русский национальный характер. И пьянство, массовый алкоголизм, тот всерусский запой, который вы так точно подметили, есть, как мне кажется, лишь иная форма свойственного нам подспудного протеста. Так сказать, моральный саботаж или, точнее, саботаж общепринятой морали, которая подавляющему большинству кажется навязанной, а потому и фальшивой.

Они спорили почти каждый день и почти по каждому поводу. Споры эти рождались не от несогласий, а от желания задать вопрос и получить ответ, а потому не разводили их, а сближали. Споры носили, как правило, характер абстрактный, теоретический, и Анисья участия в них не принимала. Она в последнее время вообще уже и не спорила: будучи яростной спорщицей по натуре, вечная каторжанка вдруг отмякла, заудивлялась душе своей, заулыбалась новому своему состоянию и позабыла и о спорах, и о дерзостях, и о шуме, став тихой, ласковой и теплой и сохранив от старого только тягу к рюмочке.

— Гляди, Васенька, гуси домой летят. Вот сколько разов гляжу вслед, столько и думаю, а увижу ли, когда возвратятся они? Или уж и сама улечу, откуда не прилетают?..

Она никогда не ждала от него ответов: немыслимую радость доставляла ей сама возможность задавать вопросы не по необходимости, а просто так, от ощущения полноты жизни.

— Гляди-ка, небо-то какое синее! А почему это оно синее, Васенька? Воздух насквозь виден, и цвета в нем никакого, хоть назад, хоть вперед гляди. А как на небо — так синь и видишь. Откуда ж синь эта, Васенька?

Ожесточенному и потерянному Трохименкову с нею было легко. Он сам согревался и оттаивал, но порою вдруг точно спохватывался и — злобился:

— Святые вы, что ли? Ведь били вас и обижали, оскорбляли и издевались, близких уничтожали, молодость украли, жизнь загубили, а вы все равно радуетесь. Чему вы радуетесь-то, объясните?

— А что люди живут, Васенька. Живут где-то люди, синь эту видят, солнышко чувствуют да детишек доброму учат.

— Доброму? Ну-ну, заблуждайся,— зло и недоверчиво ворочался в Трохименкове вчерашний Грешник.

Но доброе и на него действовало: приступов долго не случалось. Однако до излечения было далеко, и в начале той злой бесснежной зимы его забило вдруг со всей накопившейся силой. А на следующий день, когда по Анисьиным расчетам полагалось всему пройти, поднялась температура. Ни компрессы, ни малина, ни расхожие лекарства из аптечки Калерии Викентьевны не помогли, и через сутки Анисья кинулась в Красногорье за фельдшерицей.

Вышла затемно и все четырнадцать верст пролетела единым духом, будто молодая. Будто не было за плечами каторги, невиданных тягот и неслыханных потерь, будто стояло ее Демово во всей силе и красе, будто стоял в том Демове просторный дом, рубленный на века, будто по-прежнему жила в нем большая, дружная, работящая семья и будто все еще была в этой семье матушкина баловница Нюша, на которую засматривались не только парни, но и мужики с бабами: «Ай, хороша девка у Демовых. Всем хороша!» Нет, не одна радость крыльями снабжает: у страха в запасе куда помощнее двигатели. И они гнали сейчас Анисью сквозь мертвый, заледенелый в бесснежной стуже лес, не давая ни вздохнуть, ни охнуть, а все бежать да бежать, бежать да шептать: «Господи, пощади, господи, не отымай, господи, сохрани!..» И не помнила, как домчалась до Красногорья: ни времени не запомнила этого, ни собственных слез и молитв, ни даже того, замерз ли ручей подле бывшей мельницы, тоже не помнила. А ведь там как раз и повстречалась она впервые со своим Васенькой, с Трохименковым, с великим Грешником, разрывшим заступом своим не одну сотню могил, а зарывшим еще больше. И опомнилась, когда ноги подкосились.

— Уехала фельдшерица.

— Как уехала? Куда это? Зачем?

Вот тут и сломало ее. Слабость вдруг накатила, какой и не ощущала никогда. Не то что тело — каждая клеточка надломилась в ней.

— Как же, как?..

— За маслом. Масло ей в Котласе обещали достать. Целых два кило.

— Два кило?..

Она это спросила или нет? И голоса не было, а — спросила. Про два кило масла, что обещали в городе Котласе единственной их фельдшерице. Сутки езды.

— Обещала завтра к вечеру вернуться. Послезавтра до вас доберется.

Посидела, покурила. Что-то говорили ей — вроде фельдшерицы дождаться предлагали, чтобы вместе ехать,— она не отвечала, да и не очень вслушивалась. Докурила третью папиросу — и отпустило ее. Почувствовала, как продрогла, сидя распаренной после бега на морозном ветерке, и пошла в магазин. Купила хлеба, сколько выпросила — шесть буханок отпустили, по две на человека,— купила водки — этого добра без счета давали, хоть залейся, и выпила бутылку без передыху, как блатные пьют.

— Обогрейся,— сказала продавщица.— Озноба ведь.

— Идти надо. Темь в лесу и зги не видать.

И пошла. Шагала, покачиваясь то ли от мешка на горбу, то ли от выпитой натощак бутылки, то ли от усталости — еще той, безнадежной, вскоренившейся в ней, которую носила постоянно, будто невидимые миру каторжные свои кандалы. В голове звон стоял, и она не шептала больше молитв, да и не помнила ничего, тупо, как заведенная, переставляя задеревенелые ноги.

Опомнилась на спуске к ручью. Здесь дорога делала крутую петлю, огибая подпертое некогда плотиной озерко. От него осталась заросшая болотина; мороз сковал последние бочаги, сверкающие голым льдом в быстро надвигающихся сумерках, и Анисья вдруг изменила привычный маршрут. Вместо дуги в добрых полторы версты решила идти напрямик через замерзший ручей и заболоченную низину: спуститься через кустарник, пересечь поблескивающее льдом болото да подняться к развалинам старой мельницы, где когда-то впервые увидела Грешника... Сейчас она вспомнила об этой встрече, устало улыбнулась и решительно заспешила вниз по промерзшей, твердой, как камень, земле, сквозь голые хрупкие кусты. Спустилась в низину и засеменила через болото, оскользаясь на отполированном ветрами бесснежном льду.

Он был прочным и звонким, не трещал и не прогибался, и Анисья ступала смело, боясь только упасть. Сумерки густели с каждым ее шагом; она спешила, а тут еще налетел ветер, сек лицо, вышибая слезы. И, прикрываясь от него, Анисья не заметила, как вступила на старое русло, где лед был еще тонок, потому что быстрая вода не успела проморозить его до дна. И провалился он поэтому почти беззвучно и совершенно неожиданно: словно разъехался под ногами. Было неглубоко, опора нашлась сразу, и Анисья даже не успела испугаться. Но лед кругом оказался хрупким, вылезти на него не удавалось, и она,

спеша и задыхаясь, долго шла через ручей, ломая ледяной панцирь и остро ощущая облепивший тело холод. «Угораздило! — сердито подумалось ей.— И чего ты дурачка-то строишь? Господи, мало, что ли, надо мной покуражился?..»

Когда вылезла, не только юбка — все белье и само тело было мокрыми. «Господи, пока тут костер разожжешь... Тьфу ты, господи!..» Нет, не хотелось ей терять время, тюркаться в темноте, разводить огонь, сушить тряпки свои. Торопливо разделась на ветру, отжала, как смогла, одежду, натянула сырое на голое, уже стынущее тело, приговаривая: «Ах ты, господи, ну, дурень ты старый, ну, зачем это наделал, для какого ляду?..» Хлебнула добрую половину из захваченной бутылки и кинулась по заросшей знакомой дороге, уже невидимой в темноте.

Еще на бегу том — страшном, сухо звенящем бегу заживо замерзающего человека — ее впервые ударило тяжелой, сжимающей болью. Боль росла изнутри, обессиливала, не давала дышать, и Анисья не понимала, откуда идет она, эта боль. Что заболело-то у нее, где уголок тот, который вдруг способен бросать в пугающий ледяной жар ее всю, целиком, который сильнее, с которым не сладить никакой силой, не затушить, не укротить. «Да что же ты делаешь-то, Господи?! — почти с отчаянием подумала она.— Ведь этак и помру сейчас, на бегу помру, а как же сестричка моя, как же Васенька? Как же они-то зимою, да без меня...»

Вот на этой отчаянной мысли («Да как же они-то зимою да без меня?»), на этой единственной силе Анисья и добежала до дома. Добежала, гремя заледенелой одеждой, оскользаясь и спотыкаясь и уже не видя ничего. Вошла, хватая широко разинутым ртом не желающий лезть в легкие воздух, хотела что-то сказать, два раза губами плямкнула и — рухнула на пол.

— Восемь километров с инфарктом — это кто же мог бы, кроме моей Аниши? — тихо спрашивает кого-то баба Лера, и две слезинки сползают по морщинистым щекам.— Почувствовала тогда, что умрет раньше меня, вот ужас-то в чем заключается. Я ведь без ее забот оставалась: без дров, которые она носила, без печки, которую она топила, без уборки, стирки, без хождения за хлебом в Красногорье. Ей казалось, что она смертью своей меня предаст, можете себе это представить?

Это — через полгода после того дня. Я только что приехал, только вошел; я сижу рядом с бабой Лерой и почему-то держу ее узкую, сухую ладонь в своих руках. А она — рассказывает:

— Восемь километров с инфарктом...

Тогда Калерия Викентьевна сама поставила диагноз, исходя скорее из интуиции, чем из опыта. Уложила в постель, не велела вставать, постаралась снять боль. На третий день, как и было договорено, приехала фельдшерица, полпути проделав пешком и подобрав по дороге брошенную Анисьей котомку с хлебом. Подтвердила диагноз, испугалась сама, велела срочно в больницу...

— Катись,— задыхаясь, с хрипом выговорила Анисья.— Где еще что дают?

— Врача надо,— всхлипывая, говорила фельдшерица бабе Лере.— Я сообщу, не беспокойтесь. Я чего уехала в Котлас? Дети у меня, двое, а сестра двоюродная — она в столовой работает — масла обещала. А насчет врача, может, мотосани, а? Хотя снега нет, не дадут. Может, вертолет? Вы же понимаете: дети у меня. Двое. Как без масла-то, а?..

То ли от волнения, то ли от домашних средств, то ли сам собой — а выздоровел Трохименков. Днями и ночами сидел подле серой, безучастной, с трудом дышащей Анисьи, и она молча глядела перед собой остановившимися глазами. Может, слушала свою боль, может, вспоминала свою жизнь, может, уже прощалась, ожидая близкого часа своего. Фельдшерица оставила все, что могло помочь или хотя бы облегчить; баба Лера сама делала уколы, и после третьего Анисья, наконец, уснула. Спала спокойно и крепко, даже порозовела во сне.

— Идите,— сказала баба Лера.— Передохните, а я посижу.

Грешник долго ничего не мог сказать. Тыкал вздрагивающей рукой в Анисью, разевал рот, но подбородок у него прыгал, и из глотки вырывался какой-то сип вместо слов.

— Человек,— с трудом произнес он наконец.— Зачем мы на свете живем, а? Ради идеи? Чтоб власть удержать? Чтоб правду никто не узнал? Во имя будущего? А настоящее, что, в землю? Под ноги, в грязь, в навоз, в дерьмо?.. Помню, когда молодым дураком был, нам кричали: «Вы — кирпичи будущего!» А мы и гордились, недоумки, не соображая, что из кирпичей будущего сегодня и свинарника не сложишь.

— Вы не правы, нет, не правы. Бывают, знаете, в истории периоды, когда поколения обязаны работать, бороться и страдать во имя будущего всего народа.

— Да они-то тут при чем? — с болью выкрикнул он.— Мы ведь во имя светлого будущего темные войны вели. Как дикари какие: чей бог лучше. Разве не так оно, если без громких слов, а? Кричим: прогресс, прогресс! А весь наш прогресс — железяки с проводами. А вокруг чего только не натворили: и вранья, и доносов, и подлостей, и каторгу восстановили пострашнее царской, и труд подневольный за палку на трудодень, что, не так, может? И ничего святого уж нет, и в кровище все да в грязи по колени: это Нюша — чистая, а мы — нет. Потому нет, что она по совести жила даже на каторге, а мы приказы исполняли. Всю жизнь мы с вами приказы исполняли, а она — что совесть ей велела. Будущее, говорите? А что это такое — будущее? Приказали нам насчет будущего, вот мы и... А мне вон объяснили, как ради всеобщего равенства, братства да свободы гильотину изобрели.

— Не сердитесь,— вздохнула баба Лера, убеждая себя, что не хочет спорить, а на самом деле едва ли не впервые поняв, что у нее нет более аргументов.

Трудно, ах, как трудно сдавалась Анисья своей последней болезни. Она не привыкла болеть, она с цветущей, тугой своей юности на всю жизнь вынесла железное правило, что болезнь есть смерть, и из последних сил не принимала, не признавала, воевала с ней, пугаясь собственной слабости, нарастающей с каждым днем.

— Нет-нет, я ничего, ничего,— бормотала она.— Я встану, встану сейчас и на работу, куда велят...

— Привяжу,— сурово говорил Трохименков.— Ей-богу, ремнем к кровати привяжу.

А потом свыклась. Лежала тихо, спокойно, благонравно, ласково глядя на мир добрыми, отогретыми глазами. Слушала себя, свое большое, безмерно усталое тело, в котором теперь уж навсегда поселилась задышливая потная слабость и тайная, лишь на время приглушенная боль, но больше не боялась ни боли, ни слабости. Только не хотела разговаривать, слушать и отвечать: на этом, втором этапе болезни ей вполне хватало личных ощущений, которые она изучала дотошно, с крестьянской неторопливостью и основательностью.

— Что это она все время молчит, Калерия Викентьевна?

— Боюсь этого,— шептала баба Лера.— Господи, если бы веровала я!

— Думаете?

— Прощается. Пока — с собой, поэтому и молчит. Потом с нами прощаться начнет, тогда и заговорит.

Анисья и вправду вскоре заговорила: баба Лера многое повидала, и в механике ухода человека из жизни разбиралась безошибочно. Начался третий, последний этап этого ухода: Анисья была особо оживлена, много говорила, с удовольствием отвечала и бесконечно расспрашивала. А спала совсем мало, будто уже жалела тратить время на сон и отдых.

— Кажется, полегчало ей, Калерия Викентьевна? И румянец появился, и настроение вроде. А?

— Уходит она,— с беспомощной тоской сказала баба Лера.— Ничего-то вы не желаете понимать, мужчины. Ничего. Боитесь правды, что ли?

Он вдруг понял, осознал не разумом, а всем существом, что Анисье более не встать, что она и вправду уходит от них, что равнодушное и неотвратимое

время с каждым тиканьем ходиков приближает ее уход и его одиночество, и замолчал. Молча сидел рядом с умирающей, молча подавал ей воду, молча топил печи, укрывал от сквозняков и неотрывно глядел. А она, улыбаясь ему, расспрашивала обо всем на свете, будто и не собиралась помирать, будто и лет-то ей совсем-совсем еще немного было, будто ответы, которых требовала она, могли когда-нибудь пригодиться. Так спрашивают дети, утоляя не внезапно возникшее любопытство, а жажду знаний, запасаемых на всю последующую жизнь.

— А чего это люди на разных языках говорят, Леря Милентьевна? От разных обезьян произошли, что ли? Или и вправду бог им в наказание все спутал?

И целый вечер баба Леря рассказывала о происхождении человека и человечества, о расах и народах, о языковых семьях и нациях. Больная слушала жадно и активно, перебивая вопросами, стараясь изо всех сил понять объяснения своей дорогой сестрички-каторги.

— Ты бы отдохнула, Аниша. Подремала бы.

— Нет-нет, погоди, тут понять мне надобно. Стало быть, это чего же такое получается? Получается, вроде мы с немцами как бы братья двоюродные?

— Вроде бы так, Аниша. Конечно, это весьма упрощенное представление, но в сути...

— Вон оно что,— Анисья тяжко вздыхала и горестно качала несуразной лошадиной своей головой.— А ведь люди, они вроде как дети, Леря Милентьевна. Свой своего, значит, убивает и калечит, и в лагеря за колючку сажает. Ах, дураки-то какие, ах, дураки!..

Успокаивалась она либо поздним вечером, либо окончательно обессилев. Соглашалась уснуть, принимала лекарства; баба Леря перестилала ей постель, укутывала, целовала, прощаясь до утра, а Анисья непременно крестила ее в спину. Делала она это втайне, но Калерия Викентьевна знала об этой тайне и ночами тихо плакала в подушку. Но еще до этого они с молчаливым Грешником пили чай на кухне и говорили шепотом, настороженно прислушиваясь к дыханию умирающей.

— Ну зачем, зачем эта любознательность? Может, боль она в себе глушит? Или — страх?

— Нет в ней никакого страха. Людей она на земле оставляет, понимаете? А они — бестолковые да несмышленые, за ними присмотр нужен, а то опять бед натворят. Это же русскую каторгу пройти надо, чтобы дорасти до такого понимания. До такой личности.

— Оставьте, при чем здесь каторга.

— При том,— строго отрезала баба Леря.— Не будь каторги, не было бы и Достоевского. Вот он каков, русский вариант: один — за весь мир. А вы говорите — страх. Да, страх. За всех страх, только не за себя.

— Устает она. Затрачивается слишком.

— А разве существует способ страдать о людях и — не затрачиваться?

Гордо спрашивала баба Леря, гордясь не только названной своей сестрой, но и, как всегда, духом человеческим. Его безграничной жаждой добра, его милосердием, его способностью сострадать каждому и страдать за все человечество. Дух этот ныне вдруг возгорелся в Анисье, но горя, сжигал и ее самое, и Калерия Викентьевна ясно представляла, что дни Аниши сочтены, и слезы беззвучно и совсем уж независимо от нее текли и текли, но только по ночам, а днем баба Леря была заботлива, строга и хлопотлива, находя силы не только делать все, что требовалось по хозяйству, не только терпеливо и обстоятельно отвечать на бесконечные детские «почему», но и улыбаться.

— А чего так, Леря Милентьевна, что каким народам теплынь, а какие мерзнут, будто зеки? Я понимаю, хлебушек, он трудов спрашивает, его растить надо, убирать да беречь, а потом уж делить. А тепло? Тепло ведь от солнышка, так и должно быть его всем поровну, а то получается, что совсем не поровну, и кто же это так людей обидел?

Баба Леря терпеливо объясняла, что земля круглая, что движется она вокруг солнца по эллиптической орбите, что земная ось наклонна. Говорила о морях и океанах, которые сберегают тепло, о постоянно дующих пассатах и муссонах, о ледяных шапках Арктики и Антарктики, о циклонах и антициклонах, о Гольфстриме, определяющем погоду всей Европы.

— Эта могучая река несет нагретые воды с юга на север, и Мурманск — порт незамерзающий, хотя и расположен он за Полярным кругом. А само течение, эта морская река, отдав нам тепло, поворачивает назад...

— Вот бы по ней прокатиться. По теплой этой речке.

— Мир поглядеть хочешь, Аниша?

— А чего его глядеть? Мир как мир, везде люди. Нет, не его глядеть надо, а себя казать. Мол, живы еще, хоть и тепла нам куда как поменьше вашего достается.

Последнее время она часто говорила о тепле: стыла изнутри. И хотя Трохименков топил сутки напролет, а баба Леря поила чаем, горячими настоями, клала грелки к ногам и укутывала, Анисья медленно коченела.

— Не текут во мне Гольфстримы мои, сестричка-каторга. Пальцев не чую ни на ногах, ни на руках.

К тому времени прошли обильные снегопады, мерзлую землю и льды надежно укрыло, и по Двине пробились мотонарты с доктором. Доктор был немолод, что понравилось больной, внимателен и разговорчив. А осмотрев Анисью, сказал Калерии Викентьевне с глазу на глаз:

— Не обманывайтесь.

— Значит...

— Чудес не бывает. С абсолютной точностью предсказать не берусь, но больше чем на месяц ее не хватит. А в больницу везти — не довезем, да и, признаться, смысла не вижу. В больнице помирать трудней.

Доктор уехал. Анисья долго лежала молча, строго вытянувшись, словно уже шагнув в иной строй. «Поняла,— с болью думалось бабе Лере.— Все поняла, что доктор сказал...» Они с Трохименковым сидели по обе стороны умирающей, боясь обронить слово, вздохнуть, скрипнуть стулом.

— Выди, Васенька,— вдруг тихо сказала больная.— Выди, мне с сестричкой поговорить надо.

Грешник тяжело поднялся, пошел, ссутулившись. У дверей остановился и не просто оглянулся, а всем телом повернулся к Анисье.

— Иди, Васенька,— повторила она, и две слезинки сбежали по морщинистому лошадиному лицу. Подождала, пока он вышел, пока закрыл дверь.— Не хотела тебе говорить, да в смертное свое, дура я старая, нож наточенный спрятала. Обряжать меня станешь — найдешь.

— Какой нож, Аниша?

— Чтоб потом не гадала, скажу. Васеньку я зарезать хотела, любовь свою последнюю и единственную.

— Аниша, ты что...

— Молчи, сестра, теперь мой час. Фальшивый он человек, это я сразу почувствовала, ну а мало их, что ли, фальшивых этих? Не ломай, говорю себе, Анисья, голову свою, и так она у тебя слабая. Ну, и не ломала. А тут шуточки наши да прибауточки, и понять я не поняла, как влюбилась, будто обварилась. И стала я видеть вроде как по-иному, и слышать, и глядеть, и вдруг будто пронзило меня, сестрица, будто пронзило. Поняла я, кто он есть, и решила: не жить ему больше. Ночью нож точу, а сама реву да про себя вою. Точу, реву да вою...

— Родная моя, милая моя...

— Молчи! — Вторично и еще более строго оборвала умирающая.— То последнее испытание мне было. Всю ночью слезьми умывалась и очень жалела, что молиться боле не могу, что позабыла я все молитвы. Но точно знала, что то испытание есть последнее, и потому понять мне его надобно. И поняла: нельзя человеку божьи права себе забирать, не имеет он на это никакого такого права. Нет у него дозволения то отымать, что господь даровал: ни здоровья, ни любви, ни свободы, ни тем более жизни самой. Не наше это дело, сестра моя единственная, суд да расправу чинить, не наше. Вот что поняла я в ту самую свою страшную ночь, а чтоб не позабыть как-нибудь спьяну, в приготовленное смертное нож завернула. Мол, коли накатит, так непременно же смертного коснусь того, в чем перед богом предстану, и — опомнюсь. Потому и тебе не

скажу, кто он такой есть, Васенька мой. Ты уж прости меня, дуру несчастную, а только не тебе судить, сестричка-каторга. Прощению нужно учиться, а не злобе. Казнить и зверь может, а вот простить — только человек. Людями мы с тобой на каторге жили, людями и на свободе помрем, сестричка ты моя родимая, Леря Милентьевна...

Через три дня после этого разговора баба Лера, проснувшись раньше обычного, встала и споткнулась о лежавшее подле кровати уже холодное тело. Как смогла Анисья сама подняться с постели и добрести до сестрички-каторги, опуститься на колени возле ее ног да еще, видать, успеть бога за нее помолить, навсегда осталось без ответа. Впрочем, он никому и не требовался, этот ответ.

— Вот и все,— тяжело выдавил Грешник и пошел стругать доски.

Выстругал, сколотил гроб — большой, неуклюжий, несуразный — и начал долбить могилу. Трое суток он вырубал ее в звонкой, насквозь промерзшей земле, и трое суток повторял эти три слова. Ничего не ел: менял мокрую рубаху, пил чай и снова шел долбить. Спал совсем мало, а баба Лера совершенно не сомкнула глаз, а сидела подле дорогой своей Аниши, изредка в забытьи падая лбом на криво струганную боковину гроба.

— Вот и все,— сказал он, вернувшись засветло, и она поняла, что могила, наконец, готова, и что завтра им предстоит положить в нее Анисью.

Трудно и долго хоронили они ее. Пока Грешник строгал доски и сколачивал гроб в зале, баба Лера омыла и одела свою сестричку, перепрятав нож в свое смертное. Они уложили тело, и Трохименков ушел долбить могилу. А потом вернулся, сказал: «Вот и все», и ночь просидел подле покойницы, чуть подремав перед рассветом. Молча выпили чаю, Трохименков подтащил к дому санки, вернулся, примерился...

— Не пройдет он. Да и не вытащим вдвоем.

— Как же?

— По отдельности придется.

— По отдельности?..

— Не донесем. И в сенях не развернемся.

Снова вынули Анисью, положили на стол. С трудом, с великой натугой выволокли неуклюжий гроб, установили на санках, и после этого Грешник на руках вынес закоченевшее тело. Уложили, помолчали, попрощались, закрыли крышкой и, надрываясь, поволокли к могиле сквозь снега, которые намело с того страшного дня.

Пока собирались, пока тащили санки с покойницей в тяжеленном, слишком уж большом для нее гробу, пока опускали этот гроб, задыхаясь, хрипя и падая, в могилу — а гроб вырывался из окоченевших рук, скользил боком, бился торцами, и слышно было, как гулко стукается о его стенки мертвое тело,— пока засыпали мерзлыми комьями пополам со снегом, наступил вечер. Сил уж не было совершенно, и баба Лера рухнула в снег. Поднялся ветер, гнал поземку, и слезы стыли на щеках. Трохименков угрюмо курил рядом.

— Пойдем,— она с трудом поднялась.— Пора.

— Что? — он вдруг бросил окурок, снял шапку. Ветер рвал волосы, забивал снегом: казалось, Грешник седеет на глазах.— Что такое жизнь человеческая? Путь от колыбели до гроба? Неправда, это среди людей путь. Это жмурки, потому что каждый идет своим путем и не замечает никого, и не сворачивает, и все друг друга толкают, а то и бьют, а то и насмерть забивают. Все — вперед, все — скорее, все — без глаз, а потому себе все, под себя, ради себя. И вот среди этих слепых и ослепленных, среди сует, среди путей человеческих редко-редко попадается дорога, по которой прошел не волк, не шустрая мышка пробежала, и не серая крыса, а — человек. Били его, оскорбляли, обижали, всего лишили, а он шел своей дорогой и ни разу с нее не свернул. Никого не предал, никого не продал, всем раздавал сердце свое, и тепло свое, и хлеб свой, и труд свой, не думая не только что о награде — о себе даже не думая. Где же они рождаются, такие люди? Кто научает их любить всех, помогать всем, жить по закону: «все отдай»? Никто этого не знает и не узнает, никогда не узнает, потому что такие люди и есть единственное чудо в нашей жизни. И когда уходит оно, чудо это великое, когда

прощаешься с ним, навсегда прощаешься, тогда только и понимаешь, что утратил, что потерял на веки вечные. Человека потерял, без которого и солнце без солнца, и жизнь без жизни.

Трохименков замолчал, по-прежнему не чувствуя ни ветра, ни снега, ни холода. А они были — и ветер, и снег, и холод. Они выли в ледяном том безлюдьи, остужая кровь у живых и заносся легким саваном могилы мертвых. Но боль, которую ощущали сейчас живые, была столь ослепительно огромна, что они не чувствовали и не могли чувствовать ничего, кроме боли. Даже холода.

— Мы стали злые,— сказал он, вздохнув и горестно покачав головой.— Мы забыли... Да не забыли — мы похерили самую главную правду человеческую: злом нельзя, невозможно злом истребить зло. Мы учим не состраданию, а злорадности, не милосердию, а жестокости, не прощению, а отмщению. Мы сеем зло, а говорим, кричим даже, что творим добро. Все вскружилось в нашем мире, замутилось и вспенилось, и души наши, как прокисшее пиво. А ее душа была чиста, как родник. Но не припасть нам более к этому роднику, ибо и родники иссякают. И от злобы, от ненависти, от слез и страданий все родники вскоре превратятся в Мертвые моря, и мы помрем от жажды на их берегах и даже утопиться не сможем. Ведь не высыхают же слезы наши, не испаряются, слышите? Они стекают в Мировой океан, и копятся там, и растут из века в век, пока не зальют всю землю. Прощай, моя Нюша, прощай Анисья Поликарповна Демова, прощай, сестра наша праведная. Со мной ты будешь, покуда не уйду я вослед за тобой.

Он грузно опустился на колени, и баба Лера молча опустилась рядом. И так они стояли долго, склонив головы над свежим могильным холмом, уже заметенным мягким, неправдоподобно чистым снегом. Потом Калерия Викентьевна с трудом поднялась, положила руку на плечо Грешника:

— Пора.

Назад брели молча, в полной тьме, волоча за собой санки. Дорогу перемело, вокруг ничего не было видно, кроме сплошной стены снега и ветра, и они чудом не сбились с верного направления. Вышли к береговому порядку и оттуда долго пробивались к себе. В свой опустевший, непомерно большой и такой тихий отныне дом.

Было холодно. Истопленная ранним утром печь остывала, ветер выдувал остатки тепла, а сил уж не осталось. Ни сил, ни желаний, и они решили не разжигать огня даже для того, чтобы разогреть еду. Помянули, чем бог послал, стараясь поставить на стол то, чего касались руки Анисьи: ею собранные грибы и ею выращенную капусту; картошку, которую она старательно окучивала, и огурцы, которые аккуратно поливала, как когда-то велела маменька. И даже водка была из ее тайничка в дровяном сарае.

— А стоит ли...

— Стоит,— отрезал он.— Не бойтесь, не затрясусь. Нечему во мне трястись.

Он выпил много — два граненых стакана, и Калерия Викентьевна боялась, что ему непременно станет плохо. Но он даже не опьянел: пил, скрипел зубами и плакал.

— Лечь вам надо,— тихо сказала она.

— Что?..— он трезво, даже зло глянул в глаза, впервые обращаясь на «ты».— Помнишь, при первой встрече, когда председатель паспорт потребовал, заорал я, что не Трофименков я, а Трохименков, что хер, а не фук, что... Знаешь, почему закричал? Тебя испугался. Испугался, что вспомнишь вдруг, что догадаешься, что вычислишь: ты же не Нюша моя, простая душа. Нет, не встречались мы в жизни с тобой, Вологодова, и это, наверное, тоже счастье мое. Потому что никакой я не Трохименков, а Трофименко Василий Егорович. Это ж как свою жизнь надо прожить, чтоб из собственной фамилии буквы повыбрасывать ради того только, чтоб на случай какой не нарваться! Чтоб из проклятой жизни своей ограбление могил в биографии выпятить как... как оправдание, что ли. Или — объяснение.

Как сквозь туман, как сквозь густую пелену прорывался голос в сознание Калерии Викентьевны. Даже не в самосознание прорывался, а где-то рядом с сознанием, не трогая его, ибо сознание бабы Леры было тогда переполнено

небывалым горем. Анисьей было заполнено оно сверх всяких краев, трагедией расставания и трагедией собственного одиночества, и слова, которые отрывочно доносились до нее, она еще не осознавала, не воспринимала, не связывала воедино. Там она еще была, со своей Анишей, по ту сторону. И спросила не из любопытства, не для поддержания разговора, а словно самой себе на что-то отвечая. На непрозвучавший вслух вопрос.

— Что могут оправдать развороченные могилы наши?

— Ничего не могут, ничего, верно говоришь. Но — оттягивают, просто оттягивают, это ты понимаешь, Вологодова? Знаешь, лошадям раньше губу веревкой перекручивали, чтоб одной болью другую боль оттянуть. Ту, которая и есть самая главная. Вот и я одним злодейством хотел другое... Святотатство, говоришь? Сперва я неосознанно как-то про свое святотатство рассказывал, а потом ты подсказала, юнца того вспомнив, что за иконами в церковь залез. И я уже сознательно про осквернение могил плел, уже с удовольствием даже, уже завлекательно... А она — жалела. Меня жалела. Жалела она меня. Нюша моя, слышишь, Вологодова?..

Он замолчал, однообразно и тупо раскачивая тяжелой от горя и хмеля головой. Он впервые за все прожитое совместно время называл ее не по имени и отчеству, а только по фамилии, называл нарочно, с вызовом, будто подталкивал к догадке, к какому-то открытию, которого желал и которого боялся. Но баба Лера все еще была на другой стороне, между ним и ею лежала бездонная и навеки, до скончания дней настежь распахнутая могила Анисьи, и ничего-то не слышала и понимать не желала временно оставшаяся в живых последняя сестричка-каторга. Трохименков (или — Трофименко: кто его теперь после смерти Анисьи мог понять?) подождал, покачал головой и, привстав, передвинул лампу, чтобы свет ее не падал на его лицо. Ушел в темень, укрылся и вдруг незнакомым железным голосом выкрикнул из той тьмы:

— Шаг влево, шаг вправо считается побегом, конвой открывает огонь без предупреждения! Первая пятерка пять шагов...

Калерия Викентьевна медленно, точно просыпаясь, подняла голову. Вгляделась в темноту, как в прошлое свое.

— Охранник я,— голосом Трохименкова сказало это прошлое.— После могил тех вызвали и — в охраиу. Сперва просто конвойным был, потом училище осилил, до начальника лагеря и звания майора дослужился, три курса заочного юридического успел...

Молчала баба Лера. И он замолчал, оборвав фразу. И никто не знал, сколько длилась она, эта пауза, но оба почувствовали, как беззвучно вошла Анисья. И стала над бабой Лерой.

— Я уйду, уйду, уйду сейчас,— глухо забормотал Грешник.— Только позвольте последнее слово. Не верил я, что слова душу жечь способны, будто раскаленные камни, что избавиться от них твое же нутро требует, что жить невозможно, доколе не покаешься. Мы без бога жить попробовали, вот уже полвека без бога, а что вышло? Себя иссушили, души собственные изгадили, сами себе грехи отпускать наловчились, и процесс духовного разложения нашего уж и грань перешел. Все, добезбожничались мы... Прости, Нюша моя, прости, Вологодова, нет у меня никакого права ни обличать, ни тем паче — судить, но о себе доложить обязан. Не могу не доложить, сил больше нет...

— Вы и представить не можете, до чего же страшной была та ночь,— тихо рассказывала мне баба Лера, пережив и ту ночь, и ту зиму, и доживая последнее лето свое.— Я материалистка и атеистка, я не верю ни в чудеса, ни в чертовщину, но тогда я физически ощущала, что за моей спиной стоит Аниша. Что восстала она из гроба и пришла ко мне, к своей сестричке-каторге, чтобы мне легче было вынести признание бывшего майора Трофименко, и чтобы нашла я в себе силы поступить так, как она мне завещала. И никакой не могло быть более альтернативы, а я... Я твердо знала: не одна я сейчас и не останусь одна потом...

Не шевелясь и не отводя глаз баба Лера слушала тогда ушедшего во тьму, за ламповый круг Грешника. Слушала, вцепившись в край столешницы изо всех сил.

— В пятьдесят третьем ведь не просто Сталин умер, не великий вождь всех времен и народов; в пятьдесят третьем мир рухнул. Тот мир, для которого меня создавали, для которого бога еще раз распяли, отреклись от прошлого своего, могилы разграбили, деревню уничтожили, в новых крепостных мужиков превратив без права выезда, без паспортов, без денег, без дня вчерашнего и без дня завтрашнего. Все оказалось — зря. Все жертвы, отречения, подлоги, процессы, подлости — все зря, ошибочка вышла, напрасно все. А ведь я два десятка лет в лагерях, я такого насмотрелся, по такой кровище походил, столько сам натворил, что не мог я, не мог ошибкой это все признать. Ведь я же верил, что только так и надо, что вы все — заклятые враги наши, что кругом заговоры, что... Э, да что говорить: я хотел верить, я должен был верить, чтоб самому с ума не сойти. А тут лагеря закрыли и меня — из органов на улицу. А у меня — дети. Большие уже, мальчик и девочка, школу кончают: они ведь тоже думали, что прав их отец, что в зоне одни злодеи сидят. А им Двадцатый съезд да выступление Хрущева. И начали они меня стесняться. Я специально поглуше и подальше город выбрал, в ВОХР при заводе устроился, тоже прошлого своего стесняюсь, боюсь его: вдруг кто узнает, вдруг на вчерашнего зека из своего лагеря ненароком нарвусь? Вот тогда я всей семье и фамилию сменил, чтоб совсем с прошлым нити оборвать, обрадовался, когда удалось в милиции буковки поменять, фук на хер, а дети этого не приняли. Ну, совершенно, абсолютно не приняли: трус, говорят, ты, подлый трус. То есть того, что я тогда пережил, врагу не пожелаю. Тут еще жена померла, дети из дома выживают, в глаза трусом зовут, и стал я пить. В другой городу уехал, могильщиком устроился — это по первой, значит, специальности — и пил беспробудно. Пил, пил, пил. И одна мысль стала появляться, завелась во мне, как червячок, и ну — точить, ну точить... Днем и ночью, ночью и днем. Пройди, говорит, сам сквозь то, сквозь что ты людей прогонял. Тюрьмы пройди, этапы, пересылки и лагеря, да нары да шмоны. Ну, а законы-то я знал, и подобрать себе преступление было для меня нехитро. Нет, не убил, не ограбил, но ровно на пять лет себе статью потянул. И верь — не верь: с радостью на нары поехал.

— Не знаю, что бы было со мной, как бы я поступила, если бы не Аниша,— привычно потряхивая головой, снова и снова вспоминала баба Лера тем последним летом.— То ли от времени, что прошло, что минуло, то ли от возраста, то ли от смертного ухода Аниши моей, а только удивительно я помягчела. Жалела я тогда всех. Людей, птиц, зверей, Анишу, Грешника этого. Так жалела, что готова была встать, обнять его и вместе поплакать над тем, что же с нами-то сделали. И только подумала так, тут же и почувствовала, как Аниша моя руки свои кладет мне на плечи. Вы не поверите: до сей поры ледяной холод мертвых рук ее ощущаю. И до сей поры голос ее звучит: «Сиди, сестричка-каторга, и подумай сперва. Мне на прощание любовь силы дала, а что тебе твой Алексей скажет?..» Думаете, мистика? Нет, просто в меня Аниша перешла после смерти своей. И мне волю свою диктовала. И даже не слышала я, что он там еще рассказывает. А он о дочери своей говорил...

— ...Только на нарах и понял, что никого я не любил. Ни жену, ни сына, ни людей вообще: все во мне гробокопательство вытравило. И ведь справедливо: в том возрасте, когда красоте удивляются, стихи наизусть учат, песни поют, цветы девушкам подносят, я во прахе ковырялся. И совсем не духовные, совсем иные ценности познавал. Обратила внимание, сколько цацек люди на себя навешивать стали? Чем грубее да темнее, тем больше на нем золотишка да камешков, а ведь золотишко-то это — из могил, если вдуматься. Оттуда, Вологодова, мы старые ценности извлекли, от которых гордо отрекались когда-то, из золота сортиры строить хотели. Да. Но — отвлекся, опять о ненависти заговорил, а ведь хотел — о любви. И вот тогда, там, на нарах, понял я, что если и люблю кого, так только дочку свою. И, поняв это, впервые мечтать стал, как освобожусь, как к ней приеду, как детишек ее, внучат своих, нянчить буду. Ну и сбылись мечты мои, мечты ведь всегда сбываются, как мы в песнях поем.

Освободили меня, приехал я в тот город, где дочка моя жила, рано приехал, в седьмом часу, что ли. Все боялся, что на работу дочка уйдет, что опять ждать мне. Почти что бегом бежал. Ткнул дверь, чтоб не звонить, чтоб сюрприз ей: «Здравствуй, мол, доченька...» Отворилась дверь эта, и вошел я... Как тебе объяснить, Вологодова, куда я вошел? В склеп, в смердение, в тлен. Онемел, обеспамятел вроде, а на меня из комнаты что-то голое ползет, синее, рыхлое, пузатое, будто жаба. Голова большая на тонкой шейке качается, волосики сбиты, слюни до полу и рубашонка к горлу съехала. Ужас тут меня охватил: понял я, что это внученька моя, которую я ласкать мечтал да лелеять, ползет и сипит что-то нечеловеческое, нечленораздельное. А из глубины за нею и сама дочь моя появляется. Думаешь, узнал я ее? Я догадался, а узнать не мог. С перепою, опухшая, в одной рубашке мятой да грязной, да и сама нечесаная, немытая, руки дрожат. «Что,— говорит,— захотелось? Так гони бутылку, и все дела...» Родному отцу себя за пол-литра... Это кто же так меня покарал, кто? Бог? Жизнь? Природа? Черт с дьяволом? Не знаю, но убежал я оттуда. На край света решил уйти и сдохнуть там, как собака. Да отсрочилось все ненадолго: Нюшу встретил. Единственную радость за всю свою жизнь...

Он вздохнул, понуро покачал головой и молчал долго. Потом остаток водки допил — торжественно, будто причастие. Поставил стакан, спросил, не глядя:

— Можешь ты простить меня, Вологодова?

И опять Калерии Викентьевне очень захотелось встать. Встать, погладить седую голову этого несчастного, живьем убитого человека, сказать, что прощает, что никто не виноват, что судьба... Но опять ощутила на слабеньких, хрупких плечах своих ледяную тяжесть мертвых Анисьиных рук и не смогла встать. Ни встать, ни заговорить, ни прощать: прощение от ума недорого стоит. И баба Лера, строго подобрав сухие старческие губы, сурово глядела мимо.

— Не можешь, значит.

Он вздохнул, тяжело, изо всех сил упираясь обеими руками в стол, поднялся, тяжело пошел к выходу. Долго одевался там, шурша одеждой: баба Лера сидела, как изваяние, по-прежнему сурово глядя перед собой.

— Ну, прощай, Вологодова. Не поминай лихом...

Он вдруг замолчал, будто поперхнувшись словом. Будто все мутное, что скопилось в душе его, со страху, что на мороз выгоняют, со всей силой в голову бросилось. И за спиною бабы Леры стоял сейчас не раздавленный горем и жизнью человек, а беспощадный, как холод, майор Трофименко.

— Грешник, значит, я, грешник? А вы — несчастные, да зато чистенькие, как стеклышки? Не-ет, не выйдет! Всякое действие свою отдачу имеет, как выстрел. Кто нас такими сделал, а потом — грешниками обозвал? Да вы же сами, вы, неистовые, вы, вы, вы! Воздастся вам, слышите? Ох, как воздастся. Не только за всех Анисий в мире, но и за всех нас. За весь народ, который поверил вам, как Нюша моя своему Митеньке. За весь народ!..

Хлопнула за спиною дверь, а Калерия Викентьевна еще долго сидела, не шелохнувшись. Так долго, что начали стыть ноги в валенках, что поняла, что утро на улице, что уже остыла изба, и что пора топить печь. Тогда встала, ощутив помимо собственного сознания, что отныне начинается последний абзац ее биографии.

— Выгнали?.. Выгнали в метель, в мороз, в безлюдье и бездорожье больного человека? Калерия Викентьевна, дорогая наша баба Лера, я не могу в это поверить. Вы наговариваете на себя, вы сочиняете... Ведь вам же несвойственна жестокость!

В последнее лето баба Лера выступала крайне редко, а куда чаще сидела на солнышке, как когда-то сидела Анисья, пытаясь согреться после всех зим своих. Неистовое пламя семнадцатого года догорало в иссохшем старом теле. Калерии Викентьевне все время хотелось тепла, и она стремилась каждую минуту впитывать в себя солнце, точно надеясь унести с собою нежность его лучей. После всех потерь и всего отпущенного ей горя, после той страшной зимы, унесшей Анишу и прогнавшей Грешника, после непонятно как прожитых ею трех месяцев одиночества, равных трем столетиям, как мне почему-то представлялось, Калерия Викентьевна стала еще суше, еще меньше, еще задумчивее. Ходила, правда, легко, но мы все понимали, сколь тяжело дается ей эта упрямая легкость. Худые до прозрачности руки ее дрожали, и она, твердо произнося извинения, ела теперь одна, не желая показывать свои немощи. Безостановочно дергалась седая голова, и я могу себе только представить, сколько труда и стараний ежедневно требовала от бабы Леры подчеркнутая аккуратность прически, из которой никогда не смел высунуться ни один седой волос. Устав или просто забывшись, она, случалось, начинала шаркать ногами, и только старческая спина ее, вынесшая неимоверную по тяжести жизнь, оставалась несгибаемо прямой, будто Калерия Викентьевна Вологодова и до сей поры гордо несла невидимое нам знамя.

— Жестокость, вы говорите? Жестокость бывает только по отношению к безвинным. К детям, женщинам, зверям. По отношению к врагам есть только беспощадность.

— Но ведь он же наверняка замерз!

— Возможно,— вдруг лицо бабы Леры стало строгим и торжественно отрешенным, как лики на иконах.— Возможно, погиб. Но скорее всего он все еще бродит среди людей, моля о смерти, как проклятый господом Агасфер.

Больше я не расспрашивал о той зиме, не вспоминал о Грешнике. Я получил ответ, равнозначный последней точке, и понял, что мне не следует бередить исстрадавшуюся душу никчемным любопытством: Калерия Викентьевна опустила занавес, и бестактно было бы пытаться найти в нем щелочку. Я не расспрашивал, но она сама, непрестанно думая и о той страшной зиме, и об Анисье, и о своем праве судить, часто, хотя и урывками возвращалась к тем дням, и из этих кусочков я составил себе некоторое представление, как смогла старая женщина прожить более трех месяцев в снегах, безмолвии и одиночестве.

— Знаете, у каждого человека есть воспоминания, которых он боится,— как-то сказала она мне.— То ли совестно ему, то ли горько, то ли больно, то ли понять он страшится то, что было когда-то, и что теперь начало вдруг брезжить, как первый луч. И я не святая, и я от одного из таких воспоминаний пряталась даже в лагерях, и только в ту первую ночь своего одиночества перестала пугаться, поборола свое малодушие, все поняла и все расставила по местам.

Так начался рассказ, который почему-то показался мне знакомым. Было ощущение, что я то ли читал нечто подобное, то ли слышал о нем, но вскоре я понял, что Калерия Викентьевна не заимствовала чужой жизни, не пересказывала ее, не занималась плагиатом. Просто сама история государства, в создании которого ей посчастливилось принимать непосредственное участие, была способна на повторы самой себя именно потому, что была новой. Она писалась заново, вычеркивая целые абзацы из себя самой и безжалостно сжигая черновики...

Юная Лера Вологодова в октябре семнадцатого ушла не из отчего дома, а из отчего мира. Естественно, в то обжигающее время обжигающих страстей и обжигающих поступков ей не приходило в голову формулировать, куда и откуда она идет. Было время порывов, и люди принимали решения, куда чаще исходя из особенностей времени, чем из анализа обстоятельств. А Лерочка удалась в мать, а не в отца, и в характере ее универсальным средством решения жизненных коллизий оказался порыв, ибо вся многочисленная родня по материнской линии отличалась именно этим свойством. Именно порыв привел однажды ее мать на Ходынское поле, и испытание оказалось столь тяжким, что Надежда Ивановна Олексина так и не смогла избавиться от ужаса и дала согласие на брак с Викентием Корнелиевичем Вологодовым не от безразличия, а от неосознанной потребности иметь нечто определенное в жизни. Смутные призраки Ходынки не блекли в ее сознании, но она всегда твердо

знала, что рядом есть ясность и воля, спокойствие и разум, и это помогало не только жить, но и верить, что дети ее не получат в наследство апокалиптических видений, выпавших на ее долю. Но дети — не только Лерочка, но и Кирилл — пошли в нее, в олексинскую породу, в которой романтическое начало заведомо перевешивало начало практическое, хотя и в том многочисленном клане встречались почти хрестоматийные исключения.

Да, Лерочка Вологодова — мать очень скоро обнаружила это — оказалась Лерочкой Олексиной куда в большей степени, чем раздавленная Ходынкой сама Надежда Ивановна, и стремительный уход ее за Алексеем окончательно утвердил приоритет той крови, которая бурлила и бунтовала на базе спокойной, разумной, упрямо последовательной отцовской натуры. В конечном счете в седой бабе Лере все переплелось, все уравновесилось, но в отчаянной полудевочке-полуженщине Лерочке в те буйные времена буйствовала, ликовала и торжествовала олексинская порода.

Лера всегда помнила о родных, оставленных так внезапно, а особенно — о матери, которую не только очень любила, но и очень жалела с детства, едва поняв, что такое жалеть. Помнила, любила, жалела и — никогда не писала. Никогда, ни одной строчки, даже узнав, что ее отца, арестованного по подозрению, по подозрению же и расстреляли. Не писала не только потому, что горячий ветер гражданской войны рвал из рук, сушил, а то и обугливал любую бумагу; нет, не писала она по той причине, что была куда более Олексиной, чем Вологодовой, а Олексины не обладали потребностью писать, куда бы ни заносила их судьба: в Америку, Сербию или на Кавказ, в Болгарию или в Ясную Поляну под городом Тулой. Ничего еще не зная об этой странной фамильной черте, Лерочка тем не менее испытывала непреодолимое отвращение к письмам. А гражданская война мотала ее по всей России из конца в конец и из года в год, не давая опомниться и оказавшись длиннее собственного календарного срока, поскольку Алексею пришлось долго и мучительно гоняться за басмачами. А когда все было кончено, и последний курбаши положил оружие к ногам победителей, когда ее Алеша в дополнение к революционному оружию получил и третий орден Красного Знамени, Лера Вологодова узнала, что ее мать арестована, а где именно содержится в настоящее время, неизвестно.

Шли двадцатые годы. Кончились бои, начинал угорать нэп, начала приходить в себя деревня. Работники ЧК к этому времени приобрели не только кожаные тужурки, но и многозначительную немногословную усталость.

— Разберемся. Не беспокойтесь.

— В чем разберетесь? Моя мать — душевнобольной человек. Она пострадала в Ходынской катастрофе...

— Три дня. Приходите через три дня. Это все.

И ровно через три дня. Час в час:

— Ваша мать, Вологодова Надежда Ивановна, вдова действительного тайного советника и ярого врага Советской власти Викентия Корнелиевича Вологодова, в настоящее время содержится в Соловецком спецлагере.

— А в чем ее обвиняют?

— Идет проверка. Простая формальность.

— Если это простая формальность, прошу разрешить свидание. Если нужны поручительства...

— Нет необходимости. Свидание, товарищ Вологодова, вы получите. Длительность свидания определяет руководство на местах.

Даже при этой милости сквозь зубы Леру вряд ли допустили бы на острова, если бы не боевая слава Алексея. Прибыв в Архангельск, она по наивности начала было энергично требовать, но уже на третий день сообразила, что ее будут гонять по таинственному кругу согласований и разрешений до тех пор, пока она сама не откажется от заветного пропуска. Никто не говорил «нет», «нельзя», «запрещено»; все улыбались и говорили: «да», «безусловно», «конечно», только за всеми этими улыбками стояло крохотное, ну, совершенно пустяковое «но». То не хватало чьей-то подписи, то поставили не тот штамп, то перепутали дату, то забыли прихлопнуть печатью — и так каждый день. Каждый день хождений, бесконечных объяснений, унизительных просьб, пока

не приехал Алексей. Он прицепил именную саблю, пристегнул подаренные кавкорпуском серебряные шпоры разгромленного под Вапняркой очередного атамана и за четверть часа до отхода парового катера принес пропуска.

— До шестнадцати. До обратного рейса: на ночь посторонним там оставаться запрещено.

Серой тишиной встретили их Соловки. Серыми были стены и камни, серыми были море и небо, серыми были лица и одежды людей, державшихся поодаль, будто боясь переступить некую черту. Потом, через одиннадцать лет, Калерия Викентьевна узнала, сколь реальна эта невидимая черта, узнала, что шаг за нее обычно означал карцер или смерть, но тогда по молодости, по восторженности недавнего прошлого, по еще пульсировавшему в ней ощущению великой победы ничего не поняла. Тем более, что и понять-то не дали.

— Начальник охраны Дегтярев,— как-то не по-армейски представился Алексею совсем еще молодой и совсем уже изможденный человек.— Обязан сопровождать по долгу службы.

— А где же...— начала было Лера в растерянности.

— Гражданка Вологодова ожидает свидания в отведенном для этого помещении.

И они пошли куда-то, но не через Святые Ворота, а вдоль серых суровых стен. А люди, плотно сбившись, продолжали держаться за невидимой чертой, и только одна женщина упорно шла сзади, будто уже преступила эту черту.

— Это сумасшедшая, прошу не принимать во внимание.

Дегтярев так и сказал — «не принимать во внимание»; и через много лет баба Лера отчетливо помнила еще тогда удивившие ее слова. Но теперь она поняла их: в них заключалось предупреждение не верить ничему, что бы ни рассказывала эта, преступившая черту. Не принимать во внимание.

Мать ожидала в маленькой, полутемной, много лет нетопленной келейке с единственным сводчатым окошком под самым потолком. Именно ожидала, потому что встретила не просто стоя, а словно на бегу, словно много часов металась тут по гулким каменным плитам.

— Доченька, спасибо тебе, родная, бог возблагодарит, что не забыла меня...

Прекрасные полубезумные глаза ее, обычно подернутые ужасом пережитого, были ясны и блестящи, и этот блеск усиливал их синеву даже в сумраке полукамеры-полукельи. Она с силой прижала к груди голову дочери, и Лера удивилась этой силе.

— Мы простимся, простимся. Господь услышал мольбу мою...

— Что ты, мамочка, о каком прощании ты говоришь? Алексей узнавал: тебя скоро, очень скоро освободят. Это ведь только проверка, к сожалению, очень затянувшаяся.

— Да, да, безусловно,— мать улыбнулась, сияя удивительно ясными и удивительно синими глазами.— Здравствуйте, мой дорогой похититель девичьих сердец.

Алексей шагнул, щелкнул каблуками, склонил голову к руке. Серебряный звон шпор странно долго звучал в каземате; бабе Лере сейчас казалось, что звучал он до тех пор, пока Алексей не нашел в себе сил оторваться от руки Надежды Ивановны. Пока не сказал:

— Простите меня.

Калерия Викентьевна только теперь поняла, что просил он прощения не за то, что увел из дома дочь, а за то, что вынужден был казнить сына. Не по гимназистке Лерочке серебряно звенели шпоры в глухом том каземате, а по белому офицеру Кириллу Вологодову.

Они о чем-то говорили с матерью, беспрестанно перебивая друг друга, возвращаясь к началу, к дому и детству, и вновь растекаясь во времени. Они обсуждали что-то очень важное тогда и такое необязательное, такое второстепенное теперь, что баба Лера так и не смогла ничего припомнить. Может быть, потому, что вспоминалось ей совсем иное, незаметно прозвучавшее тогда и наполнившееся огромным смыслом сейчас, в конце ее собственной жизни. А пыталась вспомнить, очень хотелось услышать хоть одно слово из тех необязательных, потому что эти необязательные слова говорила живая мама. Но ей

упорно вспоминались слова иные, приобретшие именно сейчас роковой смысл, а тогда пролетевшие мимо счастливой Леры Вологодовой, потому что они были словами неживой матери, а Лера не желала воспринимать маму неживой, но слова, как выяснилось, не заглохли в глухом каземате, слившись с душою и осев в ней навсегда. Живое тогда стало мертвым сегодня, а мертвое — живым, но на то, чтобы постичь эту метаморфозу, Калерии Викентьевне пришлось израсходовать всю собственную жизнь.

— Почему у тебя на пальце чернильное пятно? Так трогательно, словно ты у меня — гимназистка-приготовишка.

— Я сегодня писала письма. Ты скоро получишь их, скоро.

— Мамочка, тебе недолго ждать освобождения, какие письма? Нам твердо обещали, и как только Алеша вернется в Москву...

— Да, да, конечно, конечно,— мать вдруг схватила ее за руку, сжала почти с мужской силой.— Знаешь, я видела поразительный сон. Мне ясно, пророчески ясно представилось, как Кирилл погиб. И будто бы он, мертвый, читает Пушкина. Помнишь: «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный...»

Звон клинка и шпор слились в один, совсем несеребряный звон: Алексей вскочил, привычно щелкнул каблуками.

— Надежда Ивановна, разрешите ненадолго покинуть вас,— он довольно чувствительно ткнул сопровождавшего их начальника охраны.— Прошу со мной.

— Я по долгу...

— Перекур,— голосом, не терпящим противоречий, отчеканил Алексей.— Вперед.

И буквально погнал растерявшегося Дегтярева к выходу. Тяжело скрипнула и тяжко захлопнулась рубленная на века дверь. Мать и дочь остались одни, и это почему-то столь озадачило Надежду Ивановну, что она замолчала в некой беспомощной растерянности. А Лере вдруг подумалось, что мама знает не только о гибели сына, но и о ее подробностях, о роли Алексея, и поэтому она торопливо сказала:

— Был слух, мамочка, что... Но только слух, понимаешь? Я, то есть мы с Алексеем знаем, что...

Она сбилась, запуталась и замолчала, до ужаса боясь слов, что сейчас произнесет мать. Слов, которые подтвердят ее догадку.

— Лера, если тебе суждено будет попасть в обезумевшую толпу, подчиняйся ее законам, не раздумывая,— неожиданно сказала мать.— Иди, куда идут все — направо, налево, вперед, назад,— только забудь о собственной дороге, иначе толпа сомнет тебя и растопчет. Заклинаю тебя своей жизнью и своей смертью...

— Мама, о чем ты?

— Законы толпы не ведают милосердия, я знаю это по собственному опыту. Подчиняйся безропотно и незамедлительно, тогда, быть может, ты уцелеешь. Может быть...

— Мамочка, какая толпа? Это все так страшно, все, что ты говоришь...

В разговоре — торопливом, приглушенном — они не заметили, что уже не одни: в келейке стояла та женщина в темном, которая упорно шла за ними, которая, как тогда еще показалось Лере, «преступила черту» и которую сопровождающий их Дегтярев просил «не принимать во внимание». Когда она проскользнула в этот каземат, они не уловили, но сейчас, увидев, что на нее смотрят, женщина крепко прижала руки к груди и шагнула к ним.

— Не надо, Ираида Андреевна,— с тихой мольбой попросила мать.— Умоляю вас.

— Я вытянула жребий, Надежда Ивановна, вы знаете об этом,— тихо, но вполне четко и спокойно сказала женщина.— За то, что я шла за вами, за то, что я обязана сказать, меня убьют. Сегодня же и, думаю, даже раньше, чем...

— Ираида Андреевна!..— громко прервала мать.

— Что? — Лера недоверчиво улыбнулась.— Убьют? За что? На каком основании?

— Убивают в одиночку каждый день. Это делают в подвале под колокольней. Из револьвера. Это совершенно не страшно, потому что вы спускаетесь по ступеням в темноту, и вдруг — выстрел в затылок. А расстрелы партиями проводят по ночам на Онуфриевом кладбище. Дорога туда идет мимо нашего барака, это бывший странноприимный дом. Мы назвали эту дорогу улицей Растрелли... Расскажите об этом там, это очень важно. Важно, чтобы там — там! — знало об этом как можно больше людей, иначе они не остановятся. И еще. Вы будете получать письма, но знайте, что вашей матери уже не будет на этом свете. И очень скоро они уничтожат всех, и никто ничего и уже никогда не...

Приоткрылась, тяжко скрипнув, дверь: на сей раз они услышали. Но никто не появился, донесся голос Дегтярева:

— Вадбольская, ко мне!

Женщина вздрогнула, точно ей уже выстрелили в затылок. Потом медленно поклонилась, шепнув «прощайте», и тут же вышла. Дверь за нею закрылась, и мать с дочерью вновь остались одни.

— Это несчастный, очень несчастный человек,— вздохнула мать.— Не верь ни единому слову, Лерочка, княгиня Вадбольская помешалась от горя.

И Лера с облегчением не поверила ни единому слову. А баба Лера вспомнила эту женщину, вспомнила слова матери, ее тихий вздох и неожиданную робкую улыбку:

— Ираида. Ираида, если помнишь, от древнегреческого «герой». В родительном падеже.

Кажется, и этих слов она тогда не восприняла. Все в ней было иным, ярким, праздничным, все отторгало этот странный мир серого неба и серого моря, серых камней и серых людей. А тут еще почти сразу вошел Дегтярев и сказал, что вот-вот должен отвалить паровой катер и что свидание окончено.

— Ваш муж ждет у выхода,— и неожиданно странно улыбнулся.— Приезжайте к нам, будем весьма рады.

Они пошли к пристани, опять торопливо говоря о чем-то совершенно необязательном, перебивая друг друга и недоговаривая. Странной Ираиды Андреевны нигде более не было видно, никто к ним не приближался, и из всего это последнего пути Лера запомнила только одну фразу:

— А знаешь, Лерочка, я ведь уже однажды была в Соловецком монастыре. В том злосчастном девяносто шестом: меня привезла сюда твоя тетя Варвара Ивановна Хомякова. Настоятель угощал нас дыней, которую монахи вырастили в оранжерее. Тогда здесь выращивали дыни...— И, обнимая, шепнула: — Помни закон толпы. Помни, мы все завещаем вам эту память.

Уезжали они обеспокоенными. Вернувшись в Москву, тотчас же принялись хлопотать. И не напрасно, поскольку очень большой начальник лично вытребовал к себе «Дело Н. И. Вологодовой».

На следующий день, что ли, пришло письмо от матери: первое после свидания. Лера так радовалась ему, так верила, что вот-вот... Потом с регулярностью в месяц пришло еще два: в последнем мама извещала, что ее вызывал начальник, прибывший из Москвы, вел с нею обстоятельный разговор и сказал, чтобы готовилась к освобождению. А еще через неделю пришло официальное извещение, что Вологодова Н. И. скончалась от сердечного приступа.

— Она не вынесла радости,— плача, говорила Лера.— Не вынесла...

Алексей молчал.

Ох, как нужны были бы эти письма бабе Лере сейчас! Но их изъяли при аресте, и она могла лишь вспоминать. И, упрямо вспоминая их, заставляя себя часами представлять каждую строчку, написанную маминой (в этом она не сомневалась и сейчас) рукой, Калерия Викентьевна спустя полвека открывала много нового. Того, что не могла осмыслить, понять, уловить в то время и что сделалось таким ясным, таким очевидным теперь...

Например, аккуратно указывая разные даты, мама в сущности писала одно и то же, не только не делясь мелкими житейскими новостями, но и строя свои письма так, словно не было у них свидания: в двух письмах упоминался Кирилл, и если в одном мать просто беспокоилась за его судьбу, то во втором почему-то предполагала, будто сын ее в Праге. Лера и Алексей объясняли эту странность особым состоянием Надежды Ивановны, тем более, что при свида-

нии у Леры так и не хватило мужества сказать о гибели брата. Но мама тогда говорила о сне, о строках пушкинского «Узника», а письма об этом молчали. А в одном письме она назвала сопровождавшего их другим именем, но это они сочли опиской. А вот о том, почему ни в одной строчке ни разу не упоминалось о судьбе княгини Ираиды Андреевны Вадбольской, этого Лера и тогда понять не могла, но с неистребимым оптимизмом победившей молодости решила, что мама слишком мало знала эту странную особу и, с почтительным уважением назвав ее героиней, подчеркнула болезненное состояние ее души.

— Конечно, маму они убили,— сказала мне баба Лера.— Заставили написать письма, а когда мы уехали... Я до сей поры вижу чернильное пятнышко на ее пальце. И вполне возможно, что с пристани ее отвели в тот подвал под колокольней. Может быть, вместе с Ираидой Андреевной Вадбольской, которой выпал жребий передать через меня всю правду о Соловках, а я тогда этой правды не поняла.

— И вы истязали себя этими воспоминаниями всю зиму?

— Почему истязала? Спасала. Знание прошлого никогда не убивает, убивает незнание прошлого. Медленно, но неотвратимо, потому что меняет личность человека.

После ухода Грешника баба Лера одиннадцать дней не выходила из дома. Дров было много припасено и в холодной зале, и в сенях, и выходить не просто не хотелось — выходить было страшно. Боязно было выходить, потому что ей упорно казалось, будто у самого порога она непременно наткнется на окоченевший труп шагнувшего в метель, мороз и небытие Грешника. И тогда она стала вспоминать, стала черпать силы из прошлого, потому что сил этих уже не было в настоящем и не могло быть в будущем. И начала жить, и заставила себя на двенадцатый день выйти из дома.

Белым-бело было вокруг. Белым-бело.

Белым стало выморочное село Демово, белым — уцелевшие крыши и даже стены домов, белым — бывшие улицы и переулки, бывшие огороды и дворы, бывшие поля и бывшие луга. Все было до боли белым, но самой белой была Двина, и Калерия Викентьевна до слез всматривалась в окружавшую ее белизну.

— Вы не поверите, если признаюсь, что думала тогда не о лежащем где-то под снегом Трохименкове. То есть, конечно же, я не переставала о нем помнить, но, как выяснилось, у человека множество способов как хранения памяти, так и строя мыслей. И, думая о последнем человеке, покинувшем меня, я одновременно думала и о том, что в мире есть две господствующие краски: белая и зеленая. Цвет смерти и холода и цвет тепла и жизни. Даже не цвет — знак. Символ — это точнее. Вот о чем я думала, выйдя из дома на двенадцатый день. И поскольку вокруг господствовал символ смерти, то я успокоилась. Странно? Нет, естественно. Это жизнь всегда беспокоит и будоражит, а смерть заставляет размышлять о вечном.

Размышления о смерти вовсе не предполагают отказа от живого и теплого настоящего: они внутренне готовят человека к неизбежности расставания, они предполагают иную шкалу ценностей, заставляя пересчитывать прожитое по этой новой, всегда несоизмеримо более высокой шкале, где нет места мелким обидам, зависти, жадности, эгоизму, а есть вечные эталоны Добра и Зла, и человек, способный несуетно и бесстрашно заглянуть в собственную смерть, способен и посмотреть на собственную жизнь с иных высот. И тогда его не угнетает ни одиночество, ни ужас близкого конца: тогда страх переплавляется в бесстрашие, а мысли приобретают простоту и ясность. И баба Лера жила в осознанном спокойствии, ни в чем не поступившись ни своими привычками, ни сложившимся укладом. Все так же затемно растопляла печь, носила воду, неторопливо завтракала, накрывая стол со всей возможной тщательностью, и начинала готовить обед. На одного человека и ровно на один день, не позволяя уйти из обыденной жизни обыденному труду. Старательно убирала во всем доме, хотя ни сорить, ни следить более было некому, расчищала дорожки во дворе, а по вечерам читала, часто отрываясь и раздумывая о прочитанном, чтобы и это приятное занятие не превратилось исподволь в бездумную старческую привычку. Баба Лера прекрасно представляла все тайные козни старости, а потому старалась ни в чем не давать ей спуску. И только одно новшество допустила она в устоявшийся обиход: каждое утро, выйдя из дома, низко кланялась мысу, на котором лежала ее Анишa.

Зимние вечера оказались тягостно длинными. Если днем еще находилась работа, то к вечеру уже была перемыта последняя чашка и сожжено последнее полено. Чуть потрескивал фитиль лампы, скреблись мыши да шелестели страницы. И так шли дни.

С крещения характер зимы резко менялся: прибавлялось света и солнца, наливалось синевой небо и начинали все заметнее оживать птицы. Природа еще спала, но уже вздыхала и ворочалась, уже тронулись первые соки, уже накапливались, наливались, чтобы брызнуть непобедимой зеленой силой обновления. Калерия Викентьевна давно уловила этот ежегодный ритм, ждала его, веря, что пережила еще год, что теперь уж с каждым днем будет теплее, светлее и легче, что свет опять победил мрак и воскресил все живое. Но эти радостные признаки нынче не принесли ей привычного облегчения, а принесли беспокойство. Беспокойство ожидания, ибо ясно знала, что год этот — последний.

Так закончилась эта зима, прошла весна, а летом ушло и одиночество. Красногорские власти поставили ограду и крест на могиле Анисьи, школьники взяли шефство над бабой Лерой, регулярно навещали ее, приносили продукты. Появились туристы и рыбаки, экспедиции и отдыхающие, приехал на месяц я, наезжал Владислав из райцентра. Лето случилось тихим, солнечным, ягодным: последнее лето бабы Леры.

— Как же она зиму-то одна переживет, Владислав?

— Не будет она одна, не будет. Я ей очень милую старушку подыскал, бывшую учительницу. Вот проводит она своих внучат, и привезу я ее.

Владислав не успел привести милую старушку к бабе Лере. Намеревался в начале сентября, но девятого сентября 1974 года поздней ночью меня разбудил длинный междугородный звонок. Спросонок я долго ничего не мог разобрать: уж очень трещало в телефонной трубке, а голос Владислава был еле слышен.

— Бабу Леру убили...

— Что?.. Что ты сказал?..

— Следователь говорит, стол к чаю накрыт был. Она, значит, чайку дорогим гостям, а ее...

Он говорил еще долго, потому что я лишился голоса. Я пытался перебить его, о чем-то спросить, но мне пережало глотку.

— Представляешь, она — хлеба кусок, а ей...

— Поймали? Поймали, спрашиваю?

— В Котласе взяли с иконами. Три мешка икон тащил, вот его и приметили. Из-за икон, сволочь...

— Кто он?

— Фамилией интересуешься? Ну, так Морозов его фамилия, вот и все, что пока знаю. Вылетай на похороны.

Нас давно разъединили, в трубке звучали короткие гудки, а я все еще прижимал ее к уху. Долго прижимал, очень долго. Потом опустил на рычаг, прошел на кухню, достал почему-то кусок черного хлеба, положил его перед собой на стол и заплакал...

1980—1987

Олег ШЕСТИНСКИЙ

МОИМ БЛОКАДНЫМ ОДНОКЛАССНИКАМ

Мы, как взрослые, познав утраты
на пути трагическом своем,
все ж под именем детей блокады
в Русскую историю войдем.

Да, войдем... Я утверждаю точно,
ибо выпал каждому удел,
где и ад с жаровнею полночной
перед детской мукою бледнел.

Впрочем, что о славе и об аде!
Вечное и сущее пойми,—
мы ведь вырастали там, в блокаде,
стали неподкупными людьми!

Кем же мы сохранены с тобою,
что за силы нас, детей, спасли?
Вызволены армией, судьбою,
милосердием Большой земли.

Это правда. Но перед веками
правда стать обязана верней,—
спасены мы были матерями,
пусть не от скорбей, но от смертей.

Мы, их сыновья, в застолье встанем,
праздной речью не обманем их,
умерших — святой слезой помянем,
поцелуем — матерей живых.

Дорого застолье, но и пусто...
Сколько одногодков полегло,
не успевших сотворить искусство,
взвиться в небо, уничтожить зло!

На ветрах, губительных и резких,
не мемориальною порой
засыпали новых Лобачевских,
новых Пушкиных землей сырой.

Братья! Мы, как остров малолюдный,
где прошел великий бурелом,
неулыбчиво, дорогой трудной
в море человеческом плывем.

Братья! Время размышлять тревожно,
ибо можем мы лишь с тех высот
оценить, что в нашей жизни ложно,
и познать,— идем ли мы вперед?

ИСТОРИЯ

Нас и корежило, и мяло,
испытывало на излом...
Но как непостижимо мало
мы знаем о пути своем!

Не стану приводить примеры
того, о чем не знали мы.
А ведь без знанья — нету веры,
сердца печальны и умы.

Лишь об одном скажу...
Мы зрели,
в блокаду выжив, но опять
при страшном «ленинградском деле»
жизнь перестали понимать.

Ну, почему студент с протезом,
хвативший горькое житье,
вдруг причислялся к мракобесам
и исчезал в небытие?

Ну, почему в простор вселенский
уплыл из камеры тюрьмы
звездой
наш ректор Вознесенский.
Страдали мы. Молчали мы.

История! Ты нас возвысишь,
когда, сурова и проста,
с большою правдой к людям выйдешь,
разверзнешь сжатые уста.

История! Скажи о людях,
в свой час не понятых страной,
оставшихся в нелегких буднях,
оттуда машущих рукой.

За все, чем нынче знамениты,
помянем в строгой тишине
борцов, покинувших орбиты
совсем не по своей вине.

Не нужны бедные брюзжанья
и скопидомский счет потерь,
но и парадные бренчанья
невыносимы нам теперь.

История! Из нелюдимой
согбенной сборщицы вестей
стань пламенной, неукротимой
воительницей наших дней!

БАЛЛАДА О МАТЕРИ

Серо Ханзадяну

Молодой политрук девятнадцати лет
под Синявином вскинул именной
пистолет:
«В бой за Сталина, красноармейцы!»

Под Синявином холода да топь...
Ко́лом, словно из жести, шинели.
Под Синявином холода да топь...
Неподвоз... Двое суток не ели.

Молодой политрук, девятнадцать годков,
посиневший от стужи, убеждает
стрелков:
«В бой за Сталина, красноармейцы!»

А у них уже нет человеческих сил,
как бы он ни орал, ни страдал,
ни просил...
Припаялось сукно к снежной корке
в их окопе на стылом пригорке.

Но в полку —
через фронт перешедшая мать,
из блокады пришедшая мать,
как в полку оказалась,—
не могу я сказать.
Все ли можно на свете узнать?

Эта женщина в траурном вдовьем платке
в чахлом, чавкающем леске
перед взводом упала на колени...
Сперва
в горле лишь клокотали слова.
К задубевшей шинели
бойца-пареньки
прикоснулась на зябком рассвете,
и из уст ее хлынули гнев и тоска:
«Умоляю... Спасите... Там дети...»
Мать согнулась в снегу,
словно черный комок,
скорбью взвод поднимая
с надломленных ног.

Встал боец-паренек,
а вослед и второй...
Молодой политрук вместе с ними...
И от пышных сугробов передовой
в бой пошли на врага чуть живыми,
в бой пошли, и была с ними храбрая мать
на суровом рассвете,
что способна была лишь одно повторять:
«Умоляю... Спасите... Там дети...»

Тот боец-паренек
ныне друг мой Серо,
чем отвечу ему на святое добро?
Я ведь сам из блокады той давней.

А Серо вспоминает:
«Склонилась к нам мать,
были б мертвыми даже,—
должны были б встать...
Просит мать —
отзовутся и камни».

◻ ◻ ◻

Ну что, деревня как деревня.
Поля. Смородины кусты.
Сквозь купол церковки — деревья.
Даль августовской чистоты.

У глинистой дороги — просо.
Поодаль — иван-чая цвет.
Но не уйти мне от вопроса,
и душу мучает ответ.

Зачем, решительны и резки,
по храмам и монастырям
громили комсомольцы фрески,
давая волю топорам?

И, как нашественник заправский,
безбожников веселых рать
повел товарищ Ярославский
кресты и кладбища сметать.

Они не ведали дороги,
что выпадет им на веку:
одним — в московские чертоги,
другим — в морозную тайгу.

Не ведали на щебне склепа,
киркой и ломом тешась всласть,
что им под огненное небо
идти и за Россию пасть.

Им не припомнился ль с обидой
позор их молодых годков,—
тот ангел с головой оббитой
и космос без колоколов?

Ну что ж, признаемся в печали,
в деянья прошлого глядясь,
что русскими осознавали
себя мы медленно подчас.

...Сидят на лавочке старухи.
Взгляд не свожу с их горьких рук.
По камню храма-развалюхи
ползет — знак весточки — паук.

Я шел и думал,
что за помесь
добра и зла сотворена...

Ах, только б не заглохла совесть
у нас... Ах, только бы она!..

Владимир ЛЯЛЕНКОВ



Роман

Рис. А. Пахомова

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Сергеевна стоит на коленях перед кроватью. Из-за пазухи выкладывает деньги на одеяло. Рядом лежит фанерка и кусочек мела. Деревня готовится к какому-то своему празднику. Съедутся отовсюду родственники, гости. Сергеевна побывала в Новогорске, продала яйца, масло, зеленый лук, два куска телячьей кожи собственной выделки. Она неграмотная. Письма от дочери я ей читаю и перечитываю. Пишу письмо под ее диктовку.

— Боренька, ты не бежишь нонче вечером никуда? — спросит она.

— Нет,— говорю я, зная, в чем дело,— я сегодня совершенно свободен. А что?

— Письмецо бы написать Галине...

И вечером мы пишем. Первое время я писал только с ее слов. И писали мы каждое письмо подолгу. Она то и дело сбивалась, повторялась. Теперь поступаем так: она рассказывает мне о том, что хочет сообщить. Потом сидит, молча смотрит на меня. А я пишу.

— Гладко-то, гладко-то,— качает она головой, улыбаясь, прослушав написанное мной,— и про телушку-то написал! Ох, Боренька, да откуда же ты узнал, о чем я вчерась вечером думала?

— Вы же мне говорили...

— Когда же? Ох, память-то совсем растерялась...

Нашептывая что-то, она раскладывает деньги по купюрам: рубли в одну стопку, пятерки в другую. И мелком пишет палочки на фанерке различной величины. Когда все деньги разложены, она обшаривает себя всю, не затерялся ли где рубль. Смотрит на фанерку. Думает, думает, разом поднимется с колен, вздыхает. Задача решена.

— Сколько выручили, Сергеевна?

— Пятьсот сорок четыре рубля.

— А не ошиблись?

— Как же ошибиться, Боря? Чай не листья, а деньги!..

Запрятав деньги в сундук, она проходит к печке.

— Боря, помоги вздынуть,— просит она.

Я поднимаю бочонки на печку. В одном сусло для пива, в другом затворена бражка. Водки куплено пять бутылок, они запрятаны в сундуке. Водка и пиво для дорогих гостей, бражка — для всех, кто зайдет в избу во время праздника.

— Что празднуете, Сергеевна?

— Ильин день.

— Название я уж слышал. Но что отмечают этим?

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1988, № 11.

— Да как же... Каждый год праздник этот, Боренька. Это давно ведется. И отцы наши праздновали. Вот погоди, на второй неделе, в субботу, съедется народ. Галина приедет с мужем. Что народу-то будет!..

Баранов ездит по бригадам, предупреждает:

— Бабы, смотрите: праздновать только один день!

— Хорошо, Алексей Михалыч, нам-то что? Нам гостей наугощать, а больше нам ничего и не надо!

— В самый разгар сенокоса этот праздник,— возмущается председатель,— каждый день дорог. Российское хлебосольство припутывается, гости, видишь ли, наедут, угощать их надо!

Он просит меня отослать рабочих в Кедринск накануне праздника.

— Устроят поножовщину, пойми ты!

Я бы отослал их, но это не в моих силах. Все наслушались о празднике: в любую избу заходи кто хочет, садись за стол, ешь, пей, гуляй... В двух банях у ручья гонят самогон. На бугре под сосной дежурят с утра до вечера два подростка: следят, не появится ли участковый Верейский. Он работает около года, до него здесь был некий Василий Демьянов, любивший выпить. С деревенскими жил мирно. Верейский же строг, говорят, у него «внутри какая-то болезнь», потому не пьет спиртного и за самогон строго наказывает.

Ко мне прислали жуковцев и бригаду женщин-разнорабочих, среди них Молдаванка. Еще больше потемневшая лицом, она работает в одном белом платье.

— Никуда от нас не денетесь, Борис Дмитрич!

На второй же день сошелся я с ней утром на берегу озера, она тоже пришла купаться.

— И вы купаетесь? Будем вместе!

Она стала стягивать через голову платье, я пошел прочь.

— Куда же вы, Борис Дмитрич, я вас не утоплю!..

Бригаду Жукова разделил на две партии. Одна работает в Заветах, другая здесь. Работа идет полным ходом, и мне, собственно, делать совершенно нечего. Можно познакомиться с другими колхозами. Если там есть материалы, я останусь здесь, если нет — уеду в Кедринск.

Центральная деревня «Красного пахаря» Хомутовка в семи километрах от Вязевки. Не доходя километра до Хомутовки, я увидел возле дороги каток, каким укатывают дороги. Грязь кончилась. Дорога засыпана песком, смешанным с гравием, и отделана с обеих сторон кюветами. Лес оборвался. Картофельное поле тянется далеко-далеко. На поле нет ни одного кустика. Деревня. С удивлением вижу, что все избы обшиты тесом, во дворах садики, чего нет в других деревнях. Огородов нет, похоже, будто поле подступает прямо к избам. Правление покрыто шифером. Старичок, похожий на вязевского бухгалтера Иваныча, говорит, что председатель Волховской у себя дома.

Волховской безобразно толст. В ситцевой косоворотке, обтягивающей пухлую спину, он принимает меня в своем домашнем кабинете. Стол завален книгами, брошюрами, счетами.

— Садись, садись,— хрипит он, оглядывая меня маленькими заплывшими глазками. Достает из стола смету.

— Я знаю, как вы строите... М-м-м,— ему даже говорить тяжело,— но я строю не за дядины деньги, а за свои... Лес и доски у меня заготовлены. Стоимость их учтена в смете, так что или сразу нужно смету переделать... А если времени нет, вот у меня составлен акт на возврат денег... Девяносто тысяч рублей там. Как сделаем? Мне все равно: что заплачу, а потому заберу. А можно и не канителиться...

— Давайте по акту вернем деньги при расчете. Возиться со сметой...

— Ну и добре. Варька! — кричит он, не оборачиваясь к двери.

Появляется девушка лет семнадцати.

— Пойди, дочка, позови Алексея.

И мне:

— Это у меня свой строитель будет. Он тебе все покажет. С ним решайте все вопросы.

Волховской зашелестел бумагами.

Я выхожу на крыльцо. Вернулась девушка.

— Сейчас придет...

Алексею лет двадцать. Он ведет меня за правление, здесь стоит новая пилорама иркутского завода с мощным мотором; обе рябухи ведущие. Два штабеля досок, тут же свалены бревна. Я молча хожу за проводником. Место для постройки мастерских и коровника уже выбрано.

— Подвесную дорогу пустим вот сюда,— толкует Алексей,— тамбуры к выгону, а окна молокосливной в сторону деревни будут глядеть.

Я поинтересовался, кем он работает в колхозе.

— Сейчас к строительству прикреплен. Буду с вами работать. У меня отец плотничал. Я с вашими людьми поработаю, чертежи научусь понимать. Потом сами строить будем.

— Ну, давай посмотрим...

Расстилаем на траве чертежи.

В этот день из Кедринска приходит бригада Поспелова. Я направляю ее в Хомутовку. В бригаде восемнадцать плотников.

Впервые за свою практику выписываю бригаде аккордно-прогрессивный наряд.

На другой день иду в «Искру».

Узкая лесная дорога приводит меня в деревеньку Горбово. Перед правлением стоит белый жеребец, запряженный в двуколку. Когда я подхожу, из правления выбегает рослый мужик в кожаной куртке. Крикнув что-то за спину, садится в двуколку. Лицо его красно. Это председатель Бурунов, писавший заметки в газету под рубрику «Вести с полей». Я жестом задерживаю его, он выслушивает меня. Ударяет вожжой по жеребцу.

— Это теперь меня не касается,— бросает он со злостью,— здесь новые хозяева. А ну пошел!

И жеребец уносится крупной рысью.

В правлении полно народу, накурено. Пробиваюсь к столу и от бухгалтера узнаю: Бурунова сняли с работы. Колхоз подал на него за какие-то махинации в суд. Вместо Бурунова выбрали Самойлову Пелагею Митрофановну. Сейчас она в районе. Документы для строительства пришли, но где именно строить надо, еще не решили. Нужно ждать Самойлову. Досок нет, пилорамы нет. В лесу есть заготовленные бревна, их надо вывезти.

— Придется ждать...

— Да...

Колхоз «Заря» находится в противоположной стороне. Туда я прихожу день спустя. Договор подписан Никовским, но вместо него уже работает председателем Стожков Иван Ефимович, он из местных. Он ведет меня по лесной тропинке из центральной деревни Шибаево в забытую богом деревушку Сосково и говорит спокойно и сильно окая:

— По теперешнему положению я, конечно, обязан предоставить вам и лес, и все прочее, но у меня ничего нет. Да и где ж я возьму? У нас есть сосновый бор за болотом. Но заготовлять лес хорошо зимой... Я могу сказать вам, что такой большой коровник нам и не нужен. Никовский же в районе был, не я... Кого же содержать в таком помещении? Так что вы меня извините, но только у меня ничего нету... Я бы кузню хорошую построил,— тихо заканчивает он.

— Почему в Сосково решили строить?

— Да ведь как вам сказать... Тут сенокосы богатые, много травы пропадает. И пруд в самой деревне, вода близко. Чистая, хорошая вода. Ключи здесь у нас бьют.

Пришли в Сосково.

Три улицы образуют разомкнутый треугольник. В середине его заросший квадратный пруд.

— Где же будем строить? — спрашиваю я лениво.

Стожков озирается.

— Да вот... места много...

— Надо к воде ближе...

— Да.

— Ну здесь, что ли? — Я делаю шаг от камыша, пятясь задом, показываю, в каком направлении вытянется строение.

— Да, да. Давайте так...

Он соглашается, но выражение лица его и голос таковы, будто он только что очнулся от обморока и не понимает, что именно происходит вокруг...

На обратном пути я покупаю в Шибаево большую бутылку вина, кусок сыра. Бреду по дороге, прихлебываю из бутылки. Вдруг нахлынуло на меня, растворилось во мне чувство безразличия ко всему. Вот только эта зеленая чаща леса с обеих сторон, сладкий воздух, какие-то птицы поют. Рябчик сорвался с ветки. Они всегда с таким шумом срываются, а далеко не улетают, садятся близко. Напрасно ружье не взял... Кто я такой здесь? Нужен ли я здесь? Нет, ну серьезно, спрашиваю я громко, останавливаюсь, на кой черт я ходил к Стожкову?

Я отвел руку назад, прицелился, и бутылка разбилась о ствол ели. Потом я ползаю в малиннике. Потом, добравшись до Вязевки, покупаю водки, иду к Баранову. Он почему-то молчалив, но это не имеет значения. Мы с ним чокаемся, и я спрашиваю, знает ли он, что такое инженер-строитель? Знаю, говорит он. Ни черта ты не знаешь, ты председатель. Инженер строит города! Заводы. Он мыслит. Ты знаешь, Михалыч, когда инженер смотрит в чертеж, он читает целую поэму! А я должен строить у тебя из воздуха сарай на две тысячи куриных голов. Когда начну его строить? Когда дашь лес. Давай еще выпьем. Я сегодня пью, завтра буду пить, а приедет Гуркин, я ему дам по роже. Хотя нет, я его не трону. Я буду пить, а меня отсюда уберут. Понимаешь?.. Не валяй дурака, это самое последнее дело... А я самый последний инженер! Я здесь хожу в день по тридцать километров и больше ничего... А я хочу работать... Я сегодня уйду в Кедринск, Михалыч, у меня там есть девушка... В таком виде ты перед ней явишься? Ну и что ж, она славная, она... Ты обедал сегодня, спросил он, садись, похлебай щей. Не хочу я щей, я пойду домой. Думаешь, я пьян? Нет. Я пойду. Ну пока...

Я пришел в Клинцы и сел писать докладную Гуркину. Я написал много и лег спать. Утром перечитал написанное, порвал и написал снова. Я сообщил о состоянии дел и попросил, после сдачи объектов в Клинцах и в Заветах, перевести меня в Кедринск. В противном случае я подам заявление об увольнении меня из СУ.

Докладную отсылаю с нарочным, который везет на подпись главному инженеру аккордные наряды Поспелова. Этот же нарочный приносит мне ответ Гуркина.

«Товарищ Картавин,— пишет он,— вы являетесь молодым специалистом в Советском Союзе и как вам не стыдно, получив загробленные средства на высшее образование, которое представлено партией и правительством, не выполнять долга перед родиной. Я узнал, что ты комсомолец, и тем более непонятно твое нытье перед трудностями, встающими на путях. А также занятия с докладными записками, которые являются развитием бумажной бюрократии, что недопустимо в твои годы при нашей действительности. Лучше бы надо подтягивать сознательную дисциплину, а то, как мне сообщили, после получки рабочие твои пьянствовали, а ты не только их не отвлекал от этого, а сам с ними выпивал. Чтобы такого не было больше. И представь в контору процентовку по коровнику и кровле свинарника. Почему задержка в этом? Вот что надо делать, а не писать бумаги. А также дай знать о дне сдачи — приемки объектов...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Накануне праздника в Вязевку приезжают кинопередвижка, артисты. С ними два поэта и лектор. Лектор, сухой, длинный человек с громадным портфелем и очень подвижный. Отыскал завклубом брата Полковника Василия.

Устраивают сцену. Артисты прогулялись к озеру, потолкались в промтоварном магазине. Часам к восьми собрался народ в клуб. Лектор объявил программу: сегодня будет прочитана лекция на тему «Современность и рели-

гия», выступят поэты, артисты; покажут первую часть двухсерийного фильма. Завтра артисты дадут еще концерт и покажут вторую часть фильма.

Сказав об этом, лектор зачем-то скрывается за кулисы, моментально появляется и уже другим, более официальным тоном около часа говорит о религии, о том, кому она нужна и для чего. Едва лектор скрылся, на середину сцены вышел рослый и здоровый парень в черном костюме. Он вскинул руку вверх, произнес:

— «Россия»! Стихи.

Помолчал, глядя в потолок, встряхнул стриженой головой. Читает он громко и не торопясь. Но поймать, прочувствовать смысл слов трудно. До всех долетают строчки, которые он особенно громко выкрикнул:

Они ругают все
И всех бранят,
Но сало русское едят!

Парень прочитал еще стихи о земле, на которой выросла какая-то чудесная яблоня. И как мозолистые корявые руки гладили тонкую кожицу яблони, как это было ей приятно. И она одарила эти руки замечательными плодами. Зимой же мороз набросился на яблоньку, хотел уничтожить ее. Но... И тут поэт опять возвысил голос:

...Металась вьюга злей и злей,—
Она согретая стояла
Теплом тех грубых мозолей!

И хотя последовали еще три веселые басни, осталось впечатление — он чем-то недоволен. Выступил еще поэт, худенький, видом робкий мальчик. Но, читая стихи, тряс головой, почти кричал и топал ногой. Читая какое-то длинное стихотворение, он почему-то вдруг умолк. В зале подумали, что он забыл, и кто-то хихикнул. Но тут же мальчик опять вскинул голову и докричал до конца. Потом выбежала на сцену маленькая, стройная женщина в черном трико, за ней мужчина и тоже в трико, но в красном. Публика охнула... После этой пары очень полная женщина пропела под гармонь несколько русских народных песен. Потом показали фильм о баптистах, которые довели девушку до самоубийства.

В потемках публика расходится, обмениваясь впечатлениями.

Голос Полковника кому-то толкует о фильме:

— Это шпионы все подстроили. И этот, который был с девкой связавшись,— контра. Я знаю. В Тихвине, помню, были такие, они против хлебной поставки шли. Их к стенке ставили...

Ночь я провел на сеновале: приехали дочь и зять Сергеевны. Я бы всегда спал на сеновале, но петух не дает спать своим криком.

Утром во всех избах шумно. Льется из ковшей брага в стаканы. Смех, говор, крики. К Сергеевне пришли дедко Серега, Аннушка, Аленкин, человека четыре совершенно неизвестных людей. Дедко Серега обнимает меня, лезет целоваться.

— Пей, Борис Дмитрич! Ноне праздник! Вся Россия гуляет! — кричит он.— Вот мы, как с тобой, о? Сработались? Ни гвоздика у нас не пропадает в строительстве?

Я о чем-то разговариваю с Галиной, с мужем ее, который держится чинно, то и дело отряхивает с бортов пиджака крошки, приглаживает рукой волосы. Окна в избе открыты, и я все время прислушиваюсь, не доносится ли шум драки. Кое-как удается выбраться на воздух. Меня беспокоят чикинцы. Захожу в их избу — пусто. У солдат тоже нет. Кто-то подсказывает:

— Они у Моти на чердаке.

На чердаке такая картина: стоит ведро с брагой, стаканы, закуска. Вокруг импровизированного стола чикинцы. Из темных углов доносится сдавленный женский смех, мелькает красное лицо Маруси Раевской.

Я спускаюсь на пол, зову Двоякова. Говорю ему, чтобы немедленно собрал все пики и отдал мне. Голова его исчезает. Тихо. Появляется косматая голова Чикарева.

— А потом отдадите?

— Быстро давайте сюда, иначе завтра всех отправлю в Кедринск.

Десять острых, как бритва, пик выбрасываю в уборную. На душе покойней. Взять бы ружье, побродить по лесу, но покинуть деревню не решаюсь. Жуковцы собрались все вместе, сидят за столом. Бригадир играет на гармошке, два деревенских парня отбивают русскую.

— Данилыч,— шепчу я бригадиру,— ты смотри, в случае чего, разнимай...

— Знаем, знаем, Дмитрич... Садись-ка сюда...

В полдень вся улица запружена народом. Тут и милицейские работники, и солдаты, и железнодорожники, пожарники, продавщицы из кедринского магазина — все, кто покинул деревню, приехали на праздник. Все хмельны. Смех, крики, пляски. Компания баб во главе с Мотей Раевской, в обнимку и качаясь, почти бегут по улице. Лица их красны, потны, они улыбаются и дикими голосами выкрикивают слова какой-то песни. Вдруг круто сворачивают и вваливаются в избу Сергеевны.

— Гришчиха, тудыть твою мать, полно одно только начальство потчевать! Угощай нас, загулявших баб! Где твой начальник? Плясать будем! И-их! Их! Их!..

Когда уже стемнело, я пробираюсь к своей избе. Брага, и водка, и вино, и пиво сделали свое дело. Голова моя кружится, земля поднимается на меня. Только бы добраться до сеновала. Но чьи-то фигуры окружают меня, они дергаются, хохочут. Кто-то тянет за руку. Я хочу вырваться, сознание проясняется, и я узнаю Молдаванку. С ней несколько подруг.

— К нам зайдите, Борис Дмитрич!

— Пойдемте!

Меня усаживают за стол. Я залпом выпиваю стакан водки вместе с девушками. Голова моя распухает, сам я делаюсь необычайно широким. Вдруг уменьшаюсь, трясу головой. Мелькают колени, руки, стучат каблуки — четыре женщины пляшут. Напротив меня в углу под иконой сидит разнорабочая Суворова, перебирает струны гитары, поблескивая золотым зубом, поет, ни на кого не обращая внимания:

Ах, мама милая,
Ты не ругай меня.
За то, что в жулика
Я влюблена.
А эти жулики — люди свободные,
А на ногах носят да прохоря...

— Мастер, пляши с нами! — кричит Молдаванка.— С холостыми бабенками.

Передо мной дрожат ее раскинутые руки. Она быстро и легко отбивает чечетку. Резко садится рядом, губы ее почти касаются моего лица.

— Чего грустишь? Зачем ты грустный! Ведь нравлюсь я тебе, да? У тебя есть здесь подружка? Нету? — От этого шепота я моментально трезвею. Пошатываясь, выхожу в сени...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Праздник длился два дня. Вот чрезвычайные новости. Секретарь сельсовета Вахрушев перебил в своей избе посуду, изрубил мебель. Старик-отец пытался унять сына. Тот выбросил его в окно. Старик лежит в больнице. Секретаря связали, заперли в колхозную кладовую. Кинопередвижку кто-то угнал за Тутошино, машина застряла в кювете.

— Ну, кончилась вальпургиева ночь,— говорит Баранов,— отвеселились...

Мы обошли вокруг свинарника. Плотники заканчивают последние перегородки, прибивают дверцы. Чикинцы заканчивают отмостку. Девчата белят стены.

— Когда вызываем комиссию?

— Через недельку. Давай на двенадцатое число...

Я сообщил своему начальству, Баранов — в райком.

В назначенный день приезжает сам Холков. С ним зоотехник Варварова, Иванов, главный пожарник района и наш Самсонов. Торжественно комиссия обходит сначала вокруг свинарника. Рабочих я уже отослал в Заветы. На всякий случай оставил двух жуковцев и чикинцев. Последних оставил, потому что иначе поступить не смог: ведь свинарник — это их первое дело, принявшее законченную форму. Нужно сказать, что, как только строительство сдвинулось с места и дело двигалось к окончанию, они подтянулись. Только, кажется, у Шевырева осталось безразличие к работе, но и оно внешнее. Живя с клинцовцами, для которых «каменный» свинарник с шиферной кровлей, с выкрашенными краской дверьми, побеленный, с отдельной кормокухней с печами есть нечто из ряда вон выходящее, очень важное и нужное, чикинцы заразились этим взглядом на свое строение. И по тому, как они расспрашивали о комиссии, как бросались исправлять какой-нибудь брачок, я понял, что им важна оценка комиссии, и они хотят присутствовать во время сдачи-приемки. Живописной кучкой они расположились на траве под высоким тополем. Старая рабочая одежда на них изорвалась до предела. Я им выписал спецовки, кое-что каждый из них приобрел для выходного дня. Но им нравится щеголять в прежнем наряде. Посмотреть на них глазом постороннего человека — это компания каких-то бродяг.

Заметив их, Холков задерживает шаг, спрашивает меня тихо:

— А это кто такие?

— Мои рабочие.

На фронтоне прибит силуэт поросенка, вырезанный из фанеры, и на нем выжжено: «1957 год». Это дело рук Чикарева. Холков снисходительно улыбается. Аленкин продемонстрировал работу подвесной дороги. Комиссия вошла внутрь помещения. Холков ударяет ладонью по жердям перегородок:

— Каково, Алексей Михалыч? Дворец у тебя, а? На веки вечные построен. Теперь давай хозяйничай, не подкачай.

Баранов что-то отвечает. Пожарник заглядывает в топки печей, что-то нюхает. Забирается на чердак, спустившись, говорит секретарю, что надо бы опробывать печки. Строители часто портачат в дымоходах. Чикинцы моментально растопляют. Тяга хорошая. Свинарник принимают с оценкой «хорошо».

Перед отъездом комиссии я говорю Холкову о положении дел в «Заре» и в «Искре».

— Да, это скверно,— говорит он, забираясь в машину,— мы обсудим этот вопрос. Решим.

На следующий день — заселение свинарника. С утра почти все клинцовцы ожидают на бугре стадо, которое должны перегнать из Зябиловки. Свинарки во главе с Мотей Раевской одеты в синие ситцевые халаты, в резиновые сапоги. Они взволнованы.

— А может, нонче не погонят? — сомневается Мотя.

— Погонят, погонят...

Наконец из лесу показалась пятящаяся задом женщина в коротком рыжем полушубке. В руках она держит кастрюлю, то и дело сует ее под нос громадной поросной свинье. Та движется за кастрюлей, а за ней по тропинке и гуськом тянется все стадо. За стадом человек тридцать зябиловских людей. Свиньи грязны, худы. С длинными мордами, как у борзых собак. У некоторых хребты изогнуты дугой, кожа плотно обтягивает позвонки. Я никогда не видел таких худых, страшных свиней, даже во время войны. У дверей свинарника стадо скучилось.

— Нажимай! — раздались крики.— Со всех сторон! Разом!

Поросная свинья замерла в дверях, насторожилась. Задрала рыло, громко хрюкнула и шарахнулась назад. За ней все стадо.

Около часа люди бились с животными, но загнать не могут.

— Не ндравится им твой дворец, Дмитрич!

— Несите веревки! Веревки давайте! Будем затаскивать по одному. Сами не пойдут.

— Не пойдуть. Мотька, тащи веревки из кладовой!

Появляются веревки. Началось сражение.

Первой затаскиваают поросную свинью. Аленкин продергивает веревку у ней под брюхом, человек восемь наваливаются на нее, тянут за ноги, за уши. Чья-то рука ухватилась за хвост, и я думаю, что сейчас хвост оборвется. В воздухе стоит рев и визг. К концу дня свиньи затащены, лежат в стайках. Зарывшись мордами в солому, тяжело дышат. Беда случилась только с одним поросенком. Худой — кожа да кости — и горбатый, он вырвался из людского кольца, по-заячьи поскакал прочь и свалился в овраг. Он поломал передние ноги, и его прирезали.

Потные, усталые и возбужденные люди расходятся по домам. А утром, когда я завтракаю, в избу приходят свинарки во главе с Мотей.

— Борис Дмитрич, не надо нам машины. Устройте нам котел,— заявляет Мотя,— такой котел, как и в Зябиловке!

— Какой машины не надо?

— Запарника этого с мометрами. Мы боимся его. Котел нам устройте.

— Да вы что, бабы?

Я объясняю, насколько кормозапарник удобней котла.

— Вчера же вам объясняли, как обращаться с ним. Чего же вы молчали? Баранову почему не говорили?

— Да вот молчали, а теперь не хотим. Он может взорваться от пару.

— Кто вам сказал?

— Да сам же председатель вчера говорит: «Глядите за мометром, не пропустите момент, а то взорвется».

— Ну пойдемте, я вам покажу еще раз. Не взорвется он.

— Не надо нам показывать,— Мотя топает ногой,— не надо и все! Дайте нам котел. Не хотим мометров. Или нехай бригадир увольняет нас от этого дела. И сапог нам не надо, и халатов не надо.

— Не надо, не надо,— заговорили остальные.

— Хорошо... Я поговорю с Барановым...

Днем установили в кормокухне громадный котел, привезенный из Зябиловки.

Председатель ругается:

— Черт знает что! Всякое терпение может лопнуть! Спутник запустили в космос, а тут манометра и термометра боятся! Чего ты улыбаешься?! — с ненавистью смотрит он на меня...

Через неделю три поросные свиньи, потрясенные затаскиванием, опоросились мертвыми поросятами.

Аленкин и дедко Серега закопали их в овраге...

Подкралась осень. Моросят дожди. На дорогах непролазная грязь. Даже трактор, тащивший сюда сани с кирпичами, застрял. Он зарылся по радиатор в грязь и простоял в лесу сутки, покуда его не вытянули двумя тракторами.

Я превратился в «ответственное лицо». Как инженер я совершенно здесь не нужен, как организатор тоже. Я здесь должен находиться, потому что, если что-либо случится, нужно кого-то призывать к ответу и наказать. Ну и, конечно, я должен закрывать наряды. Плотники заняты своим делом только у Волховского. Работают они с утра и дотемна. Если они не собьют взятый темп и к двадцать пятому числу закончат стены коровника, у них получится заработок — рублей по сто сорок в день на человека. Это с учетом прогрессивки. Жильем и питанием поспеловцы довольны. Волховской расселил их по два человека в избе. Выписал им мяса, молока. Мясные блюда получают они и утром, и в обед, и вечером. Алексей работает с ними. Когда копали ямки под столбы и траншею для фундамента молокосливной, он собрал человек пятнадцать деревенских парней. И траншея была готова за два дня. Хотя грунт попался каменистый. К стройке прикрепили лошадь, на ней подтаскивают бревна. Представляю, как засуетятся в бухгалтерии, когда туда попадут наряды Поспелова. Возможно, пришлют комиссию для проверки.

Коровник в Заветах уже заселен. И все рабочие, по распоряжению управляющего, переданы колхозу. Они косят овес, копают картошку. Им идет средний заработок, ну и, конечно, командировочные. В колхоз прислали еще студентов из Ленинградского технологического института. Для постороннего, равнодушного человека все это ничего особенного не представляет. Я делаю

простой подсчет. Получается, что себестоимость картофеля не меньше стоимости апельсинов, которые привозили из-за границы.

Шестеро студентов работают в Клинцах. Две девушки живут в избе Сергеевны, я уступил им кровать. Обе проучились по одному году. Обе румяные, с пухлыми щечками и симпатичные. Едой хозяйки брезгуют. С отвращением поглядывают на ее тарелки, ложки. Едят только батоны, привезенные с собой, консервы и пьют чай из своих чашек. Я для них — представитель лесной глуши, темный, не знающий городских радостей человек, который задумчиво слушает их лепет о концертах, фильмах. О том, что я учился в Ленинграде, я не говорю им.

Помню, когда я учился, мечтал поскорей окончить институт. Покидал его без особого сожаления. А тут в один из вечеров вдруг очень даже взгрустнулось. Заглянул в домик учительниц. Встретила меня Ленина; личико припудрено, в новом цветастом платье, в котором стала еще тоньше. И под которым едва-едва обозначились груди. Она всплеснула руками:

— Это вы! Что так долго не заходили? Галя вам привет передает, спрашивает, как вы здесь поживаете. И просит передать вам, что она ни о чем не сожалеет. Я не поняла ее. Наверное, что-нибудь не так хотела выразить.

— Почему она не приехала до сих пор?

— Она и не приедет. Прислала директору справку, что больна, просит выслать ей документы.

— Вот как...

Ленина была возбуждена, поставила самовар. Вскоре пришел в домик сын ветеринара Соснина. Мы пили чай, я болтал что-то, Ленина смеялась. Соснин молчал, и я оставил их наедине. На другой день встретил Ленину, когда она бежала от школы к домику.

— Лениночка,— крикнул я,— когда свадьба? Меня пригласишь?

Она засмеялась, сказала «хорошо, обязательно» и убежала...

Славная девушка.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Оказавшись «ответственным лицом», которое начальство может вздуть за чей-либо проступок, естественно, я поставил перед собой вопрос этического характера: что мне делать, то есть как вести себя?

Если исходить из того, что я все-таки строитель, то должен с утра уходить в Хомутовку. Запыхавшись, появляться там, проверять работу, о которой я заранее знаю, что она хороша. Что-нибудь советовать плотникам, возмущаться какими-нибудь недостатками, без которых невозможно ни одно дело. И о которых плотники знают лучше меня. К полдню я отправляюсь обедать. Потом буду звонить в контору зачем-нибудь. Наконец уеду в Кедринск. Сердясь и возмущаясь, побываю в парткоме, в конторе, заведомо зная, что толку с этого никакого не будет. Делать я ничего не буду, но буду занят, и в глазах окружающих буду выглядеть деятельным, напористым малым. И если случится что-нибудь, начальство не вздует меня, а пожурит.

Можно мне и здесь носиться как угорелому по бригадам, где работают рабочие. Проверять людей по списку. Уяснять, почему нет Иванова, Сидорова, отчитывать их. Самому бросить картошку в ведро. И спешить в другую бригаду и там бодрить людей делом, словом. И опять же: почему я должен подбадривать людей? На основании чего? То, что если картошка останется в земле и сгниет,— ясно любому ребенку. Но почему мои рабочие должны копать картошку? Эпоха, когда людей заставляли работать при помощи горловых связок и палки, прошла. Голые приказы пусть остаются в армии, указами, предписаниями пусть руководствуются юристы. Мысль, логика, расчет — вот после чего начинается работа. Но где логика, расчет, когда траншеи, ямы под фундаменты, выкопанные рабочими, залиты водой, оползают. Выкопав картошку, рабочие вернутся к траншеям, ямам. Будут копаться в грязи, зная, что затраченный ими труд пропал даром. Где логика и расчет? А следовательно и работы нет, а есть бессмысленная затрата сил. Как все объяснить людям? Можно, конечно, ничего не объяснять, плюнуть на все рассуждения и работать

вместе со всеми. Я так и делаю: неделю убираю овес в Заветах, неделю копаю с рабочими брюкву, морковь в Вязевке. Сейчас копаем в Клинцах картошку. А вечером — тоска. Читать я ничего не читаю, равнодушен ко всему. Схожу к дедке Сереге, к Аленкину. И там, и там выпью. К Баранову тащиться по грязи не хочется. В сырой темной мгле поброжу у склада. Влюбиться, что ли? Вот в эту юную румяную студенточку. В какую? Их две. А все равно, положим, в Сашу. Рассказать, кто я есть. Привести внешность в порядок, пустить пыль в глаза... Не я, так кто-нибудь другой все равно обманет... Жениться? Построить себе избу, обзавестись хозяйством, послать ко всем чертям трест и жить в деревне. Буду здесь вершить строительные дела... Иногда, покуда Сергеевна не «забралась на насест», как она говорит, ложась спать, слушаю ее рассказы. Оказывается, старуха Васьчиха слывет колдуньей. Она может поссорить мужа с женой, приворожить мужика к девке и наоборот, посадить килу.

— Может, все может, Боренька, вот ты улыбаешься, небось не веришь, а все так и есть...

Года три назад «навела страсть» Васьчиха на семидесятилетнего Ваню Пашичева. Повадился он ходить в Тутошино к одной молодухе, а та принимала его. Свел Ваня молодухе теленочка ночью, а на деревне пустил слух, будто волки съели теленка. Деньги носил своей сударушке, из сундука вещи старухины стали пропадать. Старуха билась, билась с мужем. И срамила его перед народом, и в избу не пускала по целым суткам — ничего не помогало.

— Только огонь поможет,— подсказала старухе колдунья.

Это значило: надо поджечь избу Ивановой сударушки. Дело было летом, погода стояла сухая. Стала ежедневно ходить старушка в тутошинский магазинчик за чем-нибудь с лукошком в руках. А в лукошке лежала жестяная баночка с горящими угольками. Так-то выследила, когда в избе своей соперницы не было никого, вскочила в сени, взмахнула ручкой. И баночка улетела на чердак, где было сено. Шесть соседних изб сгорело тогда, хорошо хоть застрахованы были...

— И-и, Боренька, куды как горазна Васьчиха на такие дела! Вот же и Посмитину Якову Иванычу она все подстроила, говорят, об этом деле даже в газете печатано было...

Посмитин — тряпичник. Ездит на телеге по деревням, собирает, меняет на нитки, иголки, платки — кости и тряпки.

— Бабки, бабки! Тряпки, тряпки! — вдруг раздается среди дня призыв на деревне.

Помолчит Посмитин и снова:

— Бабки, бабки! Тряпки, тряпки!

Сам тряпичник рослый, жирный, руки и шея у него пухлые. Свернет лошадь с дороги, остановится. Женщины, старухи, ребятишки несут припасенное добро. В передке телеги безмен, но Посмитин им редко пользуется, больше доверяя глазу и руке. Встряхнет узелок с костями, прищурит глаз.

— Три пятьсот. Не меньше.

И сунет старухе либо катушку ниток, либо десяток пуговиц.

— Яков Иваныч, мне бы платок бы...

— Для платка мало принесла. Нет ли рваной какой фуфайки? Неси — вот этот платочек получишь...

Ребятишкам сует в руки истрепанные журналы «Огонек»...

Среди деревенских Посмитин слывет жутко богатым человеком. Под Новогорском у него свой дом. В огороде выращивает только редиску, лук. Снимает несколько урожаев и продает на базаре. Говорят, он купил себе «Москвич». А теперь покупает «Волгу». И вот этот Посмитин влюбился в девушку, жившую в Зябиловке. Ему лет пятьдесят, а ей было двадцать с небольшим. Он так, он этак к ней — девка ни в какую.

— Не хочу видеть тебя, вдовца старого, и все!

— Яков Иваныч и подольстился к нашей Васьчихе, Боренька. То, бывало, у Сереги обедает, у Вани, а тут к ней зачастил. Денег ей дал, темного ситцу раздобыл ей и посулил пятьсот рублей, ежели она приворожит Маньку. Что уж Васьчиха делала, мы не знаем. А только не прошло и месяца, как увез Посмитин Маньку. А пятьсот рублей, которые посулил, и не отдал-то! Как

сейчас помню: проезжал Яков Иваныч через деревню, Васьчиха выбежала из избы и кричит:

«Ну гляди, толстомордый, кровь за кровь! Обида моя напастью к тебе обернется!»

Так оно и вышло. Не прожила Манька у него и года, как начала беситься. Ночь придет, она запрется в комнате и не пускает его к себе. Он на работу, она с кавалерами из соседей беседы устраивает. Он ее бить, а она в милицию. Повоевали, повоевали, да и разошлись... Теперь, как он приедет в деревню, Васьчиха и запирается либо уходит куда...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Но кончились и дожди. Мороза еще нет, а везде подсохло, лес поредел, в нем стало светлее. Светлее стало и в избах. С утра светит солнце. Чистая, нежная и грустная осень.

Поспеловцы, несмотря на то, что месяц был дождливый, заработали у Волховского по сто сорок два рубля в день на человека. Это солидные деньги, такого заработка даже на промплощадке не знают. Шуст увидел наряды с такой суммой, схватился за голову, бормотал:

— Срезать, срезать надо. С деньгами сейчас худо. Очень худо. Рублей по семьдесят сделай им, остальные деньги перебросим другим бригадам.

Я отказался срезать. Он погрозил пальчиком:

— Ты как чужой, Борис. Смотри, в коллективе так не поступают. А то споткнешься и никто не поддержит.

Управляющий распорядился помочь колхозам в заготовке леса.

Вновь принимаемых на работу людей Гуркин отсылает ко мне. Происходит это так. В один из дней в коридоре конторы прогуливается фигура в летнем потертом пальто, в разбитых начищенных сапогах и в серой кепке. Лицо у человека худое, глаза быстрые, цепкие. На тонкой шее большой кадык и такое впечатление, будто под пальто нет ни пиджака, ни рубашки на теле. Появляется Гуркин, извещая об этом всех конторских работников громовым голосом.

— Вы ко мне? — говорит Гуркин незнакомцу.

— Да.

— Пройдемте в кабинет. В чем дело?

— Я насчет работы.

— Вы кто? Что вы умеете делать?

Незнакомец мнется.

— А вам кто нужен? — говорит он.

— Гм... Мало ли кто! Все нужны. Плотники нужны, каменщики.

— Я плотничать умею.

— Покажите документы.

Незнакомец подает новенький паспорт.

— И все? — говорит Гуркин.

— Да.

— Не успел, значит, еще приобрести трудовую. Ну, здесь приобретешь. Мне нужны люди в колхоз. Мы там строим.

Незнакомцу это не по душе. Но за окном осень, скоро завернут холода.

— Я согласен.

— Оформим вас землекопом-бетонщиком, а там видно будет. Идите в отдел кадров. Только смотри, чтоб работать как положено.

Через час новый рабочий уже ознакомился с достопримечательностями Кедринска и задержался на базаре, где человек пять женщин торгуют картошкой, черникой, луком. А в крытом помещении два старика разложили на столах поношенные сапоги, шапки, плащи, какие-то железяки, которые бог весть кому нужны. Поговорив со стариками, новый рабочий показывает им золотые дамские часики. Что-то доказывает, бьет себя в грудь. Часы покупаются за полцены. И под вечер в моей избе появляется незнакомец. От него тянет перегаром, он возбужден, развязен. Городит мне небылицы: там-то работал плотником, в Москве два года столярничал на строительстве домов.

Я заметил: подобные типы непременно говорят, будто они работали в столичном городе. На худой конец упомянут Харьков, Новосибирск. По их мнению, это должно поднять их в глазах местного начальства. Что совершенно ошибочно. Федорыч, например, с презрением относится к людям больших городов, угодивших сюда.

В уголке направления незнакомца я замечаю маленькую галочку, поставленную в отделе кадров. Она поясняет все. Направляю новичка в лес к Жукову. Работать с ним — первая ступенька к новой трудовой жизни. Но бывает, Жуков говорит мне:

— Дмитрич, вот этот Быстров не годится. Убери его от греха...

Приходится отсылать новичка обратно в Кедринск...

Вот приходят сразу восемь человек: все одинакового роста, стриженые, крутоплечие, крутолобые. Когда идут они, движения их плавны, будто заучены. «Братья» — мелькает в голове, всегда смотришь на них. Меня отыскали они возле правления.

— Гражданин, то есть товарищ начальник, мы к вам,— говорит кто-то из восьмерых.

— В чем дело?

— Вы здесь самый главный начальник или есть постарше?

Их смутил мой молодой вид.

— Я главный.

Все кивнули, заулыбались.

Происходит разговор.

— Мы очень хорошие работники. Вот направление из конторы. Но прежде чем работать, нам надо отдохнуть. Мы совершили длинное путешествие.

— Это устроим. Кто у вас бригадир?

Переглядываются.

— У нас нет бригадира.

— Нужно выбрать.

— Он нам не нужен. Мы все бригадиры. Так уж подобрались.

— Кто это сказал?

— Я.

— Фамилия?

— Корнев.

— Вот ты и будешь бригадиром. Мы с тобой пойдем жилье искать. Остальные пусть подождут.

Компания рассаживается на траве. Острят по поводу деревни. Один ложится на спину, закладывает руки под голову, читает нараспев:

В стране лесных озер
Синеют небеса...
Друзья, мы отдых
Обрели недолгий:
Свободных птиц,
Поющих, голоса
Зовут, зовут меня на Волгу.

Три дня «братья» отдыхают, потом приступают к работе. А через неделю кто-то обокрал магазин в Заветах. Унесли всю водку, несколько ящиков консервов. Приехал следователь Моргунов с милиционером. Собака след не взяла. Никто не поймет, как произвели кражу: окна, двери, замок на дверях — все не тронуто. Сделали обыск у самой продавщицы, еще в нескольких избах. «Братья» живут у Молочкова. Старик говорит, что в эту ночь они никуда не ходили. Деревенские считают, что магазин ограбили чикинцы, которые пришли в восторг, когда узнали, что милиции не удалось разведать вора.

— Чиста работка! — восхищается Чика. На ногах у него сапоги с обрезанными голенищами. Вся бригада купила себе охотничьи сапоги с голенищами до паха. С неделю ходили, отвернув голенища, с трудом переставляя ноги.

— Зачем вы деньги угробили? — говорю я.— Ведь тяжело в таких сапогах?

Вечером они обрезали голенища, кожу продали сапожнику. Деньги

пропили у Акиньевны. Следователь покидает деревню, наказав мне, Баранову, Соснину присматриваться: не появятся ли где следы украденного...

В «Заре» плотники заготовляют лес. Оказалось, что колхозу принадлежит не сосновый бор, как говорил Стожков, а делянка у самой границы района. Рядом с делянкой стоит изба, она пустовала. В ней жил когда-то лесник. Лесника загрызли зимой волки, семья его уехала в Новогорск. Изба крепкая, печь в ней новая. От ближайшей деревни до делянки километров восемь. Плотники остеклили окна в избушке, стали в ней жить. Стожков обязался возить им продукты. Километрах в четырех от делянки живет лесничий Островский с дочерью Верой. Прежде он жил в Ленинграде, работал в лесном институте. У дочери что-то неладно со зрением. Совсем маленькой она пережила блокаду, во время которой умерла ее мать. Училась Вера в музыкальной школе. Уже тогда она начала плохо видеть. Отец водил ее к профессорам. Никто не мог помочь, зрение ухудшалось. Островскому посоветовали оставить на время Ленинград, пожить с дочерью где-нибудь в сельской местности, где воздух чист. Он принял Войловское лесничество. Поселился в лесу. Познакомился я с этой семьей так. Надо было уточнить границы колхозной делянки. Никто в «Заре» не знал их, я отправился к лесничему. Заросшая кустарником просека приводит меня к поляне: домик, окруженный изгородью, сарай. Во дворе ни души. Навстречу мне прошла от сарая громадная овчарка, улеглась на дорожке у калитки. Обратный путь отрезан. Из-под крыльца выкатился большой коричневый клубок. Он распадается: медвежонок и щенок уставились на мои резиновые сапоги. Переглянувшись, они снова схватываются. В горнице никого. Чисто. На стене карта, малокалиберка. На полу у дивана громадная медвежья шкура. Кто-то заиграл на аккордеоне в другой комнате.

— Кто дома? — спросил я громко.

Выходит худенькая черноволосая девушка. Кладет аккордеон на стол. Подойдя почти вплотную, вглядывается в мое лицо. Резко отворачивается.

— Вам кого?

— Мне лесничего.

— Папы нет дома, он на обходе. Он очень вам нужен?

— Очень.

— Тогда подождите. Он скоро придет обедать. Нет, нет, ружье не ставьте в угол. Давайте я повешу... В угол ставить нельзя. Недавно зашел к нам новогорский охотник. Поставил свое ружье сюда. Сели к столу. Вдруг — бах! Все заволокло дымом. Бросились к порогу, а медвежонок сидит, держит ружье, удивленно озирается. Вот, смотрите.

Она указала на обои, иссеченные дробью.

— Мог бы убить кого-нибудь.

— Да. И, знаете, нисколько не испугался. Теперь, как заберется сюда, сразу в угол лезет. Папа для него палку лыжную становит туда. Уж он ее и так, и этак крутит — не стреляет! — Девушка тихо смеется.

Я присел на стул, хозяйка на диване.

— Давно он у вас живет? — спросил я.

— Кто?

— Медвежонок.

— Месяца три. Как снег выпадет, папа его уведет.

— Куда?

— И не спрашивайте. Мы третий год здесь живем. Этот Мишка у нас второй. Первого папа увел в лес, должно быть убил.

— Зачем он уводит?

Она улыбнулась, закатила рукав кофточки.

— Вот смотрите.

На тонкой смуглой руке от кисти до локтя протянулись три шрама.

— Это только в книжках они добрые,— сказала она,— может, и есть такие. А нам попался злой. Как подрос, трех кур у нас съел и вот здесь еще метку мне оставил,— она провела рукой по бедру.

— Вот такой шрам остался. Вам зачем папа нужен?

Я рассказываю. Приходит пожилой, сухощавый человек, напоминающий Штойфа, только шире в плечах и здоровей видом.



— У тебя гость, Вера. А я иду и думаю, почему ты не играешь. И Дамка дежурит у калитки. Вы ко мне?

— Да.

Я рассказал, в чем дело. Мы пообедали, сходили к делянке. Островский указал просеку, по которой можно будет вывозить бревна. Я остался ночевать

у лесничего. У Веры режим: ложится спать она ровно в девять, а чуть свет уже на ногах. Когда я проснулся утром, в домике никого не было. На столе ждал меня завтрак. Выйдя на крыльцо, я увидел девушку, она возвращалась из лесу с малокалиберкой в руках. Следом за ней бежала овчарка.

Вера помахала рукой:

— Выспались? А мы уже с Дамкой свои владения обошли. Позавтракали?

— Да. Что так рано гуляете?

— Мы каждое утро с Дамкой гуляем. У нас свои владения. Вы уходите?

— Ухожу.

— Я провожу вас...

У начала просеки она остановилась.

— Можно мне задать вам вопрос?

— Хоть десять.

— Только вы должны правду сказать.

— Обязательно.

— Вы заметили во мне какую-нибудь странность?

— Нет,— соврал я.

Она вздохнула.

— Ну вот... и вы лжете. Зачем? Зачем? — повторила она вопрос упавшим голосом.

Я сказал правду: меня удивило то, что она, обращаясь ко мне, либо щурит глаза, либо очень широко раскрывает.

— И только?

— Только.

— Дайте честное слово.

— Честное слово.

Она как-то внутренне засмеялась. Мы медленно шли по тропинке. Разговорились. Вера поведала мне всю историю приезда сюда.

— Сейчас вы лучше видите?

— Не знаю. Кажется, лучше. Знаете, когда думаешь об одном и том же, следишь за собой, ничего толком не заметишь. Папа утешает меня и, конечно, правду не скажет. А вы вот в походке моей ничего не заметили? Значит, дело к лучшему. Раньше я ноги высоко поднимала, когда ходила. Вот так. Все казалось, будто впереди ямка.

Мы три раза прошлись туда и обратно по просеке. Расставаясь, я обещаю бывать у них часто. Но часто бывать не приходится. Начали работать и в «Искре». На переходы уходит масса времени, гораздо больше, чем летом. На дорогах всюду грязь. От дождя плащ мой разбухает, коробится. Ходить тяжело. И путь, скажем, от Хомутовки до Вязевки кажется длиннее, чем он есть на самом деле. Мне надо бы лошадь под седло, но такой нигде не достать. В трестовском конбазе все рабочие лошади. Баранов и Стожков говорят, что у них нет тоже. И я им верю. А Волховской прямо заявил:

— Не дам. Не дам лошадь гонять напрасно.

— Почему же напрасно?

— А потому: вы им построите, угробите деньги, а они через год все эти строения загадят. Я знаю. Вон в Тутошине поставили коровник три года назад. На что он похож? Со стороны смотреть не хочется. А внутрь зайти стыдно. Не дам, не дам, лучше не проси...

И ночевать приходится, где застанет ночь.

Несколько раз спал у Полковника. Изба у него большая, детей нет. В горнице чисто, приемник имеется. Всякий раз он был пьян. Прыгал передо мной, размахивал кулачками. Я все стараюсь понять, что он хочет доказать, чем недоволен. Но никак не пойму.

— Ты, Дмитрич, не смотри, что стар, болен и не у дел власти,— кричит он,— есть еще рука в укоме. И в губком тропиночку знаем! Захочу — всю деревню переверну, а докажу свое. Докажу, какая она тут есть контра! До всех доберусь!

И бежит в сени, стреляет из пальца в сырой навозный ночной мрак:

— Пах! Бух! Бух!

Ночевал и в Сосково. Но там остаюсь на ночь неохотно, когда уж очень устану. А на улице темень. И бригадир, и жена его принимают меня как какое-то начальство. Суетятся. Детишек загоняют на печку, велят им не шуметь. Хозяйка, подав ужин, станет у печи, стоит, поджав губы, готовая броситься исполнить любое мое желание. Бригадир сидит напротив меня, почтительно смотрит, как я ем его картошку с тушеным мясом. Странно! Ведь я для них подрядчик, они хозяева положения. Но не понимают этого. Не знают, откуда взялись деньги на постройку коровника. И не знают, зачем он им нужен.

— Какую же скотину будете держать в коровнике? — спрашиваю я.

— Так ведь как вам сказать... Нам это еще неизвестно.— Бригадир сводит брови, неожиданная мысль осеняет его: — Должно пригонят откуда-нибудь. Либо по дворам заставят собирать.

— Кто же будет собирать?

— Да ведь это как сказать... Всяко может быть, ежели что... Ну не коров, а телят, к примеру...

Не знаю, как мужчины, а многие пожилые женщины верующие. По каким-то дням недели собираются молиться в большой избе, построенной отдельно от других изб. Даже поп заглядывает сюда. Приезжает откуда-то на таратайке. Поп маленький, жилистый, с длинными руками.

С удовольствием ночую в Хомутовке. Чаще всего в избе старика Ивана Ефимовича Рыпачева, прозванного на деревне Рыпычем. Живет он со старухой, сын женился, построил себе избу на другом конце деревни; дочь живет у мужа через дорогу. Рыпычу пошел седьмой десяток, но он бодр и разговорчив.

— А-а,— встречает он меня,— опять начальника ночь прихватила. Раздевайся, раздевайся. Беседу составим. А то мне надоело со старухой браниться...

Сбрасываю плащ, сапоги. Сажусь на лавку и вытягиваю уставшие ноги.

Приходит Алексей, вникающий в грубые тонкости строительного дела. Чтобы он поскорей усвоил суть чертежа, я посоветовал ему снять на кальку чертежи мастерских. Покуда я ужинаю, Рыпыч и Алексей преподносят новости.

— Ну, показывай,— говорю я Алексею, отодвигая тарелку,— давай посмотрим...

Он раскладывает чертежи, измятую кальку.

— Где Волховской сегодня?

— Уехал куда-то.

Сам Волховской со мной почти не разговаривает. Видит во мне лишь подрядчика, который здесь, завтра уедет. Даже о строительстве не любит говорить со мной.

— Я тебе выделил человека, с ним все решай. Алексей на все уполномочен.

От Рыпыча узнал: у Волховского есть два сына. Оба военные, оба генералы. Старший, артиллерист, служит в Министерстве обороны. Второй — летчик, он где-то на Кавказе. Волховской управляет хозяйством с сорок второго года. В деревне живет легенда о том, как лет десять назад председатель выгнал из Хомутовки какого-то районного начальника.

— Толкал, толкал этого начальника в грудки. За Косой мостик затолкал и говорит: «Вот граница моей земли и чтоб больше сюда ни шагу. Перед партией я сам ответ будут держать».

Волховского арестовали, вмешались сыновья, его освободили. И с той поры в «Красный пахарь» начальство не ездит.

— Да и то сказать,— говорит Рыпыч,— чего нас теребить? Хотя мы и не так хозяйствуем, как другие. Мясо в столовую новогорского завода поставляем мы. С государством расчет у нас полный. Вот только баловством не занимаемся: кукурузу, пшеницу не сеем, от них урожая нету...

То, что я вижу, слышу здесь, не видел, не слышал нигде. Земля колхозная разделена между членами артели, закреплена за ними. Весь урожай с участка колхозника — его личная собственность. По уставу, выработанному артелью, колхозник вносит плату в кассу правления за услуги, которые оно предоставляет для обработки земли, ведения хозяйства. Выражения «частный сектор» здесь не услышишь. Не слышал я слова «сотка», землю делят десятинами, гектарами. Молодняк, племенной скот в отдельных хозяйствах не содержат,

для них имеются общественные помещения, там работают люди, состоящие на службе у общества. В каждом хозяйстве штук по сорок гусей, много кур. Даже ближние лесные поляны засеяны клевером. Скотину до полдня пасут в лесу, затем гонят ее на клевер.

На полях выращивают картофель (очень много, он дает большие урожаи), кормовую морковь, брюкву, сеют овес, а ржи очень мало. Хлеб родится плохо, часто получается так: не успеет колос созреть, зарядят дожди, хлеб пропадает.

Во всех бригадах на каждые два-три двора имеется котел или кормозапарник. Устроены они в сараях, которые называют парками. В избах хозяйки готовят пищу только для себя, для скотины в парках. Печи под котлы в парках устроены в земле, котел расположен низко. Вдоль парков тянется дорога, по ней два раза в сутки проезжают водовозки. Ковшами через воронки и лотки заливают котлы водой. Парки облегчают уход за скотом настолько, что даже Рыпыч со старухой кормят к зиме четырех кабанов, столько же яловых коров. Дойную корову они не держат: у старухи болят пальцы в суставах; молоко берут у дочери. Сарай у Рыпыча, длиной метров в пятьдесят, покрыт тесом. Под сараем печка, борова внутри. Когда надо топить печь, сушат на жердях овес, клевер.

В следующем году Волховской собирается провести в Хомутовке водопровод. Деньги в колхозе есть, но труб никак не достать.

Овес, картошку давно убрали. Как и в других колхозах, здесь есть бригадиры. Но они не собирают на работу людей. Здесь не бригадир требует чего-то от людей, а наоборот. Вечером колхозники совещаются, что-то решают. Бригадиры идут к председателю. Я ни разу не видел, чтобы Волховской вмешивался в дела крестьян.

Участки их не разделены межами, границы участка помечаются вешками. Перед посевной колхозники договариваются, где, что каждый будет сеять, сажать. Получается так: если я посеял овес на этом участке, сосед мой рядом сеет овес и так далее. И обработка земли машинами не усложнена. Лошадей содержат в общественной конюшне. Каждый колхозник работает на одной и той же лошади, ее он может держать у себя во дворе. Когда отводит в конюшню, сдает ее старшему конюху. Каждая лошадь имеет свой номер, кличку. У конюха есть журнал, который проверяется ветеринаром.

Я присматриваюсь к жизни людей в Хомутовке, расспрашиваю об этой жизни Рыпыча, Алексея. Стараюсь познать все тонкости ведения хозяйства, но это невозможно. Нужно жить здесь, быть крестьянином. Многое надо не понимать, а чувствовать...

Утром я прохаживаюсь в сарае Рыпыча. Он привез на тачке месива свиньям. Вываливает месиво в лоток, лопатой подгоняет его под перегородку.

— А коров почему не выгнал сегодня в стадо, Иван Ефимович?

— Уже не погоню больше. Пусть стоят до морозов, пусть отяжелеют...

Смотрю на аккуратный лоток, на тачку. На корявые пальцы старика, испачканные месивом. Как первобытно, просто все! И Рыпыч, и тачка, и вот эти жирные до отвращения свиньи! Одной даже лень подняться на ноги, и она старается дотянуться рылом к корыту. И все ж все пока что без техники, о которой кричат взахлеб наши газеты. Что же будет, когда Волховской разбогатеет настолько, что и механизацию начнут применять?

— Послушай, Иван Ефимыч, восходовский председатель Баранов не приезжал к вам?

Старик поставил лопату к стене.

— Был. Приезжал один раз...

Старик рассказывает, как Баранов приехал, посидел с полчаса у Волховского, говорил ему о своих делах. Волховской слушал молча. Потом сказал:

— Я ничем не могу помочь вам. В стране нашей много сельскохозяйственных институтов, академий. Туда обращайтесь.

На том разговор окончился, Баранов больше не появлялся в «Красном пахаре».

Мы выходим из сарая. Курятся парки. Прошла куда-то компания девушек. В Вязевку сегодня должна приехать зачем-то зоотехник Варварова. Отправляюсь туда.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Я завшивел. Узнаю об этом так. В потемках притащился в Клинцы. Ужинаю. Сергеевна отчитывает меня за то, что я отбился от дома. Она говорит, что она не какая-нибудь городская, которая может брать с постояльца деньги ни за что ни про что. Раз уж плачу я деньги, то должен обедать, ужинать здесь.

— Не ругайтесь, Сергеевна...

Мне надо выписать несколько нарядов. Сажусь за стол в горнице. Студенты уже уехали. Спина, плечи, ноги стонут от дневных переходов. Глаза слипаются. Пальцы левой руки тянутся к голове, скребут ее. Вдруг застываю: на белую страничку журнала упала вошь. Лежит на спинке, шевелит ножками. Этого только не хватало. Уничтожив ее, озираюсь, будто кто-то может стоять за спиной. Прошу своего сторожа истопить завтра баню. Старик давно приглашал меня помыться с ним. Но вымыться как следует здесь не удается. Дедко так натопил свое допотопное заведение, что дышать нечем. А когда он, кряхтя от удовольствия, вылил на раскаленные камни ведро воды, я кубарем скатился с полка. Сунул голову в бочку с холодной водой. Кое-как обмылся и ушел в кедринскую баню. Там же остригся наголо. Покуда стригся, все следил за глазами парикмахерши, она, кажется, ничего не заметила.

В тот же день, предупредив Гуркина, еду в райком хлопотать насчет лошади. Гуркин сказал, что управление будет платить за нее.

Замятного в райкоме нет, уехал в область. В приемной Холкова полно людей. Пожилая, с очень серьезным, даже строгим видом секретарша докладывает обо мне секретарю, тот принимает меня без очереди. Расспрашивает о делах в деревне. Покачивает головой, чмокает губами.

— Надо, надо будет как-то уладить все это...

Через полчаса еду в автобусе в коневодческий совхоз «Грива». В кармане лежит записочка от Холкова к директору совхоза Семипалатинскому. До совхоза километров сорок. Потом около часа я плутаю в березовом леску, покуда какая-то старушка с тяжелой корзиной за плечами указала нужное направление. И тропинка вывела меня к четырем кирпичным домикам, за которыми метрах в двухстах стоит ряд длинных конюшен. Небольшой табун жеребят пронесся к реке. Стайка ребятишек указывает мне домик директора, говорят, что он дома, обедает.

Директор вполне соответствует своей фамилии. Громадный, плечи шириной с метр. Круглая голова коротко острижена. Он сидит за столом, ест деревянной ложкой прямо из кастрюли. Ноги его вытянулись из-под стола далеко. На столе хлеб, бутылка водки. Выслушав меня, он кивает на стул:

— Садись. Пообедаем.

— Спасибо. Я не хочу.

— Видишь, как приходится обедать... Баба в Питер укатила по своим делам, а я холостую.

Он вздохнул тяжко, утер губы полотенцем и взял записочку Холкова.

— Черт знает что! Покосы обрезали у Семипалатинского, а лошадь дай! Ты когда был у секретаря?

— Сегодня.

— Кто платить будет?

— Управление. Трест.

— А-а. Ну тогда ладно. Что вы там строите?

Я сказал.

Директор поморщился, сплюнул на пол.

— Черт их знает. Строят, строят им, а все без толку. А я вот второй год бьюсь — надо две конюшни поставить, и не пробить. Я, видишь ли, богат, то есть рентабелен. Ну, и сиди, выкручивайся сам. Ну, пошли...

Он поднялся и едва головой не уперся в потолок.

В Кедринск возвращаюсь верхом на высоком вороном жеребце. Ноги у него длинные, а туловище короткое, голова огромная. Получил от директора устную характеристику жеребца: звать его Зайцем, он страшно умен. Если буду с ним ласков, привыкнет ко мне быстро и будет ходить за мной, как собака.

Дедко Серега отвел для Зайца отдельную стойку в конюшне. Выписываю у Волховского шесть мешков овса. Первое время Заяц относится ко мне недоверчиво. Когда седлаю его, поджимает ноги, кладет уши, скалит зубы. Угощаю его кусочком сахара. И через неделю он привыкает ко мне. Приеду на объект и нужно задержаться. Зайца не привязываю. Он либо бродит за мной, либо, заметив клок сена, стоит жует, поглядывая то и дело в мою сторону.

Рабочий день мой растянулся. Успеваю побывать и в деревнях, и в лесу. А в Кедринске бываю редко. Будь лошадь у меня раньше, кажется, скакал бы туда каждый вечер. Теперь нет. Компания наша распалась. Специалисты покинули гостиницу, им всем предоставили комнаты, квартиры. Маердсон и Мазин взяли себе на двоих двухкомнатную квартиру. Рукавцов и Латков — по однокомнатной. Жиронкина съездила к Черному морю, познакомилась там с кем-то. Собирается ехать в Свердловск, где выйдет замуж за нового знакомого. «Это наша последняя встреча, Борис,— говорила она,— ты будешь меня вспоминать? Я знаю. что будешь». Вот и асе. Вот так оно и бывает. Выйдет там замуж. Будет любить своего мужа. «Я люблю мужа своих детей». Где я это слышал? И Козловская выходит замуж. В Окново приехал на побывку молоденький морской лейтенант. Встретил ее в парке. Через неделю «предложил ей руку». «Что ж, Борис, попробую еще раз. Терять мне нечего». Может, все хорошо будет»... Славные девчата. Мы были хорошими друзьями. Но им этого мало. Им нужны мужья. Когда-нибудь и я стану мужем. Кто будет она? Где она сейчас?

Маердсон женится в сорок лет. Он знает, он уверен, что в сорок лет будет главным инженером треста. И тогда он женится. Говорит, что выберет себе здоровую молодую женщину. И женится. Все ясно и просто...

Я еду из Завет в Хомутовку. Заяц идет шагом. Не подгоняю его, поводья опущены. Вот жеребец останааливвется, вскидывает голову! Прислушивается. Я осматриваюсь, тоже прислушиваюсь. Никого нет. Чмокаю губами. Четко, твердо простучали подковы по Косому мостику. У поспеловцев не задерживаюсь.

— Людей надо еще? — говорю бригадиру.

— Не нужно, Борис. И маляров не присылайте, мы сами все сделаем. Гвозди вот кончаются.

Я даю ему записочку к сторожу.

Плотники закончили крышу, стелют полы. Они опять взяли аккордный наряд. Опять заработок будет большой. Шуст схватится за голову: «Срезать!»

За деревней сворачиваю на просеку, ведущую к лесорубам. Обгоняю двух женщин с корзинами в руках. Знаю: они несут плотникам выстиранное белье. Знаю и то, что двое из плотников с приходом женщин работать не будут. Тут уж ничего не поделаешь. Заатра загляну к ним. Возле ручья дергаю повод. Овчарка издали узнает меня, приветливо машет хвостом.

— Хозяйка дома, Дамка?

Вера готовит обед на плите. Она продолжает называть меня на вы.

— Папа уехал в Новогорск. Вы его не встречали?

— Нет.

— Вы уже освободились?

— Да, Верочка. Сегодня уже свободен. Пойдем обходить владения?

Она кивает, и, едва заканчивает стряпню, отправляемся. Километрах в двух от домика есть озеро, прозванное Хитрым. Оно глубокое, берега не илистые, как у прочих здешних озер. А твердые, вековые ели вплотную подступают к воде. Случись лето жарким, сухим, вода из озера исчезает. Исчезает не постепенно, а за неделю, полторы. Когда-то давно к озеру приходили купаться деревенские. Однажды, за сутки до исчезновения воды, утонул мальчик. Труп ловили сетями, не поймали, а когда вода исчезла, утопленника не оказалось на дне. Деревенские рассказывают всякие небылицы об этом озере. Островский установил: оно связано под землей с Вязевским озером. Вязевское озеро широко, испарение там велико. В сухую пору уровень воды быстро понижается. По принципу сообщающихся сосудов вода из Хитрого озера уходит в Вязевское.

Одну из толстых елей на берегу озера я отесал, она стоит белая. Метрах в двадцати от нее я устроил барьер, мы стреляем с Верой в мишень. Для нее

белый ствол — мутно-светлая полоса. Потом обходим вокруг озерца, собираем клюкву.

— Я все-таки купаюсь в озере летом,— говорит Вера,— страшно, но купаюсь. Вода теплая, прозрачная. Вы до следующего лета будете здесь, Борис?

— Не знаю.

— Сейчас еще хорошо здесь. Зимой хуже. Зимой я одна не остаюсь в домике, боюсь. Зимой у нас живет Матвеевна из Соскова. Хорошая старушка. Господи, чего она только не расскажет!

Вера задумчиво улыбается. Улыбка исчезает с ее лица. Некоторое время мы молчим. Вдруг она смеется, хлопает ладошками, передает какой-нибудь рассказ Матвеевны. Переходы от грусти к веселью у нее чрезвычайно резки, часты. Приятно удивила меня ее доверчивость ко мне, искренность, с которой задает вопросы, отвечает на мои.

— Вы женаты, Борис?

— Нет.

— Часто ездите в Кедринск. Конечно, у вас там есть знакомая девушка.

— Знакомых много. А одной нет.

По выражению глаз, по едва заметному движению головки ее замечаю, что она не сомневается в честности моего ответа. И он приятен ей.

Уже когда темнеет, шурша опавшей листвой, медленно идем к домику. Заяц коротким ржанием встречает меня. Тихо, глухо вокруг. Пахнет сыростью, увядшими листьями. Начинает моросить дождь. А в домике уютно, тепло. За все время, сколько Вера прожила здесь, она раза три бывала в деревне, да и то с отцом. Жизни деревенских людей она не знает. Я рассказываю ей о Полковнике, о своей хозяйке, о работе. Она слушает внимательно, задает вопросы. Уезжать мне не хочется, но ехать надо.

— Когда теперь заглянете к нам, Борис?

— Когда перестанешь выкать, Верочка.

— Нет, серьезно?

— Завтра. Завтра приеду обмерять бревна на делянку...

Заяц легкой рысью уносит меня по просеке.

По работе меня теперь тревожит только одна мысль: как бы чего не случилось. А случиться может только в Вязевке, где «братья» и чикинцы. Происшествий пока что нет. Похожу между бригадами. Иду в правление. Баранов в кабинете. Отношения между нами изменились. В гости ко мне он не приезжает, подолгу не беседуем. Встречает меня председатель сухо.

— А, это ты. Садись.— И копошится в каких-то бумагах.

— В Кедринск не собираешься, Алексей Михалыч?

— Нет.

Сегодня свадьба Козловской, я собираюсь в Кедринск. Нужно отвезти Шусту процентовку. Кладу ее на стол.

— Подпиши, Михалыч. Тут одна земля. Лишнего не брал.

Я ни разу не обманул Баранова, он подписывает.

В Клинцах Сергеевна дает наказ: надо купить сахару, соленой рыбы, дешевых конфет — подушечек. Только с ними она пьет чай.

Прихватив сумку овса, еду не по дороге, а напрямик через лес, где нужно пересечь два болота, разделенных перешейком, на котором стоят три избушки. Одна пустует, возле нее несколько могилок. Крайняя аккуратно всегда убрана, обнесена оградкой и с памятником. На нем под стеклом фотография мужчины в пиджаке. И под фотографией стихи на металлической пластинке:

Жена и дети, вы прощайте,
Над вами мира благодать.
Меня к себе не ожидайте,
А я вас буду ожидать.

Проходя здесь пешком, я каждый раз задерживался у могилы. Перечитывал стихи. От них холодок бегал по спине. Какая жестокость! Жену и детей ожидать в могиле, постоянно им, живым, твердить об этом! Ведь наверняка покойник еще при жизни сам заказал граверу написать стихи. Может, это просто глупость, неумение высказать что-то иное.

В двух других избушках живут старики с внучатами; молодых нет, они работают в Кедринске. Я заходил в избушки, пил молоко, говорил, кто я, почему хожу здесь. Но каждый раз замечал в окне либо за кустом лица старухи, бородатого деда, которые с удивлением, внимательно смотрят мне вслед...

Еще деревенька Свистово. Железнодорожный переезд. Стройка. Зайца привязываю возле сарая моего соседа. После бани переодеваюсь, иду к Николаю. После сапог туфли кажутся тапочками. Морозит. Ноги, все тело обхватывает холодком. Костюм и плащ кажутся кисейными, и сам я, легок, тела не чувствую. Николай, когда захожу к нему, катается по комнате в коляске.

— А, колхозник появился! Козловскую пропивать примчался?

— Да.

— Я уже поздравил ее,— Николай забирается на диван.

— Колхозничку привет! — из кухни вышла Краевская. На ней фартучек, вся она по-домашнему.

— Немного посидишь с нами? — она накрывает стол.— На свадьбу еще успеешь...

Узнаю, что Люся совсем ушла от Краевского.

— Наверное, придется уезжать отсюда,— Николай закурил. Смотрит, прищурясь, на облачко дыма.— Можешь представить: Краевский не дает ей проходу. Даже сюда приходил, старался убедить меня, что я и Люся — не пара. Что это у нас увлечение временное. Ты знаешь, каким он выглядел на работе. А тут: волосы растрепаны, руки дрожат... И предлагал мне деньги, большие деньги. Совсем спятил...

Люся вышла в кухню. Оттуда послышались всхлипывания. Через дверной проем вижу ссутулившуюся ее спину, дрожащие плечи. Кто-то позвонил. Я открываю дверь — Краевский. Пальто, пиджак расстегнуты.

— Хозяева дома?

— Дома.

Старик снимает калоши, не раздеваясь, проходит. Я смотрю на Николая, он машет рукой, мол, уходи. Ну и ну. Вот еще одна драма.

Квартира Рукавцова этажом выше. Поднимаюсь к нему, стучусь, покуда не выходит соседка.

— Вани нет дома. Вообще он редко бывает в своей квартире...

Мазина и Маердсона застаю. Маердсон бреется, возле него вертится Мара Матросова. Мазин на диване, у него на коленях темноволосая толстуха с горбатым носом. Атмосфера в квартире немного накалена: приятели не хотели приглашать своих подруг на свадьбу, не говорили им о ней. Те пронюхали и осерчали.

— Нет, подумаешь, инженерша замуж выходит, а они нас не хотят брать! Жора? — Матросова внимательно смотрит в лицо Маердсону.

— Мы быстро, скоро вернемся, девочки,— отбивается Жора,— вы ждите нас здесь.

— Какое свинство! Подумаешь!

На столе магнитола, бутылки. Маердсон сбрасывает халат, облачается в костюм, мы поспешно уходим. По дороге приятели, сердясь, обсуждают, от кого подруги могли узнать о свадьбе.

Жених настоял, чтобы свадьбу отпраздновали не в общежитии, как хотела невеста, а в его избе. Когда мы приходим, народу уже битком.

Хозяева рассаживают гостей. Мы с Мазиным забираемся в дальний угол, отсюда видно всех. Козловская в белом воздушном платье, сшитом опять же по настоянию жениха. Жених в гражданской одежде. Белобрысый, розовощекий юноша. Козловская бледна, щурится больше, чем обычно, что-то отвечает на шутки, едва улыбаясь. Поблизости от нее Жиронкина, Алябьева, Латков. Она выискивает глазами своих, встречается с моим взглядом, брови ее вздрагивают, она едва заметно кивает.

Начался пир, который закончился утром.

Молодых проводили в отведенную комнатку. Несколько человек спят на полу, двое под столом. Жиронкина должна была уехать к жениху в Свердловск неделю назад, но ее задержала свадьба Козловской. Провожаю Риту к девятичасовому поезду. Прохаживаемся по перрону.

— Хорошо, что ты один провожаешь меня,— тихо говорит она.

Я молчу. На свадьбе я много выпил, но я абсолютно трезв. Надо бы что-то говорить, но я ничего не могу сказать.

— Тебе долго ехать, Рита?

Она не отвечает. Печальное, грустное что-то наворачивается в груди. И до прихода поезда ходим мы молча. Вот и он подпола, вот шестой вагон. Поезд стоит три минуты. Я поспешно, как-то по-воровски, целую влажные глаза, целую гладкий выпуклый лоб. Глаза ее растерянно и быстро осматривают мое лицо. «Поезд трогается»,— говорит проводник. Подсаживаю ее в вагон, нахожу место. Уже на ходу спрыгиваю. Иду за вагонами, они обгоняют меня.

На станции тихо. Бреду в город. В своей комнате сижу на кровати некоторое время неподвижно. Нашариваю рукой под койкой бутылку с вином. В этот день в деревню не поехал. Снес в контору процентовку. До вечера сижу над материальным отчетом. Когда кончаю его, приходит в контору Латков. Говорит, что сегодня он женится на Алябьевой, чтобы я был к восьми у него. А через день еще побывал на одной свадьбе. Вернувшись, объехал объекты, везде спокойно, никаких чрезвычайных происшествий. Хотел вечером ехать к лесничему, но после выпитого на свадьбах настроение скверное, голова побаливает. Вечером сижу в своей избе, ем картошку, запиваю капустным рассолом. В избу приходит Чикарев. Он в новых сапогах, в новом костюме, волосы прилизаны. Скалит в улыбке белые плотные зубы.

— Куда так вырядился? — говорю я.

— Борис Дмитрич, мы приглашаем вас на свадьбу.

— Кто это мы?

— Я и Маруся.

— Раевская?

— Да.— И он хохочет.

— Ты женишься?

— Я,— опять хохочет.

Черт знает что.

— Когда же свадьба?

— Сегодня. Сейчас приходите.

— Чего же раньше не сказал?

— Так вас не было здесь. Придете?

— Обязательно. Спасибо, что пригласил.

Он уходит. Вот это номер. Еще один номер в житейской программе. Марусе за двадцать, ему скоро только восемнадцать. Да и какой из него муж?

Магазин уже закрыт, что же им подарить? Из ценностей у меня одни часы, ладно, подарю их. Вошла Сергеевна, бросила к печи охапку дров.

— Боренька, Чика никак на свадьбу звал?

— Да, Сергеевна.

Она что-то бормочет.

— Вы о чем?

— Да так... Ох, беда, беда...

В избе Моти дымно, душно. На полу у стен примостились мальчишки. За столом сидят все чикинцы, клинцовские девчата, Молдаванка с подругами, дедко Серега, Филипп, Ваня. Печка ради такого праздника покрашена серебристой краской. С печи свесилась седая голова старухи с желтым опухшим лицом. Мотя снует вокруг стола, подливает в стаканы бражку из ковшика. Мне, как почетному гостю, сама Маруся наливает стакан водки из припрятанной бутылки. Закуска — квашеная капуста, картофель, политый сметаной. Мне бы надо что-то сказать во здравие молодых, я встаю, поднимаю стакан. Я улыбаюсь, но слов подходящих не нахожу.

— Горько! — произношу спасительное слово.

— Горько! Горько! — ревут голоса.

Молодые встают, целуются. Дедко Филипп произносит тихо:

— Гуж... Крепок гуж...

— Виктор Васильевич мой муж,— отвечает Маруся.

— Пшена,— говорит Ваня.— Посыпать пшена.

— Мария Яковлевна моя жена,— вторит Чикарев.

Заиграли на гармошке, начали плясать. Я пробрался к выходу. Небо усыпано звездами. Пахнет морозом. Кто-то вышел следом за мной. Это Мотя. Она подходит ко мне почти вплотную, таинственно шепчет:

— Борис Дмитрич, я к вам с вопросом...

— Что такое, Мотя?

— Закона против этого не вышло никакого?

— Ты о чем?

— Да вот Маруська-то теперь свободно паспорт получит? Задержки не выйдет?

— Нет, задержки не будет.

Она перекрестилась.

— Слава тебе, господи! А то у всех есть зацепка в городе, а у нас только нету. Теперя будет...

Я закурил, поплелся по деревне. За деревней тропинка вывела меня на дорогу. Здесь она суха и сереет широкой волнистой лентой. Шуршит подмерзший песок под ногами. Где-то хлопнул выстрел. Кто может стрелять ночью? Проходя через школьный двор, заглянул в окно Ленины. Через занавеску ничего не видно, но слышны мужские голоса, смех Ленины. Заходить к ним не стоит.

Баранов дома, он сидит за столом, набросив на плечи полушубок, что-то пишет. Кивает мне, продолжает писать. На столе, на подоконнике банки, кастрюля с молоком. Он не знает, куда девать его. Просил Захаровну, чтобы она забирала молоко, но та по каким-то соображением не берет.

Баранов кладет ручку, запечатывает листок бумаги в конверте.

— Домой написал... Возьми там в столе. И стаканы там же.

Рассказываю о свадьбе в Клинцах. Председатель слушает молча, молча выпивает, подперев подбородок рукой, молча смотрит в стену, жуя капусту.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Неожиданно выпал снег. Вечером небо было чисто, даже намека на тучи не давало. Ночью они наползли откуда-то. И к утру навалило снега столько, что, когда я выглянул в окно, не узнал избу Вани. Она нахлобучила громадную белую шапку и села по окна в сугроб. У нас возле крыльца надуло тоже огромный сугроб. И я с полчаса с удовольствием разгребал его лопатой. Дедко Серега говорит, что у них снег ложится гораздо позже. Этот снег непременно растает. За зайцами можно будет охотиться с еловым ружьем, то есть с палкой.

— Зайцы-то в хитрость ударятся: рядом с тобой притаится в лунке, уши положит, а сам-то белый! Тут его и лупи...

Но проходит неделя, вторая. Оттепели нет, даже радио не обещает ее. Снега выпадает больше и больше. От дороги деревенька кажется какой-то более сиротливой, но в то же время она стала уютнее, чище. Дым из труб поднимается по утрам высокими столбами. Резвей, бодрее бегают к ручью девчата, женщины. А мороз крепчает. Вязевское озеро затягивается ледком. Скоро по нему будут ездить. По традиции первым проедет по слабому льду Полковник. Каждый год совершает пробную поездку он, а люди приходят на берег смотреть. Лед потрескивает под копытами, под санями прогибается, образуя позади саней волну. А Полковник держит в одной руке вожжи, широко расставив ноги. Другой рукой помахивает кнутом. Он уже под хмельком. А когда сани вылетят на другой берег, в них падают несколько парней, мужиков, и Полковник мчит в Тутошино к магазину. От магазина компания отправляется в чью-либо избу отмечать счастливый проезд.

Я «отбился от дома», как говорит Сергеевна, окончательно. Редко обедаю дома и часто не ночую — свободное время провожу в домике Островского. Деревня есть деревня. Пошли разговоры, что, мол, Картавин к лесничевой дочке повадился ездить. Днюет, ночует там. Полковничиха встретилась возле правления:

— Что-то, Дмитрич, к нам и носу не кажешь. Галины-то нет, к слепой подался?

И улыбалась многозначительно. Уж, кажется, откуда бы знать Полковничихе о моих встречах с учительницей. Даже Ленина ничего не знает, а вот деревенские знают. Думается, заберись в самую глушь лесную, поцелуй там ствол ели, через день об этом будут судачить. У Веры лыжи есть, я тоже купил себе отличные финские лыжи, валявшиеся в магазине под хомутами. Часто путешествуем с Верой по лесу.

Подъехав к домику, я пускаю Зайца к сараю, где стоят сани, возле них кобылка лесничего. Отряхнувшись от снега, иду в домик.

Вадим Петрович либо сидит за столом, что-то считает, пишет. Либо его нет, он на обходе. Вера в пуховом свитере, в мягких валенках. Она встречает меня без возгласов и не суетится. Но по ее глазам, по лицу и какой-то едва заметной поспешности в движениях мне ясно: приезд мой приятен Вере. Мы беседуем некоторое время и отправляемся в лес на лыжах. Ветви елей прогнулись от тяжести снега, тихо. Где-нибудь мелькнет белка, сорвется рябчик. Выскочит из-под куста заяц, я вскину ружье, бабахну ему вслед. Захватив покрасневшие щеки ладошками, Вера следит за мной, попал я или нет. И каждый раз, когда промазываю, искренне радуется:

— Убежал, слава богу, зайчишка...

Но без нее подстрелю и принесу, радуется вместе со мной удаче, помогает снять шкурку.

Волчьи следы пугают ее, и я на них не указываю. В четырех местах поставлены капканы. Проверяем их. Она любит стрелять, но только не в живое существо. Например, в консервную банку или в ржавое ведро, найденное на берегу Хитрого озера. Обычно возвращаемся в домик уже в потемках. Вадим Петрович сидит за столом, поглядывает на нас поверх очков. Вера снимает свою меховую шапку, курточку, обшитую мехом. Падает на диван.

— Знаешь, где сегодня были, пап? За избушкой, где колеса от телеги валялись. Помнишь?

Рассказывает, что удалось нам увидеть.

Заехали с ней как-то в избушку к рабочим. Те ужинали. У печки возилась молодая сосковская женщина. Нас угостили чаем. Рабочие выпивали, я выпил с ними. Кто-то предложил выпить «за молодых». Шутка пробежала мимо ушей Веры. Вернувшись домой, она рассказала о нашем визите отцу, упомянув о тосте. Внешне Вадим Петрович похож на Штойфа, только крупней немного. А когда дочь смеется, чем-то приятно возбуждена, он напоминает мне Околотова в те минуты, когда дочь его смеялась, слушая мои рассказы. И еще я приметил: когда мы с Верой в комнате, Вадим Петрович хоть и сидит над бумагами, но почти ничего не делает. Изредка тайком, осторожно и внимательно следит за мной. Он неразговорчив. Сообщив что-нибудь из лесной жизни, уходит спать.

— Ну, дети, вы как знаете, а я на боковую. Ты, Верочка, нарушила свой режим, а я уж не буду...

Тихо играет приемник. Вера подбирает на аккордеоне полюбившуюся мелодию. Я лежу на диване с книгой в руках. Вера ничего не читает, она дала себе клятву еще год, полтора не носить очки. Если уж зрение не выправится, тогда вооружится ими. Ей надоест играть, откладывает аккордеон.

— Верочка, иди, почитаем.

Она садится рядом, сидит, поджав ноги, кутаясь в пуховый платок. На секунду отрываясь от строчек, поглядываю на нее. В ее темных зрачках отражается свет лампы. От теней глаза кажутся больше, печальней. Сама она делается как-то меньше, тоньше. И это уже не взрослая девушка, кажется мне, а девочка. Порой читаю вслух, но мысли мои далеко от смысла строчек. Какова жизнь! Вот сидит милое, молодое прекрасное существо, доброе и ласковое ко всему. Загнанное в эту глушь и даже читать не может! Хочется приподняться, погладить ее по головке, сказать что-то ласковое. И какая сила в ней: не хнычет, не убивается, не жалуется на судьбу. Может, это равнодушие к этой судьбе? Нет. Тогда б она не воспринимала с живостью ребенка любую новую жизненную мелочь. Не слушала б с таким вниманием то, что читаю.

— Постойте, постойте, Борис. Я забыла или пропустила, где впервые Куприн увидел Олесю?

Я листаю обратно. Нахожу это место, с удовольствием перечитываю. Время уже за полночь перевалит, а мы читаем. Вера несколько раз снимает нагар с фитиля лампы. Но вдруг я кладу книгу, Вера настороженно с испугом смотрит на меня, прислушивается.

— Ва-а-у-у-уу,— доносится завывание. Это волки. В сарае залаяла Дамка. Страха нет, но неприятный холодок пробегает по спине. Я улыбаюсь, говорю тихо:

— Опять пришли...

— Опять...

— У-у-р-рр...

И не понять, то ли ветер воет, то ли вой отдалился.

Беру ружье, заряжаю патронами с пулями. Потихоньку выхожу на крыльцо. Ветра нет, тихо и темно.

— У-у-у-у...

Опять там, правее от сарая, у самой опушки мелькают желтенькие огоньки. Зажмурясь на секунду, бью в их сторону из обоих стволов. Возвращаюсь в комнату. Вера стелит мне на диване. Вскоре спим...

Поговаривают, будто волков развелось много, а зайцев, дичи стало мало. Волки голодны, злы, наглы. Собак, которых не запирают на ночь, таскают прямо из деревни. В какую деревню ни заедешь, всюду говорят о волках. Частенько я и ночью путешествую здесь, но волков не встречаю. Но вот выпадает неделя, когда мне дважды приходится столкнуться с ними. Нужна подпись Баранова на процентовке по птичнику, председателя нет, уехал в Новогорск. Шуст прислал нарочного за процентовкой, он дожидается у меня в избе. Вечером узнаю, что Баранов вернулся. Спешу в Вязевку. Он председателя иду по избам, где живут рабочие, собираю у них командировочные удостоверения, их надо переслать в бухгалтерию.

Днем мороз был градусов двадцать пять, к ночи стало холодней. Луна затянута мутной пеленой. Звонко, резко потрескивают столбы, изгороди, бревна изб. Огибаю озеро. Надо подняться на бугор, затем тропинка бежит через картофельное поле. Спускается в овраг к ручью. Через него мостик — два обледеневших бревна, по которым нужно быстро пробежать, иначе сорвешься в ручей. Потом опять бугор, а там уж видны огоньки клинцовских изб. Жик, жик — скрипит под ногами снег. Вот я пробегаю по мостику и застываю. Инстинктивно хватаюсь за плечо, ружья нет. Перочинный ножик — жалкое оружие! — но достаю его: по гребню бугра наперерез мне плавно, привидениями скользят шесть длинных волчьих фигур. Я беспомощен, я слаб. Только что был сильным человеком, но стоит сейчас этой одной твари заметить меня — и конец. Налетят, сшибут и разорвут. Ветер в мою сторону. В мою сторону ветер. Ветер будет на меня, это хорошо. Так я шепчу. Ну, бегите же, скорей пробегайте. Скорее. Надо носить с собой ружье. Последняя тень задержалась, стала короче. Я вижу два огонька, они смотрят: дерево я или нечто живое? Еще секунда, еще и я сорвусь с места, брошусь вперед, буду что-то орать, свистеть — вот что мне остается. Я уже качнулся, но огоньки исчезают. Все шесть волков огибают деревню, исчезают. Делаю шаг, второй. Бегу. Дыхание перевел лишь возле избы Васьчихи.

Это случилось в среду. В пятницу в деревню приехали Варварова, Иванов, сам Самсонов. Весь день разъезжаю с ними по деревням. В последнюю очередь посетили Заветы. Отсюда начальство уезжает, едва начало смеркаться, я задерживаюсь: водозабор для подачи воды в коровник сделали осенью у самого ручья, вытекающего из болота. Теперь ручей промерз, вода пошла где-то под снегом в другом месте. Покуда отыскали ее, стемнело. Бригадир предложил переночевать у него. Я бы остался. Но по дороге навстречу нам мчится в санях Полковник.

— Дмитрич, ты? — кричит он.— Садись! Эх, вороные! — визжит он, хотя в сани запряжена косматая лошаденка, пегая от инея.— Разудалые технические!

Я падаю в сани, и вскоре мы несемся уже по белой лесной дороге. Полковник в шубе, от него несет водкой, табаком.

— Где был? — кричу я.

— У Василисы! У сестры Василисы! Она малого женить собирается. Поедем на свадьбу, Дмитрич! Самогону нагнали, пива наварили! Э-э-эх!

Лошадь вдруг вскидывается на задние ноги, шарахается в стороны. Я вылетаю в сугроб. Метрах в пятидесяти от нас пронеслась громадная тень. Трещат кусты. Доносится какое-то повизгивание. Следом за громадной тенью мелькают по дороге одна за одной несколько маленьких.

— Лося гонят,— хрипит Полковник,— мать честная! Волки лося гонят, Дмитрич, вот случай-то! Ты с ружьем?

— Нет.

— Держи!

Он сует мне в руки топор. У самого в руках ружье.

— Бежим скорее, Дмитрич, они уже догоняют его. Пара штук наши.

— Куда ты?

— Бежим. За мной, за мной!

Путаясь в полах шубы, вприпрыжку Полковник бежит по дороге. Я не раз слышал здесь сказку о том, как волки гоняют лосей. Загнав зверя в глубокий снег, набрасываются и рвут. Но покуда гонят его, он отбивается мощными задними ногами. Там, где шла гонка, люди находят трупы волков. За одного волка платят пятьсот рублей. Старик сворачивает в лес, я за ним. Что-то темное ползет впереди Полковника. Грохочет выстрел.

— Нехай здесь лежит,— задыхается старик,— еще будут. Они его нагнали. Еще будут.— Он спешит дальше.

Бежать за ним надоедает, но не могу бросить старика.

— Полковник, стой! Куда тебя черти несут?!

Он исчезает в ельнике. Снег до колена. Поляна. Старик мелькает на ней и снова исчезает. Проваливаюсь в какую-то яму, ноги чувствуют воду. Загребаю руками снег, ползу на животе. Выбираюсь на твердое. Пробегаю метров сто и спохватываюсь — топора в руках нет. Ладно. Опять лес, теперь уже густой, в нем темно. Кажется, что бегу по свежему следу, но приглядываюсь — следы старые, притрушены снегом. Останавливаюсь, долго прислушиваюсь. Хоть бы выстрелил! Ведь загрызут же волки. Теперь чувствую, что ноги выше колен мокры. На мне короткая фуфайка, поверх нее натянут плащ.

— Полковни-ик! — кричу я.

— А-ва-ва-ва! — отвечает эхо.

Где-то справа и далеко хлопнул выстрел. Сворачиваю и бегу. Спина вспотела, а ноги начинают мерзнуть; коленям, ляжкам холодно. Опять проваливаюсь. Потом наталкиваюсь на свежие следы, ведущие в обратную сторону. Бегу по ним. Какое-то поле. Поднялся ветер, подбородок, щеки сводит морозом, а ног уже не чувствую. Развести громадный костер? Достаю спички, они сырые. Сколько времени я бегаю, не знаю. Взяв за ориентир луну, решаю бежать в одном направлении, куда-нибудь выбегу. От бега спина теплее стала, но вдруг останавливаюсь, запускаю руку в ширинку. Этого еще не хватало! Только этого не хватало, шепчу я, хватаю снега и начинаю тереть. Тру долго. Когда закололо, защипало, запихиваю в брюки рукавицу. Бегу. Вот под ногами твердо. Оглядываюсь, я на дороге. Слева что-то темное, это лошадь. Хоть бы не испугалась, думаю я, хоть бы не ускакала. Надо подать голос, но изо рта выползает только: «тл-тл-тл».

Мешком валюсь в сани. Медленно отматываю вожжи. До Вязевки должно быть не более четырех километров, но еду, еду, а по бокам лес. Вот мелькнула изгородь, изба, за ней вторая. Окна не светятся, значит, уже поздно. Сознание у меня работает прекрасно, а ногами пошевелить не могу. Возле избы Полковника лошадь остановилась. Выбираюсь из саней. Падаю, ноги сделались резиновыми и не держат. На четвереньках забираюсь на крыльцо, наотмашь бью по двери. Вот меня подхватывают под руки Полковничиха, еще кто-то. Теплый воздух избы паром обдает лицо.

— Да это Борис Дмитрич! — голос Полковничихи.— Родный, что с тобой? Где набрался так-то? Никак обмерз?

Меня раздевают. Стягивают сапоги. Перед глазами таз со снегом. Кто-то трет лицо, ноги. Вдруг вспоминаю про Полковника, рассказываю. Потом мне

стало тепло, покойно, я вижу какой-то цветущий сад. А на земле снег, и на снегу стоит самовар. Две девушки в легких платьицах пьют чай...

— Дмитрич, Дмитрич!

Раскрываю глаза. Полковник смотрит мне в лицо. Он скалит два своих желтых передних зуба.

— Очухался? Вставай. Сейчас мы самый раз прогреемся...

За столом сидят Молочков и ветеринар Соснин. Ноги и лицо у меня горят, они намазаны гусиным жиром. Выпиваю стакан водки с чаем. Полковник притаскивает из сеней, держа за хвосты, двух волков.

— Тыща, Дмитрич. Половина твоя...

Узнаю: оказывается, я пробегал в лесу всю ночь, в деревню приехал под утро. Полковничиха сбегала к Молочкову, тот поднял Соснина. Они долго искали Полковника, оглашая лес криками, выстрелами. Едва вернулись на дорогу, увидели Полковника, волочившего по дороге за хвосты волков.

— Куда же ты делся, Полковник?

— Хе-хе,— скалит он два своих желтых клыка. Разве он где пропадет? Он нигде не пропадет. Он пристукнул второго волка, как и я, сбился со следа, угодил в какой-то овраг, из которого не мог выбраться. У него имелась бутылка самогона. Разложил костер, сидел, ждал меня.

— Молодые вы все еще... Молоды тягаться с Полковником?

Он подает мне очередной стакан.

— Еще пуншику пропусти.

Пунш — крепкий, сладкий и горячий чай наполовину с водкой. Лицо мое горит, кажется, будто оно распухает. Обмороженные щеки не позволяют даже поморщиться. Под говор мужиков забываюсь. Покуда дремлю, Полковник и Молочков поссорились.

Пересказав десятый раз о ночном происшествии, Полковник ударил себя в грудь, заявил, что он, Полковник, «ежедневно, еженощно» добывает себе деньги сам. Вот и за волками гнался, не убоялся смерти. Теперь получит тысячу рублей. Не то что некоторые; идут себе определенного числа на почту, получают по книжечке денежки. Это был намек на Молочкова, получающего пенсию. Захмелевший пенсионер не остался в долгу.

— Мы эту пенсию горбом заработали,— сказал он, ударив ладонью по затылку,— не то что некоторые другие...

— Что другие? — окрысился Полковник.

— А то.

— Что? Ну? Это ж ты об чем? — Полковник убрал руки за спину. Широко расставил ноги в растоптанных валенках. Жена его прошла с ведром в сени, бросив на ходу:

— Полно вам! Опять сцепились, кобели старые!

Я очнулся, лежу, наблюдаю за стариками.

— Собаками мы не были,— свирепо прошептал Молочков,— людей не разоряли, по лесам не гоняли. А ты, собака, в лес меня загнал, семьи решил, а теперь пенсии завидуешь? Позавидуй, что ж. У государства губа не дура, никому зря денежки не дает.

— Не дает? — взвизгивает Полковник.

— Не дает.

Лицо Полковника гримасничает, он часто, часто кусает губы. Сжав кулачки, бегает по избе, вдруг замирает.

— А отчего ж ты там не остался? Почему? Дознаться бы надо нам.

— Отработал свой век и приехал.

— Куды?

— В гнездо родное.

— А-а! В гнездо! По часам работал, а теперь и огород, и сенокос, и молочко дешевое? А не изволите ли обратно — с базара да с магазина пенсией питаться? А? В очередях и прочее?

— Это туда, где твой Семен с Фенькой-то? Сынок и дочка твои?

И Полковника будто что-то ужалило в поясницу. Присев, колотит кулачками по острым своим коленкам.

— Да, у городе мои дети. В голове у них мозг есть. Через то нужны там.

— А ты б заявил, посоветую тебе, сынка куда следует: мол, контра, из колхоза убег. Представьте его на поселение. А? Скольких ты упек таким манером? И сынка с дочерью туда же! Чего ж ты, Ефим?

— А! Дети мои в глазу сидят!

Полковник бросается на Молочкова, старики схватываются, кряхтят, приговаривая:

— А ты, собака, семьи меня решил!

— Мои дети в глазу сидят?

Соснин разнимает их, уводит Молочкова.

Некоторое время Полковник бегает по комнатам. Успокаивается на кровати. Вернулась Полковничиха. Ставит на лавку ведро с водой.

— Что, буянили, кобели?

— Да. Они часто так?

— Почитай, на месяцу раза два. Как нажрутся хмельного...

Днем пришла врач Цейхович. Осматривает меня, говорит, что дня через три можно выйти на воздух.

— Больничный нужно вам?

— Нет, не надо.

Вечером дремлю, а ночью сна ни в одном глазу. Полковник тоже выспался днем, бродит из угла в угол, что-то бормочет. Несколько раз уходит куда-то. Наконец возвращается с таинственно-воровским выражением на лице. Глядя на дверь, за которой спит жена, на цыпочках проходит к столу.

— Дмитрич, держи-ка,— подает он стакан.

От запаха самогона меня воротит.

— Не хочу, Полковник.

— Ну, бог с тобой, а мы сейчас...

Едва бутылка опустела и посуда убрана, он громко крякает, просит у меня папироску. Начинается знакомое мне представление.

— Еще так-то дак ух, как горазны все, Дмитрич,— снует он возле меня, то и дело поддергивая штаны,— посмотришь, просто одно великолепие в порядке вещей. А ума нет. Нету ума. Ум-то понять трудно, невозможно при обстоятельствах. Куда! Сила нужна. Ежели, например, оно не так поворачивается, ты его за рога и вороти, вороти! Правильно я говорю?

— Да ты о чем? Хоть раз растолкуй, о чем говоришь? — прошу я.

— А-а! Не понять? — он хитро подмигивает, стучит себя по лбу.— Вот здеся надо иметь. Да. А я все о том же, о том самом!

И он плетет, плетет черт знает что. На вопрос: «Правильно я говорю?» я уж киваю молча, лишь бы не кричал, не стрелял из пальца.

Но вот я начинаю дремать, и в словах Полковника улавливаю какой-то смысл. Прислушиваюсь. Он вспоминает прошлое. Когда-то он носил портупею и была у него шапка-кубанка. Штаны-галифе оттягивал шестизарядный бульдог. Вся деревня боялась его, Полковника! Никто не смел перечить ему! Скажет слово — шабаш! В любой избе рады были угостить его, а от девок отбою не было. И вот подгадила ему эта учительница, чтоб ей повылазило! Стерва, она приехала сюда и поселилась в домике при школе. Была она красива и чрезвычайно горда. Как ни подъезжал к ней Ефим со своей вежливостью, она не обращала на него внимания.

Как-то приехал в деревню хороший знакомый его из города, увидел учительницу и говорит: «Да это ж Ольга Корсакова, она же из дворянок. Ты, Ефим, проследи за ней».

Ефим намотал это на ус, вечером явился в домик к учительнице. Положил на стол бульдог, учинил допрос насчет ее прошлого и родителей. Припугнул основательно. Пообещал держать все в секрете, ежели она согласна иметь с ним любовь. Учительница вспылила, выгнала его и той же ночью ушла в город. Через три дня приехали укомовские работники, сняли Ефима с должности. Отобрали бульдог. И с той поры начальство будто забыло о нем. Даже на его письма и доносы не обращало внимания.

— И кабы из-за чего, Дмитрич, а то из-за бабы какой-то жизнь моя перевернулась...

Спустя сутки я покидаю избу Полковника. Он настойчиво сует мне деньги:

— Это твои, это твоя половина, Дмитрич.
— Не надо, не надо.
— Ну бог с тобой. Выпить захочешь, завсегда приходи гостем.
Проехал по объектам. Везде спокойно, люди работают. Зима даже чикинцев сделала спокойными, рассудительными. Чикарев после женитьбы остепенился. И на работу ходит в новых валенках, в аккуратной фуфайке. Бригада его перебралась жить в Вязевку, он живет в Клинцах. Мы с ним иногда вместе возвращаемся вечером домой.
— Ну, а как новая семейная жизнь? — спрошу его.
Скалит свои белые зубы.
— Кончим строительство, здесь останешься?
Удивленно смотрит на меня и закатывается еще больше, качая головой...
Проходит неделя, вторая — никаких происшествий.
Дважды побывал здесь Гуркин.
— Приехал, сын, к тебе... Как тут дела идут?..
Уезжая, добродушно ворчал:
— Давай, давай, сын, проворачивайся...
Даже посидели с ним за столом, выпили две бутылки водки. Водку вливает он в себя стаканами, как в бочку.
Вообще с начальством наладился контакт. Поспеловцы опять заработали большие деньги — по сто пятьдесят рублей в день на человека. Шуст предложил срезать по тридцатке: в управлении с фондом зарплаты туго. Для порядка я поупрямился и срезал. Расчет всегда можно сделать так, что рабочие не заметят грабежа. Себя утешаю: деньги взял не себе, сделал это не по своему желанию. Любой прораб, скольких я знаю, поступил бы так же. Я не карьерист, к деньгам равнодушен. Но вдруг получил премию, и это обрадовало меня. Премия дана не за мою работу, за выполнение плана по управлению. Ну и что ж? В том, что дело здесь продвигается медленно, я не виновен. И премия как раз говорит об этом. Как бы там ни было, к весне я разделаюсь с деревней, получу в Кедринске прорабство. Я буду прорабом. А расти по службе надо.
Маердсон в Кедринске уже назначен старшим прорабом. В тресте поговаривают, что он растет и, когда женится, остепенится, возможно, пойдет быстро в гору. Приятно, когда так говорят о тебе.
Но хоть у меня и контакт с начальством, я взял за правило: каждую неделю надо писать докладные на имя Гуркина. На тот случай, если в верхах серьезно заговорят о строительстве в деревне. Поднимется шум, начнут искать виноватого. Но его-то нет, а он должен быть. И его найдут, им окажется «стрелочник», то есть я. Но я не дамся. Со своей кипой бумаг я отобьюсь от кого угодно.
Стал я много читать. И меня больше интересует то, о чем говорится в книге, нежели окружающая жизнь. Она, эта жизнь, есть что-то само собой разумеющееся, не зависящее от меня. Течет и течет широким потоком, по которому нужно плыть озираясь, чтобы не зацепиться за корягу или не наскочить на мель.
Чувствую, как странно я жил до сих пор. Испытывал какую-то неудовлетворенность. Порой наваливалась тоска, места себе не находил. Будто искал что-то важное, очень нужное. Лежащее где-то поблизости, но пока что невидимое. Глупо. Глупо искать что-то невидимое, пропуская мимо жизнь. Она дается один раз, прожить ее надо без ошибок. Да, да. Человек общества не должен ошибаться. Общество может позволить себе такую роскошь. А вместе с ним уж и я. Вина за ошибку ляжет на миллионы таких, как я. Результат ее распылится, унесется временем в прошлое, и никто в отдельности не пострадает. Нужно меньше рассуждать, а знать свои обязанности. И для их исполнения выработать какие-то принципы. Например, утром я говорю себе: сегодня должен сделать то-то и то-то. И если, скажем, в Вязевке не окажется свободных лошадей с санями для вывозки бревен к дороге, я напишу об этом в докладной. Даже потребую от Баранова справку «в том, что колхоз не в состоянии» и так далее. И уже теперь, когда я, сытый, румяный и сильный, выезжаю утром из Клинцов на объекты, настроение у меня прекрасное. Мне тепло, уютно в своем полушубке. И кажется, будто так же тепло, уютно и вот этим кустам, деревьям, избам, заваленным снегом...

«Братья» вдруг покидают деревню. В обеденный перерыв бригадир их находит меня в правлении. Подает пачку заявлений для подписи.
— Почему вы уходите? — спрашиваю я.
— Так... Холодно здесь, глухо. Махнем куда-нибудь на юг.
— Ну что ж...
Бригада сдает инструменты, спецовки. В этот же вечер уходит в Кедринск. На следующий день она уже в пути, поезд уносит ее куда-то. А спустя сутки, вечером, в Клинцы прибегает нарочный от Баранова. Говорит, чтобы я шел немедля в правление.
— Зачем?
— Что-то с Молочковым случилось.
— Да я при чем?
— Не знаю. Рабочие ваши что-то сделали Молочкову. — И мальчишка несется обратно.
Седлаю Зайца.
В правлении народу битком. Шумно. За столом, в центре, сидит Молочков, лицо его красно и распухло. Даже глаз не видно. Когда он хочет разглядеть что-то, пальцами раздвигает веки.
Участковый Верейский, Баранов и Соснин сочиняют протокол. Оказывается, накануне отъезда «братьев» Молочков заметил, как они выносили из его сарая банки с консервами. Он простодушно поинтересовался, откуда взялись эти банки.
— Сие есть великая тайна,— ответили ему.
Тотчас привязали старика к кровати, оставив свободной левую руку, которой он слабо владеет. Уж не таясь, принесли водки, сыру. Устроили пир, угощали старика. Один из «братьев» читал стихи, потом трое разыграли у печки какую-то пьесу. Утром повесили на двери замок, а по деревне пустили слух, будто Молочков ушел в Заветы к внучке. Двое суток старик звал на помощь, пил водку и пел песни. Выручила его Акиньевна, учуявшая странные звуки, доносившиеся из избы соседа.
Вот протокол составлен, я тоже должен подписать его. Подписываю: ни на меня, ни на управление тень не может упасть, ибо «братья» у нас уже не работают.
— Борис Дмитрич, ты куда сейчас? — Это говорит мне Баранов.
По его голосу и глазам понимаю, что он хочет пригласить меня к себе на вечерок. Совсем недавно он сторонился меня, а я с удовольствием поговорил бы с ним. Теперь не хочется. Зачем? Целый вечер видеть перед собой худое, обросшее лицо с круглыми провалившимися глазами. Слушать о том, что кормов опять не хватит в этом году. И в марте придется кормить скот березовыми ветками. Значит, часть коров надо пустить под нож. А молодняк будет болеть и гибнуть. А ведь под снегом много полян осталось нескошенными. А государство обещало дать кормов. Но на Украине случилась засуха, уродило худо. И государство ничего не дает. Будет он говорить о том, как народ приноровился уходить в город: детей уже с десяти лет отсылают к родственникам, знакомым. Дети ходят в городские школы, потом получают паспорта. И в деревне остаются те, кто поленивей, глупее, нерасторопней...
Я буду чокаться с Барановым, смотреть на него и думать о чем-нибудь своем. Скучно. Ему уже скоро пятьдесят. Пора бы кончить рассуждать. Помоему, либо уезжай отсюда, либо действуй как-то.
Выработай какие-то принципы, соответствующие действительности, и действуй вовсю. Хоть ори на всех, штрафуй людей за любой проступок, ну как хочешь поступай, но действуй. Или надо ехать к Волховскому, подружиться с ним... Впрочем, какое мне дело до его образа жизни. Каждый должен знать свои обязанности.
— Еду домой, Алексей Михалыч,— отвечаю я председателю,— наряды надо закрывать.
Но еду я не в Клинцы. У развилки придерживаю Зайца. Махнуть в Кедринск?
Восьмой час. Маердсон и Мазин, конечно, уже чем-то заняты. Навестить Николая нет особого желания. Краевский покинул Кедринск. Люся осталась

навсегда с Николаем. Живут они славно. А вот ехать к ним не хочется. Николай много читает, даже ведет какие-то записи. Когда заявишься к нему, набрасывается с вопросами о работе, жизни деревни. Да с таким видом, будто ему страшно интересно, важно, очень нужно знать всякие житейские мелочи. Потом ударится философствовать.

Рассуждать, спорить, я думаю, нужно тогда, когда предчувствуешь какой-то результат спора. Философствовать можно о том, что тебе хорошо известно, чем ты живешь. Николай же толкует на отвлеченные темы. Последнее время начинает обычно с утверждения: просвещение, то есть образование, еще не дает права человеку называть себя культурным. Можно быть технически грамотным, создавать уникальные машины и оставаться скотом.

Мы уже не студенты. И нужно бы разговаривать спокойней. Он же то и дело выпрыгивает на диван из коляски, затем снова садится в нее. Катается и слова не произносит, а будто выплевывает в меня, будто я в чем-то виновен.

— Человека воспитывают традиции! — кричит он.— У нас есть революционные традиции, военные, а интеллектуально-этических традиций нет, они только зарождаются. Мы должны вырабатывать их в себе! Их создают поколения!

И сразу набрасывается на литературу. Дескать, современная литература в своей массе трактует вечные вопросы о добре, зле, любви с точки зрения участкового милиционера. Бьет муж жену, скандалит, пьет — он негодяй. Живет тихо, мирно, не шатается по улицам под звуки собственной песни — хороший человек. Отношение к действительности, продолжает он,— коренной вопрос в любой современности. Любая современность, если она прогрессирует,— борьба. И вот кому и с кем у нас бороться — это неизвестно. Например, у нас появилось много книг, в которых крошат на чем свет стоит директоров — карьеристов, бюрократов. На последней странице писатель обязательно прихлопнет негодяя. Но писатель не участковый милиционер. Он врач, ему нужны причины. Да и какое ему дело до директора, когда при любом заводе имеются профкомы, завкомы, то есть общественность, которой ума не занимать, и она без писателя разнесет в клочья любого негодяя. Если же сидит такой негодяй и его не несут по кочкам, значит, общественности нет. А вокруг него сидят просто чиновники. И в первую очередь их надо гвоздить, а не директора...

Вот так он будет рассуждать, кричать. А я буду смотреть на него и думать: «Это ты, братец, философствуешь потому, что ты калека и делать тебе нечего. А намотался бы целый день, как я, по деревням, небось не пел бы таких песен».

Понятно, мне надоест слушать друга. Я буду подавлять зевки, прислушиваться, как Люся стучит посудой на кухне. Вот она накрывает на стол, на нем появляется графин с водкой. Я оживляюсь. Но и за столом оживление недолго владеет мной. Люся по-прежнему приветлива со мной, даже ласкова. Я чувствую, что присутствие мое приятно ей. Она, так же как и Николай, в разговоре со мной искренна. И вот это-то меня смущает: я и ей не могу отвечать искренностью. Когда-то в Москве ее обманул курсант военного училища. У нее был ребенок, она сошлась с военным моряком. И этот, по ее словам, оказался негодяем. Потом встретился пожилой Краевский. Теперь она покинула его. Женщина с таким прошлым не внушает мне уважения к себе. Я авансом уже не верю ей. «Пройдет год-два,— думаю я, глядя в ее красивые глазки, на ее свежие красивые губы,— встретишь ты кого-нибудь и бросишь Николая».

Сидеть у людей за столом, беседовать с ними, шутить, а думать о них бог знает что — гадко...

Дергаю правый повод, Заяц сворачивает на просеку. Еду к лесничему. В этот вечер мне стало ясно окончательно, почему меня тянет в этот домик.

За чаем я рассказал между прочим, что в субботу в Кедринске состоится открытие Дома культуры. Заводоуправление наняло оркестр, будет много народа.

— Вы поедете? — спросила меня Вера.

— Да, Верочка, пожалуй...

Вера больше ничего не спросила. После ужина уводит отца в спальню, о чем-то шепчется с ним. Когда он возвращается, я сижу на диване, смотрю газету. Она присела рядом.

— Вы обязательно поедете, Борис?

— Куда, Верочка?

— На открытие.

— Обязательно.

— Знаете... а меня не могли бы вы взять с собой?

Я отложил газету.

— Конечно, Вера! Поедем! Вадим Петрович?

— Да, да,— кивает он.— Поезжайте. Зайца оставь мне, а в моих санках поезжайте.

Весело обсуждаем этот вопрос. Остановимся у меня в комнате. На вечере долго не задержимся, уйдем пораньше, к полночи успеем вернуться. Если же погода испортится, ночью не поедем, переночуем у меня.

— Ох, господи, я давно собиралась съездить в Кедринск!

Вера исчезает в спальне, вскоре появляется в туфельках, в узком черном платье. Волосы собраны пучком на затылке. Не глядя на нас, она прошлась по комнате. Останавливается передо мной.

— Ну, как?

Я увидел перед собой не милую красивенькую девочку, а взрослую девушку. Замечаю, как осторожно взглянул на меня Вадим Петрович. Мне становится неловко, будто меня уличили в чем-то гадком. Чтобы скрыть смущение, я потягиваюсь, даже стараюсь зевнуть.

— Очень, очень хорошо, Вера.

— Вот так я и поеду. Хорошо? Только знаете, Борис, давайте отрепетируем глаза. Надо, чтобы они не очень щурились и не очень раскрывались.

Остаток вечера занимаемся репетицией.

— А так?

— Чуть пошире открой.

— Так?

— Так хорошо.

Когда отец и дочь затихли в спальне, я лежу на диване, заложив руки под голову. Я понял, что люблю Веру. Но каково ее отношение ко мне? Долго я лежу, прислушиваюсь к тишине. Спит ли она? Нет? Засыпаю с мыслью, что завтра пораньше разделаюсь с делами, приеду в домик, когда Вадим Петрович еще будет в лесу. Но пораньше приехать не удается. Волховской не пожелал, чтобы зимой сделали малярные работы в коровнике. Принимает его без малярки. Он, Алексей и еще четверо мужиков — комиссия. Все они прекрасно знают, как велась работа, но для порядка несколько раз обходят молча вокруг строения. Топчутся у кормушек, измеряют ширину стойла. Наконец приходят в молокосливную. Здесь собрались все поспеловцы возле печки.

Волховской опускает свою тушу на скамейку. Мужики присаживаются напротив.

— Ну, так что? — говорит Волховской, помолчав, глядя на членов комиссии.

Алексей переступил с ноги на ногу и молчит. Мужики переглянулись.

— Какие будут замечания?

Молчание.

— Что ж молчите? Семен?

Семену лет пятьдесят. Он снимает зачем-то шапку, приглаживает волосы ладонью. Снова покрывает голову.

— Да что ж, Николай Никитич, что ж тут говорить... Все сделано согласно проектам.

— Проектам, проектам! Нравится коровник? Принимаем?

Семен усмехнулся.

— Так ведь и денежки заплачены. Чай не даром сделано. А перегонять скотину надо из старого. Там пол совсем просел.

— Значит, принимаем?

— Ну как же...

— А с какой оценкой? Ему,— председатель кивает на меня,— в акте оценку поставить надо.
— Хорошо сделано, чего ж...
— Ну так и решили. Пойдемте акт писать. А вы, ребята, в двенадцать приходите в правление. Колхоз дает обед в честь, так сказать, окончания строительства коровника.— Это он говорит плотникам.
Члены комиссии разом оживились. Еще раз осмотрели коровник, спешат распорядиться о перегоне скотины.
Женщины и девушки несут к правлению кастрюли, тарелки. Узнаю, что колхоз зарезал для угощения кабана и теленка. Акт подписываем в избе Волховского. А ровно в двенадцать я сижу в правлении за столом между Волховским и Алексеем. Двое парней наливают из огромной бутыли в графины спиртное, девушки расставляют графины на столе, Волховской поднимается, он благодарит строителей за хорошую работу. Надеется, что плотники проработают в колхозе еще и так же хорошо. В ответном слове я говорю: строители, конечно, хорошо поработали. Однако если б колхоз не приготовил материалы, не помогал бы нам, то стройка затянулась бы.
Все выпили. Минут десять спустя Волховской наклоняется ко мне:
— Пошли, Картавин, в мою избу. Здесь нам теперь делать нечего. А там поговорим.
Мы уходим. В избе председателя никого нет, но стол накрыт.
— Убежали, должно быть, к Насте... Садись...
У него две взрослые дочери, а матери нет, она умерла три года назад. Дочки в том возрасте, когда отец, как наставник в некоторых вопросах, не пригоден. Он поговорил со своей сестрой Настей, и та просвещает дочерей. Волховской улыбается.
— Ну, мы и одни как-нибудь посидим...
Я спрашиваю, чем там угощают плотников — самогоном?
— Крепкая штука?
— Очень.
— Нет, это не самогон.— Он задумывается, глядя в окно. Вдруг жирное тело его трясется от смеха. Ударяет ладонью по столу.
— Ладно, начну с этого...
Его колхоз не играет ни в какие бирюльки с государством. С государственными учреждениями у них чисто деловые отношения. Колхоз никогда у государства ничего не просил и не просит. Но и себя грабить не позволит. В сорока километрах отсюда расположен небольшой спиртзавод. Колхоз поставляет ему почти по себестоимости продукты. За это заводик отпускает «Красному пахарю» спирт и тоже по себестоимости.
— Считай, у меня пятьсот дворов. Каждый двор на праздник обязательно купит литр водки, который стоит в магазине пятьдесят рублей. В году пусть десять всяких праздников. Это, значит, за один год из колхоза уплывет двести пятьдесят тысяч рублей.
Волховской молча посмотрел на меня.
— Одна такая сделка с заводиком оставляет в моем колхозе двести тысяч рублей в год. Да.— Он опять трясется от смеха.— Ну это ладно... Я вот о чем хочу с тобой поговорить...
Этот человек предлагает мне остаться жить в его колхозе. На первых порах я буду получать те же деньги, что и в тресте. А там видно будет. Продукты у него дешевы. Если женюсь, колхоз построит мне избу. Он, Волховской, давно мечтает о таком специалисте, как я. Чистый годовой доход колхоза колеблется от восьмисот тысяч до миллиона. Нужно связать деревни хорошими дорогами, создать несколько строительных бригад, разработать генеральный план центральной деревни, которую надо построить вместо Хомутовки. Провести водопровод, построить плотину... Придется, конечно, нанимать людей со стороны. Работа большая, заниматься ею должен человек с образованием.
Часа два я слушаю этого удивительного человека.
— И заметьте: вы будете полным хозяином,— он складывает руки на животе,— вот я и высказался. Это в основных чертах. Суть, думаю, вам понятна, объяснять детали сейчас не буду. Ответа сразу не прошу. Подумайте.

А теперь, извините, я пойду прилягу. Что-то тяжело стало. А вы один угощайтесь.
Прижав ладонь левой руки к груди, он уходит в другую комнату.
— Только серьезно подумайте...
Сижу один. Наливаю в стакан. Пью. Вот это да. Вот это предложение. Надо подумать. Действительно, надо серьезно подумать. Поеду сейчас в Вязевку, потом загляну в «Искру». По дороге решу этот вопрос. Плохо, что много выпил. Пожалуй, в таком состоянии нельзя принимать решений. А заманчиво. Среди леса, в глуши, выстроить деревню-городок. Воображение рисует этот городок с чистыми улицами, домиками. Канализация, водопровод... Впрочем, ладно, подумаю после. Пошатываясь, выхожу во двор. В правлении поют, играет радиола. С трудом забираюсь на Зайца. Выехав за деревню, чувствую, как сильно кружится голова. В таком состоянии нельзя ехать к рабочим. И к Вере не нужно ехать в таком виде. Еду в Клинцы. Всю дорогу не выходит из головы предложение Волховского.
Ночью мне снится, будто я уже пожилой и почему-то бородатый вожу какую-то делегацию из деревни в деревню по отличным дорогам, обсаженным какими-то причудливыми плодоносными деревьями. Показываю конюшни, плотину. Захожу с восхищенными незнакомцами, щелкающими аппаратами, в светлые дома. В каждом доме хозяйка приветливо нас встречает, приглашает к столу. И все улыбаются... Но проснувшись утром следующего дня, полежав и подумав, решаю отказаться от предложения Волховского. В двадцать пять лет запереться в лесу? Нет, пожалуй, не стоит. Рано. Да и к чему. И вчерашние мысли кажутся мне несерьезными, детскими.
В субботу, в начале третьего, собираемся с Верой в Кедринск. Вадим Петрович запряг в сани свою кобылку. Застеливает полость саней медвежьей шкурой.
Над головой небо чисто, но с северо-запада наползает темное облако. Часто именно оттуда налетают метели. Вера укладывает в сумку свое платье, туфельки, еще что-то. Надевает валеночки, шубку.
В сенях Вадим Петрович задерживает меня.
— Борис Дмитрич,— он тихо шепчет,— я попрошу вас: присмотрите за Верочкой. Поберегите ее.
По просеке мы проехали шагом. Через Хомутовку пролетаем так, что сани в разбитой колее то и дело идут вразнос. Потом мчимся в туннеле, образованном стволами деревьев, их ветвями, заваленными снегом. А вырвавшись из туннеля, попадаем в настоящее снежное месиво. Здесь пурга. Покрываю Веру медвежьей шкурой, смотрю в глаза девушки, они слабо улыбаются.
— Не страшно? — кричу я.
Губы ее шевелятся, она качает головой. Промелькнула человеческая фигура, стоящая у дороги. Мне кажется, это Полковник. Теперь не видно ни леса, ни неба. Лишь у самого Сорокина вырываемся из снежного месива. На шоссе спокойно. Гудят машины. Я не ожидал, что, как мальчишка, почувствую неловкость, оставшись наедине с Верой. Буду отыскивать тему для разговора. Молча распрягаю лошадь, молча уходим с Верой в дом.
— Вы здесь и живете? — говорит она, останавливаясь на середине комнаты, оглядывая стены.
— Да. Собственно, не живу, а изредка ночую. Замерзла?
— Нет.
Помогаю снять шубку.
— Ты будешь переодеваться?
— Да. Утюг есть у вас?
Приношу от соседа утюг.
— Переодевайся, а я сейчас...
— Вы куда?
— В магазин. Я быстро. Надо поужинать.
Ей надо освоиться, пусть подольше побудет одна. Иду в самый дальний магазин. Вернувшись, застаю ее сидящей на койке. Она переодета.
— Это что?
— Это вино, это водка. Здесь закуска. Отметим с тобой удачный приезд.

Я рассказываю о своих соседях, о том, как и где жил до получения этой комнаты.

Водка развязала мой язык, к тому же я выбрал спасительный шутливый тон в разговоре, и это выручает. По дороге в Дом культуры мы весело болтали. У дверей толпа — слишком много желающих попасть на открытие. Но Маердсон сегодня ходит в дежурных, он проводит нас через черный ход.

Горят огромные люстры, гремит оркестр. Должно быть, Вера забыла про глаза, про репетиции с ними. И когда знакомлю ее с товарищами, когда танцуем, улыбка не сходит с ее лица. Но вот в перерыве между танцами я делаю глупость. Мы поднялись на балкон, прошлись вдоль перил. Подходят Латков и Маша. Я оставляю Веру с Машей, ухожу с Латковым покурить. Возвращаясь, вижу, как Маша что-то рассказывает Вере, указывая рукой в зал. Когда молодожены уходят, Вера берет меня за руку, сильно сжимает. В глазах у нее слезы.

— Что такое, Вера?

— Уедемте отсюда, Борис.

— Да что случилось?

— Мне плохо.

Покуда одеваемся, она крепится. На улице разрыдалась. Дрожа и всхлипывая, глотая слова, говорит, что она слепая. С людьми быть ей нельзя. Ей говорят, показывают, она кивает, но ничего не видит. Успокоилась Вера только когда уложил ее в постель.

— Напрасно меня взяли,— сказала она, печально улыбнувшись,— вы где будете спать? Не уйдете?

— Нет, Верочка, не уйду. Я вот здесь себе постелю.

Лицо ее осунулось, побледнело. В глазах была слабость. Когда она уснула, губы ее продолжали что-то шептать. Я сидел за столом, смотрел на нее. В горле у меня застрял комок, на глазах были слезы. Долго сидел неподвижно. Потом допил водку и лег спать. На улице светало.

Проснулись мы поздно, часов в одиннадцать. Я приготовил чай, мы позавтракали и уехали в деревню.

Прошло шесть лет. Кедринск я покинул весной того года. С Верой мы поженились в феврале. Помню, как она, я, Вадим Петрович, Маердсон и Мазин ездили в Новогорский загс. На обратном пути нас захватила метель, мы сбились с дороги, долго плутали по лесным просекам. И к домику приехали в полночь. Домик светился; было шумно, весело. Наверное, со дня его сотворения он не знал такого веселья. Да и я, пожалуй. Среди ночи метель улеглась. Вадим Петрович, гости тоже уснули. Мы с Верой оделись, вышли из домика, долго ходили, хрустя снегом, по дорожке от домика до просеки. От любви и вина я был сам не свой. Я не чувствовал, что я старше Веры, я был мальчишкой.

Месяц мы прожили чудесно. Работа в деревне подходила к концу; я начал хлопотать о квартире в Кедринске. Вадим Петрович собирался осенью вернуться в Ленинград писать какую-то научную работу. Как вдруг случилось несчастье. Однажды Вадим Петрович не приехал из леса обедать. А под вечер пришел плотник из бригады Жукова. Сообщил, что Вадим Петрович в вязевской больнице. Вот что случилось. Километрах в пяти от Хомутовки, на просеке, он наскочил на волчью свадьбу. Лошадь понесла. На повороте легкие санки опрокинулись. Вадим Петрович вылетел в снег, но вожжи не выпустил, боясь остаться на съедение волкам. Только в Хомутовке он разжал пальцы. Лицо его было изуродовано, одна нога сломана. А главное — разбит череп. Пролежал он в больнице две недели, никого не узнавал. Его отвезли в кедринскую больницу, там он скончался. Похоронили мы его на вязевском кладбище.

После этого жить в лесу Вера не могла. Я срочно передал объекты молодому мастеру, перебрался в Кедринск, где получил квартиру. Но Вера и здесь тосковала. Вернувшись с работы, я заставал ее сидящей на диване. Обхватив колени, положив на них подбородок, она молча смотрела перед собой. При моем появлении она оживлялась, весь вечер была весела. Слушала музыку по

приемнику, играла сама. Но дни она проводила в одиночестве. Она сильно исхудала.

Я взял отпуск, мы побывали в санатории, у моих родных.

Когда вернулись в Кедринск, она слегла в постель.

Врачи предлагали ей лечь в больницу на исследование, так как никакой болезни в ней не находили. Вера наотрез отказалась. Гуркин продлил мне отпуск, и я не оставлял Веру одну. Но она, как говорится, таяла на моих глазах. Умерла она в одно воскресное утро. Оно было солнечное, теплое. Я ушел на кухню сварить кофе, а когда принес его, она уже не дышала. Страшно вспоминать об этом...

Живу я сейчас в средней полосе России. Работаю главным инженером строительного управления. Я женат, у меня двое детей. Уже точно известно, что осенью меня назначат главным инженером треста. Каждый год я езжу в Кедринск и в Вязевку. Кладбище в Вязевке возле соснового бора. Я приношу цветы на две могилки, окруженные железной оградкой. Подкрашиваю ее. Посидев на скамеечке, ухожу в деревню. Баранова здесь давно нет, он уехал в Ленинград. О нем вспоминают так:

— А вот тот, которому кровь чужую дополняли.

Или:

— Да который с Настей-пекарем-то жил...

После Баранова побывало здесь четыре председателя. Теперь этот пост занимает ветеринар Соснин. Он располнел, лицом немного распух. Жалуется:

— На двести вязевских дворов у меня приходится всего пятьдесят три работоспособных человека!

Акиньевна померла, изба ее заколочена и скоро развалится. Молочков помер. Он замерз зимой по пути в Заветы. Получив пенсию, выпил и отправился в Заветы к внучке. На полпути присел под сосной, отхлебнул из бутылки и заснул вечным сном.

Полковник жив. Он все тот же. Вставил себе челюсти, мечтает прожить еще лет двадцать. Как и шесть лет назад, будучи под хмелем, бегает по деревне, стучит себя в грудь. Грозит чем-то односельчанам.

В Клинцах стало еще тише. Хозяйка моя, Сергеевна, года два назад погорела. Говорит, будто виновата в этом Васьчиха. Но доказательств нет, и Васьчиха спокойно живет. Сергеевна поселилась в избе Вани, который помер. Сергеевна живет с его старухой.

Жив и дедко Серега, он еще крепок, только больше ссутулился. Жива и Мотя Раевская. Маруся ее живет в Кедринске, работает на заводе. Чикарев бросил ее: отслужил срок в армии и уехал куда-то на восток.

Аленкин по-прежнему бригадирствует. Год назад с ним случился грех: выехал с Яшей сеять овес. Да кто-то приметил: ездят они по полю с пустой сеялкой. Заговорщиков накрыли. Оказалось, они семенной овес пропили. Полгода Аленкин ходил в разжалованных, но потом его снова поставили бригадиром, послали в область на курсы.

Пожив день-два в деревне, еду в Кедринск. Это уже настоящий город, завод дымит круглые сутки. Много детишек, молодежи. Останавливаюсь я у Николая. Люся работает на заводе. Он ходит с костылями, хорошо управляет машиной: у них своя машина. Работает Николай инженером в ремонтностроительной конторе. У них ребенок — девочка.

Федорыч умер два года назад. После работы зашел в прорабскую, выпил перцовки, положил голову на стол и больше не поднял ее.

Маердсон и Мазин уехали куда-то под Котлас, там новая стройка. Латковы здесь. Околотов с женой уехали на родину в Белгородскую область, куда направили работать после окончания института их дочь.

О ком еще сказать? Молдаванку я не встретил ни разу. Видимо, она уехала вместе с трестом, который перевели куда-то в Кулунчу. А может, она путешествует где-нибудь.

Переночевав у Николая, я уезжаю домой. А через год опять еду в эти места на несколько дней. Жена не понимает, что может меня тянуть сюда. Я ей не объясняю.

— Хочется,— говорю я.

▣ ▣ ▣

Ты мне чаю не готовь,
Лучше сядем тихо.
Спой мне нынче про любовь,
Бабка Воробьиха.
Чтоб глаза — ясны-ясны,
Чтобы сгинул гул мирской,
Чтобы встали *три сосны*
На *дорожке муромской.*
Чтоб в саду твоем в закат
Иглы астр обмякли,
Чтоб ревнивый *Хас-Булат*
Выходил из *сакли.*
И, покуда лес, как щит,
Елку к елке лепит,
Чтобы *замерзал ямщик,*
Едущий по *степи.*

Потускнеют над землей
Облака не скоро.
Спой, зажги перед душой
Те, *златые горы.*
Пусть — дрожащий голосок,
Пусть во рту — ни зуба;
Внучка прыснет в кулачок,
Забежав из клуба,
Впустит в двери языки
Скачущего ритма,
Прошумят ее дружки,
С темнотою слитны.
Пой, гляди в пожар окна,
Где закат без края,
Где поет с тобой одна
Липа вековая.

РЕКА УШЛА

Вода зажглась огнем рябинных ягод.
К полудню ветер пыльный — горячей.
— Да как же так река ушла?
— Да так вот,
Ушла и все. Оставила — ручей.
Я, помню, у моста, где были сваи,
Разбил ногой осенний слабый лед,
Вдруг вижу — рыба, тьма ее: живая,
Стоит, где глубже, дальше не идет.
Тогда мы с мужиками на салазках
Весь день ее возили. Велика,
Жирна, и не уха с нее, а сказка —
Всему селу. Вот так ушла река.—
Старик побрел по скошенному склону,
В осоке взгляд задумчивый топя.
— Ушла и все...
давно ли — не припомню,
Еще, поди, и не было тебя...—

Дрожь по спине прошла.
Казалось странно,
Что в гневе, в час рассветной темноты,
Ушла река — и плотный шлейф тумана
Полз позади, цепляясь за кусты.
Ушла, темна, как женщина, за ласку
Хлебнувшая сполна обид и мук.—
Берите все! Тащите на салазках
В следах ее застрявших узких щук.
Тому же, кто ее, в обиде черной
Ушедшую, отправится искать,
Придется, не найдя дороги торной,
Семь пар сапог железных истоптать.
Ведь в тридевятом царстве край
неведом,
Где ждет она и песни льет свои —
В одежде, заколдованной рассветом,
В огнях цветов и рыбьей чешуи.

В ДЕТСТВЕ МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИЛИСЬ ВОЕННЫЕ ОРКЕСТРЫ

Парад! и вы, оркéстровые трубы:
Пора! — и в парк, по площади прямой.
Шарахнется пирожник белогрудый,
Нездешний китель спорит с синевой.
Прохладный петушок в обертке тает,
И зреет ягодой малиновый трамвай,

И раскидай, как бешеный, летает
Вокруг руки: летай пока, летай!
И вафли теплые, и запах зоопарка,
Дразнящий вход, жираф и карусель...—
Нет, не туда! — на площади, под аркой,
Звенит, срывается,
клокочет медный хмель.

▣ ▣ ▣

Я — береза, ты ветер: вдруг
Всю охватишь — сомнутся ветки.
Оборвутся на пестрый луг
Паутинок сухие сетки.
Захлебнется листва вперед
Полетит, заплещет, обнимет...

Ветер дует — береза поет,
Будто ласку — ненастье примет:
Пусть тускнеет ствола белизна,
Гибких рук ломаются кисти —
Хуже нет, чем сейчас: тишина,
Ветер стих — и повисли
листья.

Выбор темы

Из записей 1920—1930-х годов

Тынянов говорил о литературной биографии Пушкина: «Всем известно, что у Пушкина была няня... Я не сомневаюсь в том, что она делала для Пушкина все, что полагается няне, но все-таки не она научила его быть национальным поэтом. Ранний Пушкин прошел под знаком французов — к русскому фольклору Пушкин приходит гораздо позже, уже зрелым поэтом».

Говорим со Шкловским о «Zoo». Вспоминаю его фразу о человеке, которого обидела женщина, который вкладывает обиду в книгу. И книга мстит.

Шкловский: А как это тяжело, когда женщина обижает.

Я: Все равно каждого человека кто-нибудь обижает. Одних обидела женщина, других бог обидел. К сожалению, последние тоже вкладывают свою обиду в книги.

Я сказала Брику:

— В. Б. 〈Шкловский〉 говорит точно так же, как пишет.

— Да, совершенно так же. Но разница огромная. Он говорит всерьез, а пишет в шутку. Когда Витя говорит: «Я страдаю», то это значит — человек страдает. А пишет он: я *страдаю* (Брик произнес это с интонацией, которую я воспроизвела графически).

Сергей Третьяков перебранивается с Дмитрием Петровским.

У Петровского есть какое-то раздражающее сходство с Блоком. Как бы слегка шаржированный Блок последнего года жизни (таким я его видела). Сверх того у Петровского худые и цепкие, неестественно длинные пальцы и светлые сумасшедшие глаза.

Костюм на нем серый и невыявленный: он не принадлежит ни к пиджакам, ни к френчам, ни к толстовкам. Его лучше определить — костюм арестантского покроя: глухая куртка и штаны, висящие балахоном.

Петровский главным образом ученик Хлебникова. Он хочет быть носителем традиций поэтического безумия.

Безбрежность моря сочинена людьми, не умевшими смотреть и описывать. Море (по крайней мере то, которое я знаю) всегда строго отграничено; края его срезаны твердой окантовкой горизонта. Это, если смотреть прямо перед собой, а справа и слева — всегда берега, которые отовсюду кажутся близкими.

Знаю только одну ситуацию, при которой удается пережить размах моря. Бывают такие дни осенью, когда море в тяжелых и длинных волнах; ветер смахивает с воды грязную осеннюю пену и рвет ее о берег. Если тогда лежать лицом к воде — на спине или на животе, безразлично, то горизонта совсем не видно. Каждая волна сама по себе стоит перед глазами, и за ней существует бесчисленность последующих волн.

Мне пришлось слышать в жизни множество бессодержательных похвал, и личных, и академических, но никогда ни одного дурного отзыва, в котором бы не было смысла, по крайней мере, которому нельзя было бы придать смысл.

Брань всегда, хотя бы очень косвенно, цепляет свою первопричину. Не всегда только легко расшифровать язык злобы и поношения и возвести отрицательное впечатление к его истинной основе.

Редакция «Невы» сердечно поздравляет своего давнего автора Лидию Яковлевну Гинзбург с присуждением Государственной премии СССР 1988 года.

У меня есть уверенность: каждый случайный упрек каждого глупого, злого, чужого человека — это средство для исправления иногда самых основных и скрытых пороков мысли и характера.

Еще Козьма Прутков говорил: «Смотри в корень!»

У младоформалистов, с благословения и по примеру старших, выработались свои бытовые нормы; существует житейский тип, который сейчас традиционно передается в третье поколение.

Уважающий себя воспитанник Института истории искусств пишет стихи на случай (в молодости, т. е. до 16-ти лет писал всерьез), склонен к эпистолярной прозе и каламбурам (некоторые любят и анекдоты); он непременно пьет пиво (трудно будет отыскать формалиста, не бывавшего в «Баре»); он тщательно блюдет завет «неакадемичности», т. е. не всегда почтителен со старшими и легко сближается с младшими вплоть до первокурсников; он любит кино и равнодушен к театру; он не любит науку и по мере возможности (не всегда это возможно) не занимается ею. Наши учителя тоже не любили науку, они любили открытия.

Младоформалист по природе прежде всего литератор. И ни один из нас не застрахован от поприща беллетриста. Мы можем цитировать наизусть Батюшкова и Ап. Григорьева, но мы не снобы; мы знаем вкус поденщины и халтуры — вкус ремесла.

Ученик опоязовцев непременно близок к современной литературе,— и вообще он интеллигент своего времени по своим эстетическим вкусам и по всему мироощущению. Он скептик, притом самый закоренелый, потому что не замечающий своего скептицизма. Мы все, кажется, соединяем скепсис с порядочностью — это тоже своего рода традиция... В одном только младшие отступают от житейских традиций старших — они не травят друг друга.

Витя передавал подслушанный им разговор двух барышень:

— Я сшила себе в прошлом году новое пальто.

— А в каком это было деми-сезоне?

Представьте себе человека, до которого по проторенным дорожкам доходят только привычные страдания, а новое, даже большое несчастие он уже не в силах ощутить.

Несчастная любовь своего рода прерогатива мужчин; в том смысле, что она возможна для них без душевного ущерба.

Смотреть на безответно влюбленную женщину неловко, как тяжело и неловко смотреть на женщину, которая пытается взобраться в трамвай, а ее здоровенный мужчина сталкивает с подножки.

М. Л. передавала мне сегодня свой разговор с Эйхенбаумом. Они столкнулись поздно вечером на Литейном. Он продержал ее на морозе минут двадцать. Говорил патетически. Говорил о средневековом догматизме и о кучке «гуманистов, которые почему-то делают свое дело».

Он сказал еще, что его педагогическая задача выполнена, что у него есть дети (мое имя было упомянуто), но что ему больше нечему их учить.

— Но ведь они так стремятся работать в ваших семинарах.

— Это они из любопытства...

Мне стало вдруг тяжело от этих слов. Я уже думала об этом. Мы жестокие ученики. У нас есть к учителям человеческая привязанность, есть благодарность и уважение (о, мы вовсе не наглы! — мы почтительны). Но нет уже веры и нет специфического пафоса ученичества (раньше был, в высшей степени). Тынянову все равно — он очень молод и очень силен. Другое дело Борис Михайлович...

Есенин повесился...

Почему-то теперь, когда человек вешается (особенно такой), то страшно оттого, что кажется — он избрал этот способ нарочно, для вящего безобразия. Это все, кажется, пошло от Ставрогина.

Проходя мимо дома, где жила когда-то его любимая женщина, Л. сказал задумчиво: «Лестница, по которой сходят с ума».

Наталья Викторовна слыхала, как пьяный в трамвае говорил: «А вот у нас управдома били всем домом, а секретаря одной лестницей».

Ум, порядочность, большие испытания — все это вещи, которые не следует писать у себя на лбу. Вообще человек сам у себя на лбу не должен быть написан.

Нельзя быть в течение многих лет странным на один манер.

В ГЕНДРИКОВОМ ПЕРЕУЛКЕ

Лиля Юрьевна жалуется на скуку.

Шкловский: — Лиличка, как тебе может быть скучно, когда ты такая красивая?

— Так ведь от этого не мне весело. От этого другим весело.

Присутствующие обсуждают вопрос, как рассеять скуку Л. Ю. Разные предложения. Она соглашается только на одно — возобновить издание «Лефа». Маяковский объявляет: «Леф» будет.

Я: — Владимир Владимирович, пожалуйста, устройте «Леф». А то в самом деле скучно.

Маяковский: — С этими просьбами вы обращайтесь к Лиле Юрьевне. Это ее дело.

Испытанный способ льстить женщине. Уверять ее в том, что это не он пишет, что, в сущности, пишет она, что журнал издается не для читателей, а для нее, что она, ничем не занимаясь, понимает «во всем этом» гораздо лучше его, который весь век на этом сидел, что одно ее замечание стоит «всех наших» изысканий, что она может...

Сделать из своей творческой силы бонбоньерку и принести в подарок. Но из любовных игр эта еще не самая опасная,— потому что человек знает, где кончается его ложь.

Гумилева я сейчас уже, в сущности, не люблю (кроме «Огненного столпа»). То есть я испытываю артикуляционное, своего рода физическое наслаждение, читая его громко, но мне не хочется думать над его стихами.

Вероятно, традиция, приписывающая однолюбам способность к особо глубокому и сильному чувству, требует пересмотра. Скорее всего здесь-то чувство поневоле мельчает. Настоящее любовное страдание — болезнь слишком мучительная для того, чтобы стать хронической. Человек с единой (особенно несчастной) любовью на всю жизнь любит не желанием, а памятью. Любовь на всю жизнь — краса и гордость его биографии... Его право на биографию, покойно прилаженное бремя грусти; если уронить невзначай это бремя с сердца, ощущается тошнотворная легкость пустоты.

Любовь на всю жизнь — она либо помогает писать книги, либо не мешает работать, путешествовать, жениться и выходить замуж и производить детей. Она, пожалуй, мешает самому главному — быть счастливым. Но этому мешает многое.

Пятый день (под предлогом гриппа) лежу в постели, хотя могла бы и не лежать. Стоит так искусственно вырваться на несколько дней, и вся суета начинает казаться унизительной.

Иос. Мойс. Тронский понимает такие вещи — может быть от занятий античностью? Он заходил ко мне и уговаривал лежать как можно дольше.

— Единственное состояние, достойное человека.

— Но... если даже не иметь никаких обязанностей, то и тогда нельзя провести жизнь в этом состоянии.

— Это означает только, что человек не способен проводить жизнь в достойном его состоянии.

Жена Виктора спрашивала его хладнокровно:

— Дружочек, ты когда вернешься сегодня — опять завтра?

Я сказала Т.:

— У тебя должен был быть большой опыт сплетен, попавших мимо цели, по случаю твоих отношений с N.

— Нет, это другое дело. То, что мой роман с N не имел завершения, было непонятно и противоестественно. С такими вещами сплетники не обязаны считаться.

По мере приближения к социологии,— удаляйтесь от социологов!

Л. говорит: «Люди, хорошо со мной знакомые, обычно подозревают меня во всех добродетелях, а малознакомые — во всех пороках.

Мне, вероятно, никогда не удастся догнать свою репутацию».

Удачно сочетание лени и честолюбия. Эти свойства, корректируя друг друга, удерживают их носителя от распущенности и от карьеризма.

— Приходите в четверг или в пятницу,— говорит женщина ласково и не понимает того, что она говорит. Для нее между пятницей и четвергом почти что не существует разницы. А влюбленный, который выслушивает приглашение, уже похолодел при

мысли о том, как он будет час за часом переживать ту душераздирающую разницу, которая существует для него между четвергом и пятницей.

Дело в том, что если человек любит еще не до потери самолюбия, то он придет не в четверг, а именно в пятницу.

Эйхенбаум: — Если они действительно сделают меня внештатным доцентом, то осенью я подам заявление: в 1925 году я был избран и утвержден штатным профессором, в 1926 году перешел на положение штатного доцента, в 27-м на положение внештатного. Ввиду того, что мне, по-видимому, предстоит в 1928 году занять должность старшего ассистента — я покидаю университет заблаговременно.

ЛЕФ

Вспоминаю свои хождения в Гендриков переулок. Там был Маяковский, были увлекательные разговоры с Осипом Макс. Но, как я теперь понимаю, вся официальная, лефовская, часть внушала мне по преимуществу обывательский интерес. Как всякому прохожему, мне было интересно поглазеть на Пастернака. Кстати, я не стыжусь интереса к великим людям. Соглашаюсь на эту провинциальную черту, потому что не чувствую себя провинциалом в стране литературы. Н. В. презирает знакомство с писателями из дилетантизма. Как всякая каста, не производящая, а только наслаждающаяся продуктами производства, дилетанты имеют элитарные предрассудки.

Только в последний раз я поняла, что за пределами интереса человека, заглянувшего во встречные окна, мне было скучно и всем было скучно. Ни важные задачи борьбы с мещанством и халтурой, ни крюшон, ни американский граммофон, ни безошибочное остроумие Брика не могли скуку рассеять.

Дело не в журнале, дело в людях, которых мы уважаем. Люди эти, стоя в пустоте, полемически кричат в пустоту, а пустота не отвечает.

Несчастье ЛЕФа в том, что он непрестанно держит речь, обращается; притом по преимуществу к тем, кто не может его понять или не хочет слушать. Особенно замечателен диалог, который в течение нескольких лет развертывается между ЛЕФом и правительством. ЛЕФ уверяет правительство в том, что он ему необходим, что он его правая рука в деле культурного строительства. Правительство же уверяет ЛЕФ, что он ему нисколько не нужен, и скорее вреден, чем полезен. Для вящей убедительности его от времени до времени закрывают.

Шкловский: — Что ж, производственное искусство, фотомонтаж Родченки. В результате у Бриков на стенах развешаны фотографии, и Лиля на них красивая. Изменилась только мотивировка.

Мы с О. прогуливались по бульвару. Он уговаривал С. присоединиться; она сказала, что у нее гости, и просила позвонить через час. О. позвонил из автомата. По его репликам сразу было понятно, что С. не освободилась.

— Ясно, что сегодня из этого ничего не выйдет,— сказал О., вешая трубку.

В этой фразе мне показался интересным разрыв между вещественным смыслом слов и окраской словоупотребления. Разумеется, когда женщина говорит: «Я не пойду с вами на бульвар», то совершенно ясно, что «из этого ничего не выйдет». Но в нашем языковом сознании слово *ясно* неустойчиво; его назначение опровергать видимость благополучия.

О. сохранил за своей фразой оболочку логико-грамматической правильности, подменив притом ее функцию, и я поняла, почему так случилось. В этом контексте *ясно* вмещало еще горечь, разочарование и упрек. Тоска моего спутника, прячась от меня, смутно искала для себя форму. Поверх вещественного смысла тональность слова выдала тоску.

Филологическое любопытство... я не отказала себе в жестокости присмотреться к интересному словоупотреблению.

— То есть, как это «ясно, что ничего не выйдет»? Ведь она тебе сказала, что несомненно...

— Да я и говорю... сегодня несомненно не выйдет...

Так мы шли по бульвару, обмениваясь эмоциональными ореолами. И тайное становилось явным.

Человек, который не сумел устроиться так, чтобы гордиться своими несчастиями,— стыдится их.

Хорошо воспитанный человек стыдится и чужих несчастий.

Г. Ф. принадлежал к числу тех снисходительных эгоистов, которых добро интересует не как социальная потребность, но как их личное достижение.

Совершается методологическое самоубийство, а приспособляющиеся думают, что совершилась выгодная сделка, и радуются падению последнего праведника.

Нат. Викт. говорила о своей матери, которая интересуется Мейерхольдом и, имея чуть ли не сорокалетнего сына, начала изучать английский язык: «Очевидно, у мамы сохранился какой-то запас здорового эгоизма, который делает ее необыкновенно легкой для окружающих».

Только что с заседания Комитета литературы (Зеленый зал). Тынянов читал рассказ «Поручик Киже».

Весело самому строить в хаотической данности нерасшифрованного материала прошлых столетий закономерность вкусовых и идеологических оценок; тех самых, которые делали вещи, поворачивали вещи, перевирали вещи. Но неуютно сидеть с закономерностями за одним столом; смотреть, как люди, осознавшие закон исторических переосмыслений, сами переосмысляют законно, но бессознательно.

Мы сейчас горячо и беспомощно ищем в литературе содержание, как его искали в 1830-х годах, все — от Белинского до Булгарина и от Булгарина до Киреевского. И Борис Михайлович вместо того, чтобы говорить о том, что есть в «Поручике Киже», то есть об интересной, тщательно разработанной фабуле и фразе, говорит о волнующей философичности. Автор в заключительном слове говорит о том, как он понимает историю и о своей концепции павловской государственности, которая и есть самое главное.

Философия «Киже» — это традиционная символика казарменного и призрачного Петербурга, пустоты, регулярности, невсамделишных людей. То, о чем гениально писал уже Белый, талантливо писал Мережковский, с эффектом писали Пильняк и Алексей Толстой («День Петра Великого»). Как бы то ни было Б. М. понравился рассказ, и он увидел в нем мысль; кому-то рассказ не понравится, и он непременно усмотрит в нем отсутствие мысли и исторической концепции. Меня занимает не конкретная оценка, но критерий. Он же содержание, которого взыскуют формалисты как и все прочие.

Председательствует К. Он один сидит на всех заседаниях в шубе, как бы ни было натоплено в помещении, и поэтому кажется, что ему одному очень холодно. Он председательствует как добросовестный, но неумелый судебный следователь. То есть он считает необходимым вырвать у каждого из присутствующих признание, но не умеет при этом не вспугнуть.

К. милый, воспитанный, образованный, ни с кем не поссорившийся человек. Он был бы очень приятен в роли интеллигента, слегка отстающего от века. Но он ни за что не хочет отстать; он положительно пристает к веку, занимаясь кино и современной литературой. Он со Шкловским на ты.

Забавно. Прежде официальные литературные заседания устраивали люди, относившиеся к официальным заседаниям серьезно. Иронические люди воздерживались или приходили на заседания со специальной целью испытать ощущение презрительного превосходства.

Теперь, когда в нашей науке серьезные люди не находят широкого применения, заседания устраивают те самые шутники, которые над ними смеются. Смеется председатель и получает деньги (следовательно, он хорошо смеется). Секретарь смеется, денег уже не получает, тратит время на протоколы, которые выглядят необыкновенно серьезно. Остальные смеются безответственно и даже беспредметно.

Над кем смеется недоверчивый Борис Бухштаб, отправляясь на заседание, в котором председательствует иронический Тынянов и секретарствует скептический Степанов!

Я писала в одной из этих тетрадей о том, что для меня нравственное страдание необходимо определяется установкой на безнадежность, на непреходящесть переживания. Представить себе конец — значит покончить.

Но если твердо знать, что тоска пройдет, как твердо знаешь, что заживет порезанный палец... Раз это пройдет, то зачем ему быть? — не имеет смысла. Тогда появляется отношение к тоске такое же, как к зубной боли, к ревматизму. Неприятное ощущение... если не удается его уничтожить, надо его обойти, отвлечь внимание. Тогда человек, переживая тоску, в то же время ест, работает, переодевается, ходит за покупками, думает о посторонних предметах. Изредка, когда очень дергает, стискивает зубы.

Все сводится к бессмысленной боли, типа нытья, которую нельзя считать физической потому только, что ее трудно локализовать. Даже и не очень трудно. В сущности, мы знаем, где живет тоска — приблизительно под ложечкой.

Тоска — неизлечимая душевная лихорадка, ретроспективный взгляд на погибшее счастье, глухие поиски небывалых ценностей и целей... Или просто остановка. Уже не болезнь, не сожаление и не желание — только остановка. Прервалась жизненная

инерция — непрерывное протекание вещей, скрывающее от человека ускользающую непостижимость существования. Он не тоскует больше ни над данным горем, ни над отнятой радостью. Тоскует от перемен: меняя квартиру, уезжая и возвращаясь,— в перерывах между двумя инерциями.

Недавно к Жирмунскому на лекцию по введению в поэтику явился пьяный студент. Сначала пошатался стоя, потом сел и долго сидел смирно. Жирмунский заговорил о безглагольных предложениях.

— Довольно с нас безглагольных предложений! — закричал пьяный с необыкновенным жаром. Тут его вывели.

В настоящее время неправильно разделять наших историков литературы на тех, которые пользуются социологическими методами, и тех, которые ими не пользуются. Нас следует разделять на тех, чьи социологические методы немедленно вознаграждаются (местами, деньгами, хвалами), и тех, чьи социологические методы не вознаграждаются.

Моя амбиция между прочим в том, чтобы принадлежать ко второй разновидности.

Володя Б. рассказывал об ужасе, который он испытал, когда к нему на улице подошла пожилая женщина и вежливо спросила: «Скажите, пожалуйста, где здесь останавливается букашка?» (Он не знал, что в Москве называют «букашкой» трамвай под литерой Б.)

Чего стоит идеология (в том числе религия), если она не помогает и не мешает человеку жить (то есть не требует от него жертв и не придает ему стойкость).

Юрий Николаевич ⟨Тынянов⟩ говорил как-то о том, что люди чересчур много и необоснованно улыбаются и что это принижает человека.

В самом деле назначение улыбки в нашем обиходе многообразно и неясно. Она не всегда является знаком веселости, или насмешки, или доброжелательства. Часто признаком смущения, слабости, притворства и равнодушия. Обесцененная улыбка механически сопровождает речевой процесс, как некое добавление к артикуляции. Попросту как легкий способ иметь выражение лица. Между тем улыбка может быть многозначительной и прекрасной.

После смерти Н. В. Икс говорила: «Я поймала себя на том, что два дня не улыбалась. Это поразило меня. У меня рот так устроен, что не улыбаться почти невозможно».

В течение ближайших дней после этой смерти мне несколько раз пришлось слышать о том, что Икс глупа. И это от людей, которым прежде не пришло бы в голову взвешивать ее интеллект. Думаю, что это неверно: дело вовсе не в глупости, а в том, что она не имела дела со страданием, ни со своим, ни с чужим, и не знала, как на это явление реагируют. Она совершенно честна, потому что не понимает тех человеческих и человечных мотивов, по которым порой люди лгут и скрывают истину.

Вот человек, чьи добродетели вознаграждаются на земле. Это сочетание честности с житейским благополучием кажется противоестественным, вероятно, только людям русской культуры. Он же устроен на европейский лад.

— Не думаете ли вы, что Шкловский в самом деле по формальному методу написал «Zoo» — самую нежную книгу наших дней.

Терпеть не могу кому-нибудь сниться. Неправомерно, что другой человек имеет власть видеть вас беспомощного, в любом виде, а потом еще вправе морщиться и говорить: «Что за ерунда!» — между тем как он сам виноват в своих снах.

Отношения, которые не были прекращены своевременно и поэтому остались навсегда, так сказать запущенные отношения...

Анна Андреевна ездила в Москву, где между прочим ей предложили принять участие в руководстве работой Ленинградского отделения ВОКСа. Шилейко сказал:

— Ну тогда в Москве будет ВОКС populi, а в Ленинграде — ВОКС Dei.[1]

В Советской России у людей, а может быть, только у интеллигентов, нет бюджета. Это обстоятельство крайне важное и почти в той же степени определяющее наш бытовой уклад, в какой его определяет то обстоятельство, что у нас нет денег. Не каждый из

[1] ВОКС — Всесоюзное общество культурных связей с заграницей. Здесь каламбур, основанный на латинском выражении (глас народа — глас божий).

нас может позволить себе приобрести за 2 р. 50 коп. вязаные перчатки, никто из нас не покупает масло у частника. Но каждый может, незаметным для себя образом пойти в ресторацию и поужинать там на 3 рубля, на 5 и на 10. Революция внушила нам глубокое недоверие и неискоренимое равнодушие к накоплению; она уничтожила в нас буржуазный интерес к деньгам, как таковым, к деньгам на черный день и на всякий случай; к деньгам, хранящимся в банке и приносящим проценты, к деньгам, хранящимся в чулке и приносящим спокойствие.

Наплевательство делает наш бюджет скудным и легким по сравнению с бытом европейца среднего достатка. В сущности, это не столько легкость, сколько иллюзия легкости. Но мы дорожим этой иллюзией,— как бедные дети, не избалованные игрушками.

Когда человек, пропустив последний трамвай, возвращается зимней ночью в санях, утомленный и недовольный прожитым днем, его сознание начинает заплетаться и путаться, хотя человек трезв. Тогда из неопределенности окружающих впечатлений отделяется и предстает глазам седока огромный зад и широко раскинувшаяся спина кучера. Совершенно независимо от натуральной величины извозчика, он, в этом своем облике, всегда кажется подавляюще большим и намного превышающим размеры седока и саней вместе взятых, он всегда кажется взрослым человеком, неловко присевшим на игрушечную мебель. Близко приставленная к нашим глазам, как предмет, на который хотят обратить внимание близорукого, большая спина в темном армяке — неизменна; все же остальное, как то: дома, фонари, деревья, прохожие, встречные, обгоняемые и обгоняющие извозчики, луна — движутся мимо. Спина извозчика таинственна; она закрывает лошадь, везущую нас, и глубину улицы, по которой мы проезжаем; тем самым она закрывает перспективу нашего движения и его причину.

Вместо увозящей нас лошади мы видим на светлых местах только сопровождающую нас плоскую лошадиную тень, похожую не столько на лошадь, сколько на рыбу или на коня из Заболоцкого:

А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.

Эта тень, опрокинутая на снег, то усердно бежит вровень с санями, то вдруг как-то вкось смещается, как бы порываясь мордой и передними ногами достичь свой бегущий оригинал; то вдруг, при повороте, соскальзывает под полозья с тем, чтобы мигом развернуться с другой стороны санок.

Человек не может начать писать, не накопив известного запаса горечи. Вовсе необязательно указывать ее источники, обязательно приобрести (потому что выдумать ее нельзя) интонацию подразумеваемой печали.

Икс принадлежит к числу тех людей, которые, когда идут под руку с женщиной, то повисают на ней всей своей тяжестью,— разумеется, сами того не замечая. Женщины, выходящие замуж за подобных людей, поступают неосмотрительно.

Нынешним летом я как-то отправилась в своем каюке с визитом к тете Хване. Разумеется, меня как всегда угощали. Как всегда, протестовать против водки в грязноватом стакане в нарезанных со свежим луком помидоров было так же невозможно, как протестовать против поцелуев тети Хвани или уверений Павла в том, что я его лучший друг.

Спившийся фельдшер, он стал рыбаком, женившись на тете Хване. У него хранился затрепанный том Достоевского («Униженные и оскорбленные»), который он усердно читал.

Когда я вышла из хаты, положение вещей предстало передо мной в самом неблагоприятном свете. Усилился противный ветер и море явно не предвещало ничего доброго; кроме того, я выпила, и это в самую жару, в час дня на солнцепеке. Вот что лежало на одной чашке весов; на другой чашке лежало то обстоятельство, что на мне не было ничего, кроме купального халата и купального костюма, следовательно, сухие пути возвращения на дачу были отрезаны. Кроме того, Павел спокойно заметил выпивавшему вместе с нами парнишке, что кого другого он, пожалуй, не выпустил бы в море по такой погоде, но Лидию Яковлевну!..

— О, Лидия Яковлевна,— сказала тетя Хваня,— да вы ее не знаете, да против нее тут на всем берегу ни один любитель ничего не стоит. Вот сейчас увидите!

Морское самолюбие едва ли не самое сильное и самое глупое из всех моих самолюбий. Оно неудержимо воспламеняется от самой элементарной лести и от самых сухих похвал. Я села в каюк, волнуемая желанием показать парнишке из дома отдыха, как

Лидия Яковлевна отчаливает в дурную погоду. Тетя Хваня помахала ручкой, Павел Иванович, стоя на берегу, раскланивался с той безукоризненной вежливостью, которая отличала этого насмерть спившегося и полусгнившего человека.

Кстати, я уверена в том, что оба они действительно хорошо ко мне относились, и что будь они случайно трезвы в это утро, они все-таки не отпустили бы меня в море.

Мне твердо запомнилось это путешествие и то расчленение моего существа на плохо согласованные друг с другом части, которые я тогда испытала с особенной силой. Прежде всего имелось соображение о том, что если волна ударит сбоку и я не успею затабанить, то меня непременно опрокинет и я тогда непременно утону, потому что не смогу плавать в таком состоянии. Это соображение не оставляло меня, но оно существовало само по себе и никак не могло перейти ни в какое чувство, менее всего в чувство страха. Другая же часть сознания исправно отвечала за действия, необходимые для того, чтобы все-таки не утонуть.

У человека, работающего переутомленной головой, то же ощущение, что у гуляющего в тесных ботинках. Когда обувь жмет, ходьба перестает быть непрерывным, бессознательным действием и каждый шаг входит в светлое поле сознания. При переутомлении мы ощущаем физическое протекание силлогизма.

На Книжном базаре, когда торговали писатели, над каждым киоском была вывешена табличка: здесь продает книги такой-то.

В. подслушала разговор двух барышень:

— Давай, пойдем посмотрим на Эйхенбаума.

— Не стоит, он, кажется, не очень знаменитый.

Деревня Домкино, куда мы ездим из Задубья покупать рыбу, принадлежала когда-то астроному Глазенапу. Водившая нас по деревне крестьянка сказала Виктору Максимовичу, что бывший барин теперь в Ленинграде на хорошей работе — «он там звездосчетом».

Как-то вечером на пляже мы следили за пышной женщиной, купавшейся и очень настойчиво флиртовавшей. Между прочим, выходя из воды, она опиралась на плечо партнера и говорила спокойно: «Ах, я вся мокрая!»

Впервые, подъезжая к деревне, я волновалась, как волновались русские и немецкие художники, подъезжая к Риму. Пафос приобщения к первоистокам.

Есть люди, которые бывают особенно мрачны и неприятны в обращении вовсе не тогда, когда они чувствуют себя несчастными. Напротив того, это случается в периоды удовлетворяющей, напряженной внутренней работы. Дело даже не в том, что тогда нет времени следить за собой и прикосновение извне раздражает; главное, что дурное настроение служит самозащитой против людей, которые всю жизнь мешали нам, вернее мы ими мешали себе работать.

Это дурное настроение не маскировка, но подлинное переживание, только плавающее по поверхности глубинных психических состояний. Именно под защитной коркой мрачности можно достигнуть своего лучшего душевного состояния, удовлетворенного и деятельного.

У невеселых людей хорошее настроение тоже плавает по поверхности, но тогда под ним беспокоящая пустота. Для невеселых по природе людей хорошее настроение бесполезно. Оно не удовлетворяет и в то же время мешает работе.

— Какую уйму стихов вы знаете! Вам, может быть, следовало бы быть филологом?

— Нет, я не могла бы быть филологом. Там нечего делать руками. Я очень люблю делать что-нибудь руками.

В одесском трамвае кондукторша ссорилась с некоей гражданкой (речь шла о какой-то сдаче). Кондукторша была комсомольского вида, белобрысая, симпатичная. Гражданка была молодая, худая, с пляжным, тщательно добытым загаром, в повязке и бусах, с очень большим толстогубым, зубастым и накрашенным ртом. Публика — несколько мужчин, двое с портфелями, сочувствовали кондукторше.

Я следила за тяжелым барахтаньем слова, которое пыталось быть орудием быстрой и неотразимой реплики.

— Я могу давать сдачу такими деньгами, какими хочу,— говорила кондукторша.

— Может быть, вы еще захотите на голове ходить,— быстро ответила гражданка.

Поразительно, что эта идиотская формула приобретает вес в таком примитивном споре; она заставляет противника задуматься, искать выход из положения и требует от него достойного ответа.

— Ну уж это мои дела, это вас не касается,— говорила гражданка.

— Ваши дела меня очень даже касаются,— отвечала кондукторша.

— Нет, не касаются.

А через несколько фраз, в ответ на замечание пассажирки о ее правах, кондукторша сказала: «Не хочу я знать ваших дел».

В обоих случаях это только использование синтаксической формулы отрицания. Кондукторша, разумеется, не задумывалась над тем, следует ли ей или не следует интересоваться делами проезжающих в трамвае. В обоих случаях ей нужно было найти мгновенно парирующую фразу. Наивное словесное мышление и прибегает в споре к прямому отрицанию каждого данного положения противника. Любопытно, что воспроизведенный здесь простейший механизм может служить прообразом гораздо более сложных дискуссий.

Я думаю о том, что, может быть, стоит быть скупым, т. е. беречь деньги как эквивалент времени для себя. Нетрудно было бы отказаться от всяческих материальных благ, особенно от тех неустойчивых благ, какие существуют в нашем быту; труднее отказаться от очаровательного переживания легкости, свободы и уверенности, которое сопровождает нерасчетливую трату денег. Размеры траты несущественны. Существенно только их соотношение с бюджетом, их бюджетная чувствительность. В результате этого переживания — я не знаю, как отсюда выбраться (Ялта, 14. IX. 29). Я уже отказалась от кино, шашлыка и винограда, но, кажется, все-таки придется просить рублей 15 взаймы.

Гофман жестко говорил о Г.: «он думает, что можно взять академическую статью, прибавить к ней хамства — и тогда получится журнальный стиль».

Еще недавно вы встречали человека, который радостно сообщал: «А меня, знаете, напечатали!». Прошедшей зимой все мы встречали людей унылых или расстроенных, которые тихим голосом говорили: «Подумайте, моих-таки две статьи напечатали. Так первая еще ничего, пожалуй, пройдет незамеченной. А вот на вторую непременно обратят внимание».

Исторические романы и детские книги — для многих сейчас способ писать вполголоса. Самоограничение этих жанров успокаивает совесть писателя, не договорившего свое отношение к миру.

Запрещают людей, как запрещают книги. После этого человеком не перестают интересоваться, но его перестают покупать и боятся ставить на видное место.

В разговоре с Чуковским для меня, кажется, впервые вполне уяснилось, что между самой верхней и самой нижней культурой установилось правильное обратно-пропорциональное отношение.

В 1921 году кто-то из профессоров сказал публично: у нас происходит ликвидация грамотности. Это справедливо в той же мере, в какой и несправедливо. На самом деле у нас относительно уменьшилось число людей безграмотных в прямом смысле и увеличилось число людей безграмотных — в переносном. Чем выше учебное заведение, чем ближе к Высшему учебному заведению — тем оно хуже (то есть я имею в виду заведения гуманитарные или в их гуманитарной части). Всевозможные школы первоначального обучения в общем, вероятно, удовлетворительны; трудовая школа — явление спорное, университет (опять в гуманитарной его сфере), бесспорно, не удовлетворяет. Нельзя было бесследным для культуры образом подвергнуть первоначальной культурной обработке всю эту массу новых людей. Культура ослабела наверху, потому что массы оттянули к себе ее соки. Я вовсе не думаю, что нужно и социально полезно упрощаться; я думаю, что снижение культурного качества — не вина правительства и не ошибка интеллигенции, что снижение качества на данном отрезке времени — закономерность.

В данный момент я и люди, которых я обучаю на рабфаке, любопытным образом уравновешены. То, что они учатся и вообще чувствуют себя полноценными людьми, соотнесено с тем, что у меня отнята какая-то часть моей жизненной применимости, то, что они читают «Обломова» (почему именно «Обломова»?), соотнесено с тем, что я не могу напечатать статью о Прусте.

Никаких чувств, кроме самых добрых, я к ним не испытываю. Во-первых, потому, что у нас у всех неистребимое народничество в крови; во-вторых, потому, что мы жадны на современное; в-третьих, потому, что профессиональная совесть и профессиональная гордость ученого и педагога не терпит нереализованных знаний; в-четвертых, потому, что если пропадать, то лучше пропадать не зря.

Как ни далека я от добродушия и от того, чтобы радостно выполнять свой долг в качестве скромного работника на ниве народного просвещения, но и в себе я ощущаю

невытравленный след интеллигентской самоотреченности (оценивая ее критически). Социальное самоотречение — это раскаяние в своих преимуществах. Кающееся дворянство заглаживало первородный грех власти; кающаяся интеллигенция — первородный грех образования. Никакие бедствия, никакой опыт, никакой душевный холод не могут снять до конца этот след.

Редактору не понравилась статья К. в сборнике «Детская литература». Он с удивлением сказал Татьяне Александровне ⟨Богданович⟩:

— Когда мы заказываем формалистам марксистские статьи, они их обыкновенно хорошо пишут.

Не знаю даже, имелся ли здесь сознательный цинизм или насмешка; скорее всего — трезвое отношение к частнику, которого при случае можно использовать.

Перед отъездом у Гр. был тяжелый разговор с К. из-за деятельности его в «Литучебе». Меня вызвали в качестве арбитра. Гр. обличал, охваченный восторгом говорения правды в лицо. У Гр. вообще есть физиологическая потребность крика и склонность трогать чужую психику (как неврастеники перебирают вещи руками). Так как он к тому же дидакт, то это легко принимает форму дружеской беспощадности и правды в лицо. Как человек деспотический и с необузданным темпераментом Гр., вероятно, испытывает особое наслаждение от возможности говорить самые страшные слова и кричать, особенно кричать на друзей и на людей, к которым он хорошо относится. В таких случаях у него получается патетическая грубость, которая на мой вкус не многим лучше обыкновенной.

Он кричал, а К. морщился и защищался:

— Товарищи, вы мудрите. А я целиком отдаюсь своему времени.

Я сказала:

— Нельзя терять стиль. Ошибка в том, что ты, настоящий словесник, неплохой стилист, пишешь мутными фразами. Кому мы нужны без нашей словесной культуры? Если ты будешь писать, как рапповцы,— рапповцы окажутся умнее, нужнее, увы... честнее тебя.

К. волновался и морщился:

— Вы не правы, товарищи, вы все хотите быть умнее времени. А я сейчас радостно отрекаюсь от себя.

— Ты неразборчив. Время это не все, что кричит на нас. Я верю в то, что пятилетка — время. Но рапповцы — не время. Они, слава богу, не современны, а временны.

Один самоотрекается, а другой разговаривает. У него в этом духе составлена и формула поведения: «Разговаривая со своим временем, надо сохранить свой голос, но найти общие темы для разговора».

Гофман же говорит: «Активизуйтесь!» И говорит с такой твердостью, что никто не догадывается посмеяться над тем, что он говорит это из своего угла.

А Гр., который все привык делать патетически, пытался этой зимой свертываться с помпой. Аффектация науки для себя. Наука по системе Мюллера: три часа в день, чтобы не разучиться думать.

Кто-то сказал: сейчас, в числе других, появились панические марксисты.

Эволюция формалистов, субъективно искренняя и исторически необходимая (Тынянов, с его интересом к жизни произведения вовне, уперся всей своей системой в социологические категории писательского и читательского сознания), вместе с тем объективно выгодна. Все же вокруг, партийные и беспартийные, еще чересчур русские интеллигенты для того, чтобы уважать человека за деятельность, приносящую ему пользу.

В «Литучебе» — Коварский мечется, Ворковицкая хорошо одета; Цирлин зеленый и унылый, улыбается замогильно. Берусь написать статью.

— Л. Я., я должен поставить вопрос прямо: вы будете согласны на все изменения?

— Я буду согласна на изменения, но не на *все*.

— В таком случае я не могу дать вам гарантии, что статья будет напечатана.

— Я не столь простодушна, чтобы ожидать гарантий.

Приходим к соглашению.

Часов в 11 звоню Чуковской; ее нет дома, у телефона Корней Иванович. Разговаривали около часу (ему хорошо, у него грипп, и он разговаривает лежа). Упреки за мою рецензию на Сергеева-Ценского: старые заслуги (выражаю сомнение); человек споткнулся на чуждом ему материале (говорю, что не надо так спотыкаться); наконец, это значит толкать падающего, в то время как мы принуждены молчать об явлениях более безобразных.

— Вот это, Корней Иванович, правда, но если так, то, может быть, лучше совсем не писать.

— Лучше не писать о современности.

— Нет, нестерпимо быть литератором и не иметь права говорить о современном.

— Да, в молодости это трудно.

Потом я отправляюсь к К. И. за библиографией по Твэну; библиографию не получаю, но провожу у него целый день. Он один в городской квартире, болеет гриппом. Исхудал, обрил голову. Мурочка страшно больна. Мы говорим о Маяковском, о Тынянове, об Уайльде, об изданиях Некрасова, о судьбе современного литератора. Читает и показывает мне Чуккокалу (слишком много патентованных людей). Едим суп и кашу (прислуга его больна). Он необыкновенно умен, хитер и обаятелен. Пишет хуже, чем он есть на самом деле. Не то нарочно, для доступности; не то по связи со старыми своими литературными традициями.

1930

Итоги года 29 — 30... Я служу, я в ссоре с людьми, вскормившими меня своими идеями; меня уже назвали печатно идеалистом, меня уже твердо и вежливо не печатают — словом, я обзавелась всеми признаками профессионального литератора. Эта зима уничтожила стеклянный колпак Института, под которым нам казалось, что мы «тоже люди», потому что нас слушало сто человек студентов и 5—10 из них — с пользой. Из-под колпака нас вынесло, если не на свежий, то на очень холодный воздух.

Я уважаю эту зиму за то, что она произвела жестокий отбор. Из нашей профессии сразу повывелись все барышни, все домашние философы. В нашей профессии остались практически действующие или талантливые, или решительно неспособные ни на что другое.

Мы, то есть младоформалисты, остались по какой-нибудь или по комбинации из этих категорий, но вид явили скорее плачевный. Все, что мы умеем делать, слишком теоретично для того, чтобы служить здоровым сырым материалом и недостаточно обобщенно для большой науки. Шкловский, поднявший вокруг своей жизни и работы бурю расходящихся кругов, из которых последние замирают в самых отдаленных сферах, не мог переварить наших соображений, имеющих «частный интерес».

Этот год был еще отмечен странной переменчивостью масштабов. Вещи и события растягивались и сокращались по каким-то почти непостижимым законам. В сущности происходило вот что: с нами случались новые для нас события, место которых в иерархии жизненных фактов не было нам известно — поэтому их размеры плясали и плыли перед глазами.

Так было с М., присланным в ГИИИ вправлять мозги. М. вошел в жизнь тяжелыми шагами командора. Он был событием, трагичен и неотвратим. Потом вредоносность его чрезвычайно упростилась; не то, чтобы М. врезался в судьбу, а скорее — М. напакостил.

Так было в этом году и с мэтрами. Ссора совершилась под шум фраз, взятых в чересчур высоком регистре. Потом на месте осталось чувство неопределенного сожаления и неловкости.

Думаю, что совершенно точное и убедительное место в иерархии переживаний имеют только физическая боль или нравственные страдания, связанные с утратой одного из основных ежеминутных содержаний жизни (утратой любимого человека, любимого дела, трудоспособности, свободы и т. п.). Все прочее — горести самолюбия, разрывов с друзьями, житейских обид и поражений мы не ощущаем непрерывно. Оттого тяжесть этих страданий по памяти — почти произвольна. Ракурсы и масштабы. Легкий поворот вещи превращает беду в неприятность.

Только наивные и далекие от науки люди воображают, что они писали бы хорошие статьи, если бы их печатали. Многие могли бы сообщать интересные соображения по частным вопросам и, вероятно, никто ничего общезначимого и общеволнующего (оттого, вероятно, Тынянов, не привыкший к пафосу частных соображений, вовремя бросил науку, не только для печати, но и для себя).

Все это говорю не столько из скромности, сколько из самолюбия; из нежелания принять для своего поколения мирную судьбу полуталантливой и навсегда подражательной науки.

Конкретная продукция, готовая или имевшаяся в работе и не увидевшая света, так мало способна взволновать умы, сорганизовать творческую волю,— как волновали и собирали вокруг себя первые брошюры Шкловского, сборники Опояза, лекции Тынянова,— что из-за этого не стоит тягаться и меряться с современностью. Если что-нибудь и стоит предъявления счета, это человеческие творческие потенции, рабочая энергия, научная совесть, которые можно сорвать и растратить в немоте, в путанице,

в ежедневных обидах и соблазнах; не ненапечатанные статьи, а только это, быть может, стоит предъявлении счета.

Главными обидами осени 1929-го были отказ Гиза от сборника по современной поэзии и наш собственный отказ от «Ванны Архимеда» (с обериутами). Сборник о поэзии получался средний. С «Ванной» получалось и того хуже. В этом, по замыслу, боевом, молодом, несколько вызывающем, вообще ответственном сборнике, исторический смысл имели только стихи — Заболоцкий, Введенский, Хармс; остальное оказывалось довеском, частью доброкачественным, частью же прямо халтурным.

Увлеченные болью первого серьезного удара палкой по голове, мы не заметили нелепости положения: мы мучительно, даже патетически, отказывались от дела, в котором, кроме Заболоцкого, не было ничего истинно принципиального.

Из всего запрещенного и пресеченного за последнее время мне жалко этот стиховой отдел. Жаль Заболоцкого. Если погибнет, «не вынесет» этот, вероятно, большой и единственный возле нас поэт, то вот это и будет счет; не знаю, насколько серьезный в мировом масштабе, но для русской литературы вполне чувствительный.

Я давала Ахматовой кузминовскую «Форель» (интересно, что ей пришлось прибегнуть ко мне). Возвращая книгу, она поморщилась:

— Здесь очень много накручено. Кроме того... очень буржуазная книга.

— Какая неожиданная с вашей стороны оценка.

— Совсем нет. Я сказала бы то же самое 15 лет назад.

Литература попала в хвост всего движения. В литературе хозяйничают люди, не пригодившиеся на настоящих местах. Такая литература не может создать из себя свои бытовые и производственные формы. Вот почему наш официальный литературный быт весь сколочен из форм и категорий, надерганных из других областей. Литературно-бытовое злоупотребление понятиями контроля масс, ударничества, соцсоревнования, технизации — это иногда результат массового словесного гипноза и той кратковременной, но невероятно сильной универсальности и всепроникаемости, которую приобретают у нас выбрасываемые на языковую поверхность лозунговые слова; в других случаях это результат вполне цинического расчета литературных спекулянтов. Чаще всего здесь та смесь недомыслия, лукавства и воображения, которая заставляет ребенка ставить спичечную коробку на две опрокинутые катушки и утверждать, что это паровоз.

Литература сейчас какой-то особый детский мир, как всякий детский мир, очень жестокий и произвольный, управляемый законами подражания, фантазии и условности. Как во всяком детском мире, в нем самое главное и серьезное — быть похожим на взрослых.

Основной пафос детского мира, его своеобразная диалектика в том, что с настоящими вещами поступают как с игрушками, а с игрушками, как с настоящими вещами (ребенок говорит про куклу: это человек, но про зонтик: это кукла).

Любопытна, например, судьба одной жизненной формы, перенесенной в детскую из настоящих областей. Я имею в виду форму коллективного труда. Решили сразу, что очень хорошо, если несколько писателей вместе пишут одну книгу. Многим здесь даже смутно мерещится некая гарантия большей идеологической выдержанности.

Я думала об этом на первом заседании Детской секции, когда президиум неутомимо допытывался, нельзя ли зарегистировать какие-нибудь писательские кружки и не пишет ли кто-нибудь что-нибудь вместе с кем-нибудь. Если бы мы писали с Гофманом не вдвоем, а хотя бы втроем, то нами бы страшно заинтересовались, хотя из этого следовало бы только то, что книга имеет шансы быть не вдвое, а уже втрое халтурнее.

На том же заседании Коля Чуковский с гордостью рассказывал о деятельности «Северной бригады» Союза писателей. Это он, Спасский, Ел. Тагер и Куклин; они ездили в Карелию и совместно написали книгу.

Очевидно, что важно работать коллективно на производстве, очевидно, что важно и хорошо коллективно ездить в дикие места, п. ч. экспедиция имеет практические возможности, которых лишен одинокий путешественник, но почему хорошо, если четыре писателя напишут книгу совместно?

Будущим историкам литературы придется научиться распознавать эти словесные аберрации, эти пересаженные лозунги и игрушечные смыслы.

Замечательно, что несмотря на дефицитность бумаги, сейчас в литературном деле автор и его произведение еще более дефицитный товар, чем бумага.

В «Литучебе» стон стоит (я сама слышала, как стонет Ворковицкая), потому что у них сделан расчет на 10 номеров и нет материала. В «Звезде», говорят, нет статей. «Academia», говорят, мечется по городу в поисках историко-литературной книжки, которую как-нибудь можно было бы издать. Роман (если только он не до невозможности плох и не очень хорош) — продать легко.

Научно-литературные и литературные организации в сущности прекратились, а с ними «атмосфера», порождавшая своеобразную инерцию писания. Сейчас, за прекращением инерции, понадобились побудительные причины.

Вчера об этом любопытно говорил Гриша ⟨Гуковский⟩. После революции литературный труд был один из самых выгодных. Еще год-два назад оплата даже в 150 — 180 руб. за лист казалась нам высокой. Сейчас это вообще уже небольшие деньги, но главное, литературный способ добывания этих денег перестал казаться выгодным и соблазнительным сейчас с прекращением безработицы, с огромным повышением спроса на интеллигентный труд, с необычайным улучшением оплаты педагогического труда (на рабфаках, вечерних курсах и т. п.). У Гриши очень простой и убедительный расчет: при четырехрублевой оплате академического часа, 16 часов в декаду дают 190 р. с лишним, притом это гораздо легче, чем написать печатный лист. Прибавьте сюда еще всякие подробности: неудобство всегда неверной гонорарной системы заработка, неаккуратную выплату; опасность того, что вас не напечатают, уверенность в том, что вас обругают и что во всяком случае вы не услышите ни одного доброго слова.

— Представьте,— говорил Гриша,— что вы выпускаете книгу. Всерьез научной книги вы сейчас не напишите, а если напишете, ее не возьмут. Но вот книга, которую вы можете напечатать... Что она вам даст? Чести она вам не прибавит. Вряд ли доставит удовлетворение. Она даст деньги, которые вы можете заработать менее хлопотливым способом. В сущности, что она вам принесет?

Я: — Неприятности.

Гриша:

— Сейчас будет то же, что было когда-то. В свободное время и при наличии соответствующих побуждений, люди будут писать книги, а потом, буде представится возможность, издавать их. Мы же все эти годы сначала издавали вещи, а потом их писали.

То, о чем говорит Гриша, это замена внешних побуждений внутренними. Но ясно, что внутренние импульсы излишни для того, чтобы писать то, что все пишут сейчас; статьи для «Литучебы» и романы для юношества.

Педагогический опыт этого года (рабфак) убедил меня в том, что из всей новой поэзии массовый читатель знает и любит по преимуществу Есенина. Безыменский и пр. им просто скучен. Маяковский плохо понятен. По отношению к Маяковскому чаще всего враждебность (та самая инстинктивная неудержимая враждебность, которая превратила в такой ад и в такой трагический балаган последние выступления поэта); в некоторых случаях сухое, внедренное апрельскими газетами, почтение с добавлением из: «плохо понимаю, очень трудно».

Читатель, которого я имею в виду, вовсе не городской обыватель; это профтысячник, рабфаковец, часто партиец. Он слыхал, что Есенин упадочный — и стыдится своей любви. Есенин, как водка, как азарт принадлежат в его быту к числу факторов, украшающих жизнь, но не одобряемых.

Шкловский говорил как-то, что формализм, идеализм и проч. это вроде жестянки, которую привязали коту на хвост. Кот мечется, а жестянка громыхает по его следам. «И так всю жизнь...»

Кажется, в 1923 году к Жирмунскому пришла объясняться сотрудница, которой приписывали неблаговидный поступок (при денежных расчетах с Институтом). После длительного разговора он сказал, что не считает больше возможным быть с ней знакомым, и отвел руку, когда она хотела попрощаться; потом проводил ее в переднюю и подал пальто. «Какая неуместная вежливость!» — горько сказала сотрудница. «Простите,— сказал В. М.— и могу вам подать пальто, но руки подать не могу».

Разговор В. с обойщиком.

— Я вот на фабрике восемь рублей в день получал и ушел, потому что мало; а у жены расширение зрачков.

— Это что же, профессиональная болезнь?

— Нет, зачем? Вот вы хорошо одеты? Так ей тоже хочется.

С. пишет о Достоевском. Он по телефону просит Борю разыскать ему литературу о Победоносцеве.

— Только, пожалуйста, что-нибудь ортодоксальное.

— Где же я тебе возьму ортодоксальное. Нет у нас сейчас ортодоксальных историков. Покровский, ты сам знаешь, опровергнут.

— Ну, не скажи... Покровский только что признал свои ошибки.

Боря говорит мне с отчаянием:

— Понимаешь, до чего можно дойти, бегая за истиной; теперь ему кажется, что

если человек признал свои ошибки, то от этого самого его ошибочные мысли становятся ортодоксальными!

Данько уверяет, что в описании петербургских достопримечательностей есть фраза: «И старик-сторож ежедневно сметает с дворцовой мебели вековую пыль».

Бориного «Героя подполья» перевели на тюркский язык. Олейников говорит по аналогичному поводу: «Я переведен на все языки, кроме иностранных».

NN говорит: «Я готов быть терпимым к разврату и к расчету в отдельности, но их сочетание непереносимо».

В отношениях, приближающихся к концу, есть характерный этап. Это, когда человек уже не может доставить радость, но еще может причинить боль. Между прочим, на этом этапе достигается максимум бескорыстия. Уже иссяк эгоизм любви, еще не упрочился эгоизм равнодушия.

В ИРКе Малахов сказал: «Коварский — не наш, он что-то барином ходит. Степанов действительно старается, но за ним надо присматривать. Кроме того, есть еще Бухштаб и Гинзбург, которых никуда не пускают, но надо следить внимательно, как бы они куда-нибудь не проникли...»

Недавно у него зарезали книжку или предисловие к книжке, где он между прочим написал: «...классовая борьба в совхозах...»

Н. Л. перевернула расхожую формулу. Она говорила: «Si jeunesse pouvait, si vieillesse savait» [1]...

Вот уже в течение нескольких лет почему-то к новому году скопляется гнет. Теперь это главным образом отмирание импульсов, профессиональная ущемленность.

У меня нечто вроде гриппа, шум в голове, и ничего не слышу правым ухом. Это состояние, позволяющее при желании ходить по редакциям и на службу, с поправкой на дурное самочувствие, а при желании позволяющее заболеть. Я поспешила заболеть, и это меня успокаивает. Успокоению, как род загородки,— способствует больное ухо (я все-таки надеюсь не оглохнуть?).

Главная тяжесть, должно быть, от книги, которая почти что месяц безответно лежит в редакции, где с ней что-то делают злые люди. Собственно, делать они пока ничего не могут, но они думают о ней грубо и небрежно; и это преследует меня,— вплоть до физической жалости к рукописи, к 220 страницам, отпечатанным на машинке. Все-таки я почти никогда не теряю сопроводительного ощущения, что жить хорошо и интересно, и вообще стоит того. Я теряю это ощущение только, когда переутомление превышает у меня ту норму переутомления, которая принята в нашем быту.

Мы пишем и знаем, что бывают разные случаи: книгу не примут и ничего не заплатят; заплатят аванс и не напечатают; заплатят 60% и не напечатают; не напечатают — и заплатят все; продержат полтора, два, три года и напечатают. Во всех случаях попутно на нас будут кричать, и во всяком случае радости не будет. Ни в одном из всех возможных случаев не будет ни тени радости.

С того момента, как я сдала рукопись и получила первые намеки на «необходимость серьезной переработки» — мною утрачены все отрадные ощущения: ощущение сделанного дела, ощущение удачи, ощущение открывающихся возможностей. Мне только скучно оттого, что нечего делать, и противно оттого, что люди, не заслуживающие доверия, по-хозяйски роются в словах, которые я написала. Остаться с документально-детективным романом на руках не почетно и не трагично, а глупо. Не говорю уже о деньгах. Я как-то полгода писала заведомо бесплатную статью о Прусте. Но есть книги, на которых даже с историко-литературной точки зрения необходимо заработать —это своего рода жанровый признак.

Труду творческому по преимуществу (наука, искусство) свойственны специфические опасности и соблазны. Например, опасность бесплатной работы по формуле: все равно не могу не писать!

Мы согласны творить бесплатно, но мы не согласны мало зарабатывать. Отсюда пагубная градация: творчество (бесплатно), работа (за деньги, но добросовестно), халтура (для денег и бессовестно).

В этом зигзаге мозг и нервы изнашиваются с чрезвычайной быстротой.

Немногим счастливцам удалось увязать творчество с профессией и профессию с заработком. Большинство из нас живет в литературе и литературой, простодушно смешивая рвачество с бескорыстием. Преобладающее ощущение — занятость; непрестанная тоска по недостающему времени.

[1] Если бы юность могла, если бы старость знала... (*франц.*).

Кроме труда и отдыха есть еще любовь. Но любовь наша исторически не характерна и не оформлена идеологически — она не определяет ни быта, ни бытия. Мои современники счастливую любовь задвигают, а несчастную перетирают на ходу.

Взамен несчастной любви предшественников нам придумана мука несчастной профессии. Тяжесть бесплодной творческой воли. Черная тень от нерожденных вещей.

Il y a deux malheurs au monde: celui de la passion contrariée et, celui du dead blank (vide complet)

Стендаль [1]

Как если бы из меня выкачали воздух... Я сплю до двенадцати, и в комнате всегда темно, и на улице всегда темно. Впрочем, улица до меня никак не доходит. Я не знаю, как выглядит зима. А я думала осенью, что у меня будут лыжи. Вместо этого не хватает энергии пройти от Канала до Садовой.

Сегодня ночью я не спала часа два и на меня нашли страшные мысли. Днем человек беспрестанно отвлекается разрешением каких-то мелких задач,— мысли о жизни понастоящему мучительны ночью, когда нельзя ничего предпринять.

Я поняла, что то, о чем избегали думать вплотную,— случилось, что за полтора-два года многие из нас и я тоже — потеряли специальность. В пору, когда расшатались понятия потери положения и имущества — нам осталось терять специальность и терять человека.

Оказалось, что это не временное занятие другими делами, а непоправимое перерождение судьбы. Что от взаимосвязанности и преемственности собственных занятий и интересов — мы отвыкли; скажем прямее: перестали иметь отношение к истории литературы, и к науке вообще.

Это следовало заметить давно. Только это открытие, которое нелегко додумать до ясности, а потом проходит еще полгода, пока выговоришь его словами.

Люди перерождались, холодели, забывали под условным прикрытием откладывания. Совсем не так давно, до смешного даже недавно я впервые выговорила словами, что моя диссертация — книга о поэзии 1830-х годов — никогда не будет написана.

Остальное я поняла, как ни удивительно, только на днях — и странным образом. Я очень долго писала разные вещи подряд и читала по поводу. Около 8 декабря я перестала писать, и тут обнаружилось вдруг, что я не знаю, что мне читать, и что у меня нет интересов. Для человека, который десять лет был специалистом — это одно из тех невозможных ощущений, какие бывают только во сне. Что это, vide complet?

Дикая свобода — бесспорный симптом прекращения той непрерывности интересов, которая составляет основу сознания человека, имеющего отношение к науке. «Мне больше неинтересно!» — прошло полтора года, прежде чем я выговорила это словами.

Я не имею отношения к науке, ни к литературе. По-видимому, я вольный литератор, с которым довольно охотно заключают договоры на детскую книжку о консервах. Таких сейчас много, это нечто среднее между литературным спецом и халтурщиком.

Вчера со страху мне уже показалось, что мне вообще не хочется читать и никогда уже не захочется.

Конечно, это безумная аберрация переутомленного мозга. Глядя в темноту, я думала, как лучше написать об этом. Инстинкт осмысления и реализации в слове этой ночью удержал меня от отчаяния. Так человек утилизирует обиды, горе и даже пустоту, обращая их в материал.

В тот час, когда и это перестанет быть интересным — я погибну; я буду писать маленькие книжки по договорам с «Молодой гвардией» и преподавать на рабфаке; я не буду читать книги за отсутствием побудительных причин. Vide complet.

Я смею думать, что не копаюсь в глубинах, как таковых, и вообще не занимаюсь собой. Я ощущаю себя как кусок вырванной с мясом социальной действительности, которую удалось приблизить к глазам, как участок действительности, особенно удобный для наблюдения. Действительность, мучившая и растившая меня,— несмотря ни на что, она вошла в кровь, приспособила к себе мысль и стала необходимой. Она дала нам такую степень познания и такое отношение к вещам, от которых не откажешься за многие соблазны.

Икс, собираясь 15-го выступить в ИРКе с докладом о «социальных корнях формализма», говорит: «Надо иметь мужество признаваться в своих ошибках». Бухштаб сказал по этому поводу:

— Я перестаю понимать, чем, собственно, мужество отличается от трусости.

1932

[1] На свете есть два несчастья — страсть, встретившая препятствие, и dead blank (абсолютная пустота). Стендаль (*франц.*).

«Человек должен быть всегда погружен в свои мысли, если хочет чего-нибудь достичь...» — писал Левенгук. Конечно, работа, над которой человек думает, пока пишет (как на службе),— многого не стоит.

N говорит: «разговаривать со знакомыми — это сейчас исследовательская работа».

Все служащие академически-литературных учреждений подразделяются сейчас на два вида: те, которые хотят уйти со службы — а их не пускают, и те, которые хотят остаться на службе — но их выгоняют.

Небывалое взаимо-и самосожжение ученых и литераторов в недалеком будущем должно прекратиться. Кто-то сказал, что оно прекратится — за отсутствием сражающихся. Кроме того, перестанут выходить книги, потому что опубликованная книга — это почти самоубийство. Придется либо закрыть литературу, либо успокоить обезумевших от страха людей.

После критики Z немедленно написал доклад о футуристах, в котором, во-первых, получалось все наоборот, а во-вторых, подверглись разоблачению покойники и живые — особенно снабжавшие его материалом.

Прежде чем выступить в ИРКе, он прочитал доклад Вите. Посредине чтения вдруг спросил:

— А может быть, так неудобно?

— Не знаю,— сказал Гофман (должно быть, своим дидактическим голосом),— я ведь этим не занимаюсь; так что мне трудно сказать, что именно удобно, а что неудобно.

Бедный Z, вероятно, так и ушел в уверенности, что Виктор «не занимается» историей литературы.

На покаянии в Варнетсо историк Р. сказал:

— Всякая чистка и проверка ценна для меня тем, что она нейтрализует то объективное зло, которое я представляю.

К. имеет мужество признавать ошибки Бориса Михайловича Эйхенбаума.

Речью Постышева стихийную проработку затормозили раньше, чем можно было даже ожидать. Вчера все и всюду говорили о выступлении Марра. Марр, по-видимому, очень кричал. Марр — ученый. Он, вероятно, догадывается о том, чего стоит наука без упрямства и слепоты. Сейчас некоторые примитивные вещи, произнесенные публично, производят потрясающее действие. Он, между прочим, сказал, что в лингвистике иногда нужно иметь мужество не признавать свои ошибки.

Детской секции, как видно, приходит конец. Сегодня — экстренное заседание бюро. Тат. Алекс., Данько и другие — волнуются. Как говорит Борн ⟨Богданович⟩: «Они никогда не теряли серьезных вещей».

О, сколь печальный иммунитет! Иммунитет больших потерь, упавших на самое начало жизни, на 20 лет. А в 23 — 24 года испытать такое ощущение деятельности (не в смысле достижений, конечно, а в смысле потенций), чтобы к 30 годам всякое отношение к человеку и всякое дело казалось пресным.

— Если «Молодая гвардия» доведет меня до точки, я обращусь в Издательство Писателей.

— Это им совсем не подходит.

— Почему?

— Они ведь издают только идеологически невыдержанные книги...

— Правда — моя книга идеологически выдержана... Но это компенсируется моей фамилией.

О, наши имена! Они недостаточно известны для того, чтобы это могло принести нам честь. И достаточно известны для того, чтобы испортить жизнь.

Разговор с Брискманом у сберкассы ОГИЗ'а.

Я: — А я расплевалась с Библиографическим институтом. Больше не аннотирую.

Б.: — Вам что! Вот я так действительно счастлив, что с ним расплевался (он там служил).

Я: — Хорошо вам, что вы сели в спокойное место (он служит теперь в Публичной библиотеке).

Б.: — Да. Если бы только они лучше платили...

Я: — Вы не правы. Платят за беспокойство. Например, на рабфаках можно спокойно работать, п.ч. ставка 2 р. 75 к. Но получать 4. 50 в час и выше — уже вредно для здоровья. Заметьте, даже Библиографический институт стал беспокойным только с тех пор, как они в три раза повысили расценки.

ИРК занимает теперь верхний этаж бывшего Зубовского дворца. Назаренко сказал про сотрудников Института Истории Искусств: «Эти голубчики утонули в первом этаже и выплыли в пятом!»

Икс кричит, что теперь он должен быть жесток до конца; он должен поставить точки над i, сжечь свои корабли, проклясть все, чему поклонялся, и пр. В результате Икс помогает Малахову травить Эйхенбаума, приняв позу человека, который имеет силу воли и дерзость мысли не щадить вскормивших его учителей.

Все это не столько ложь, сколько защитная окраска, которую слабые души выделяют против собственной интеллигентской совести.

Религиозный интеллигент не постится, но разговляется — и, разговляясь, думает сделать угодное богу.

11-го я попала на пленум правления Союза советских писателей (ВССП). Оглашался список исключенных и условно-перерегистрированных. Что делать с Ивановым-Разумником? Одни считали, что нужно предложить ему признать свои ошибки; другие находили это бесполезным.

— Под какими условиями можно оставить Иванова-Разумника в Союзе писателей?

— По-моему,— сказал Садофьев,— при условии, что он откажется от литературной деятельности.

Я теперь поняла, чем раздражает А.,— он бездарный истерик. Душевная неуравновешенность терпима только как последствие или условие талантливости. Как общий источник, из которого возникает то несносное поведение, то творческий акт.

Мы (Александр Леонович и я) обменивались с В. опытом писания детских книг: «консервы» и «техника безопасности». Мы сказали, что у В. замечательно написано, а В. сказала, что у нас очень хороший материал. В. говорит по этому случаю: «Помните о бревне в своем глазу и о соломинке? Когда пишешь такую книгу, получается наоборот. Чужая книга непременно кажется соломинкой, а собственная бревном».

Человек может жить, не думая целыми днями. Когда из головы выходят случайные мысли и прочая мелочь,— в ней ничего не остается. Он смотрит на людей, на вещи, даже читает и по этому поводу ему ничего не приходит в голову. Очень странное состояние... Вроде того, как если бы есть, не ощущая никакого вкуса.

Мироощущение спеца, а не строителя. Отношение складывается из сочувствия, из созерцания и из профессиональной честности (тот именно вид честности, который я могу теоретически обосновать). Строители занимаются политикой и техникой. В литературе пока преобладают имитаторы, спецы, халтурщики и прихлебатели.

Высокий профессионализм — обращенное в профессию творчество. Это мудрено в условиях, когда самые главные для человека вещи не оплачиваются и не печатаются. Иногда даже оплачиваются (по договорам, заключенным в силу редакционного недосмотра), но не печатаются никогда.

Хороши Толстой — помещик и Шкловский — шофер. То есть хорошо, когда вторая профессия не похожа на первую и поэтому служит ей источником опыта и материала. У нас вторая профессия пародирует первую. Преподавание литературы в профшколах — травести науки. Книжки о консервах и дирижаблях — травести писательства.

Профессионализм подмененных профессий прививает дурные привычки и подлые слабости. Мы теряем вкус к знанию и опыту, накопленному впрок; к трудам, исчисленным на годы вперед, к вещам, не нуждающимся в заключении договора. О, торопливые, рабские ухватки глупого практицизма!..

Уберечься трудно. Нужно слишком много денег. У нас на этот счет развито фатовство. Людей, зарабатывающих 120 р. в месяц, не уважают. Мы хвастаем гонорарами как последним неверным знаком признания. Все-таки — это рвачество par dépit[1]. Я торгуюсь и подписываю экзотические договоры; но будь у меня свое бесплатное *дело*, я села бы есть суп и кашу.

Ситуация не позволяет двигаться по той линии, где у человека расположены мысли, ценности и самолюбие. Помню отчаяние осени 28 года. Сборник о поэзии XX века, за

[1] С досады *(франц.)*.

который уже получен аванс, издать нельзя, сборник с обереутами («Ванна Архимеда») тоже издать нельзя. Что это — гражданская смерть?

Потом оказалось, что несчастье произошло от попытки продвигаться по главной линии. Что не возбраняется ходить боковыми линиями, и за это платят деньги и дают карточки I категории А. Оказалось, что способность писать находит довольно широкое применение, если только она направлена на предметы, которые не волнуют писателя.

Начинать, кстати, проще, чем продолжать. Мне легче сейчас написать роман, чем статью. И легче написать роман мне, чем Шкловскому.

Судьба писателей похожа на судьбу учреждений. Университет душат претензии, в колесах у него застревают обломки времен, когда там учили других людей, с другой целью. В техникумах, рабфаках, профшколах, комвузах, напротив того, можно работать, потому что они образовались из предпосылок эпохи, которую должны обслужить. Если они плохи — их нужно улучшить.

Наркомпросовские программы для рабфаков по литературе — густой заскок. Там думают, что человек, который не читал Пушкина — недостаточно культурный человек. Научить рабфаковца читать Пушкина и т. д. нельзя за недостатком времени и культурных предпосылок. Но ему спихивают куски «Онегина», две главы из «Мертвых душ», «Сон Обломова» и — «Станционного смотрителя». Какая нежная душа из Наркомпроса решила, что пролетарскому студенту необходимо оплакать участь чиновника, у которого гусар увез любимую дочь?

Социализм можно строить, не зная не только про «Сон Обломова», но и про сны Веры Павловны. Для человека, мыслящего исторически, «Что делать?» — замечательный социальный факт. Но комсомольца 1932 года нисколько не занимают ни мастерские Веры Павловны, ни то обстоятельство, что Лопухов стучал в дверь, прежде чем войти в спальню своей жены.

Литературное восприятие требует либо сочувствия, либо чувства истории. Это чувство истории, хотя бы в самом первобытном виде, имелось у дореволюционного гимназиста. У рабфаковца его нет. Пушкин, Лермонтов, Гоголь не только не входят в состав его наличной культуры, но и потенциальной, той, которую он получит в меру требований, предъявленных к нему государством.

Из XIX века возможно кое-что доходчивое: Лермонтов,— как пример старого стиха. Из Гоголя что-нибудь непререкаемо смешное (конечно, не «Мертвые души»). Для самых сильных немного «Войны и мира». И для всех — как можно больше Некрасова, который один только доходит весь чем надо — темой, силой, стихом, слезой. Проходить Некрасова увлекательно, проходить «Евгения Онегина» — неловко. При этом тяжелая добросовестность людей, по привычке почитающих в Пушкине официальную ценность.

Когда я занимаюсь этим делом, мне жалко совсем не Пушкина, который в этом не нуждается. Мне жалко отчасти себя, а больше всего хороших людей, которые после трудового дня пришли заниматься делом, а их посадили бригадами читать:

Она любила Ричардсона
Не потому чтобы прочла...

Кокетства в ней ни капли нет,
Его не терпит высший свет...

Что в высшем лондонском кругу
Зовется vulgar, не могу...

Но панталоны, фрак, жилет
Всех этих слов на русском нет.

За вычетом непонятного остается Онегин как представитель разлагающегося дворянства 20-х годов. Дело в том, что Некрасов действительно писал о положении крестьян, Тургенев действительно писал о нигилисте. А вот Пушкин не писал о разлагающемся дворянстве; это не было его предметом. Пушкин писал о Грандисоне и Чайльд Гарольде, о журналах, о Шишкове, о ножках и тысяче других непонятных вещей, среди которых, между прочим, разлагалось дворянство.

Рабфаковец в разгаре лабораторной проработки «Онегина» сказал мне:

— Это хорошо. Только жалко, что написано стихами. В прозе было бы понятнее.

Сказал это дельный человек. И в самом деле для той цели, с которой «Евгений Онегин» употребляется на рабфаках, его следовало бы написать не стихами и главное — покороче.

На месте составителей наркомпросовских программ я учла бы заявление этого студента.

Лесков, Андрей Николаевич, за неизданные рукописи отца запрашивает высокие цены. В издательствах ему говорят:

— Помилуйте... вещи ведь все-таки посмертные...

Андрей Николаевич взмахивает руками: — Да, но стиль-то, стиль-то каков!

Боря говорит: «Для спокойствия очень важно состоять в нетях в каждый данный момент. На службе говорить: — Я, видите ли, главным образом, детский писатель. А в ВССП: — Я, собственно, педагог.»

На рабфаке мое инкогнито раскрыл новый сослуживец. Говорили о Лейтингер.
— Знаю ее,— сказала я,— я ей сдавала Истмат.
— В Герценовском?
— Нет.
— А где?
— В Институте Истории Искусств.

(пауза)

— Скажите... вы *Лидия* Гинзбург?
— Да.
— Знаю. Читал ваши работы.

(пауза)

Наклоняясь к моему уху, он говорит:
— Между нами говоря, формалистический метод.
— Естественно. Я ученица Эйхенбаума.
Он (тихим и грустным голосом): — Надо изживать, надо изживать...

При ближайшем рассмотрении слово оказалось каламбурным:

Не помогло рапполепство.
За упокой Рапп'а божия... и проч.

Я не имею никаких иллюзий. Я пережила его ликвидацию бескорыстно, как удовольствие этического порядка.

Творится мифология, злободневная и скоропреходящая. Один из московских мифов привез Брик: В ночь на 23 апреля Авербах ночевал у Шкловского — единственное место, где — он был уверен — его не станут искать.

— Товарищи, товарищи,— сказал Шкловский сердито,— вы не правы. Нельзя писать для того, чтобы зарабатывать. Надо зарабатывать для того, чтобы писать.

Уверяют, что 25 апреля кто-то из рапповцев выступал на заводском литкружке с речью о гегемонии РАПП'а. Голоса с места:
— Бросьте! Нет вашего РАПП'а.
— Что такое?
— Почитайте газету. Постановление ЦК. РАПП ваш закрыт.
— Постановление!.. Не может быть!

1932

Мне хотелось бы подсмотреть изменение мозговых извилин, душевную судорогу среднего рапповца, читающего постановление от 23 апреля. На протяжении отрезка времени нужного, чтобы прочесть пятнадцать строк газетной печати, человек этот должен превратиться в собственную противоположность, сгореть и родиться из пепла готовым к тому, чтобы говорить, утверждать, признавать, предлагать обратное тому, что он говорил десять лет подряд и еще тому назад две минуты.

На прениях по докладу Слонимского о поездке в Москву — М. К., обращаясь к рапповцам, простодушно сказал:
— Побываете вы теперь в нашей шкуре, увидите, каково перестраиваться.

Олейников говорит, что Олеша плохой писатель, и доказывает это цитатой: «Вещи падали по законам физики».
— Я ясно понял, что он такое, когда где-то у него прочитал: «Я умру среди заноз и трамвайных билетиков» — подумаешь, какая изысканная смерть.

Олейников говорит, что из «Молодой гвардии» его выгнали за безыдейное ржание.

Заболоцкий принес в Издательство Писателей материал на новый сборник. В конце концов сказали, что попробуют, но кое-что нашли неудобным.

Неудобным нашли:

Осел свободу пел в хлеву.

Заболоцкий сел и тут же исправил:

Осел природу пел в хлеву

Нашли неудобным: «в красноармейских колпаках». Заболоцкий исправил: «в красноармейских шашаках». Нашли неудобным: «стоит как кукла часовой». Заболоцкий немедленно исправил: «стоит как брюква часовой». Но это нашли еще более неудобным.

Анна Андреевна массами получала письма от незнакомых людей. Еще в Мраморном дворце она как-то получила письмо, в котором человек выражал настоятельное желание с ней встретиться. Письмо заканчивалось: «Если неудобно дома — выйдите на мост» (имелся в виду Троицкий мост).

— Очевидно он думал, что на мосту удобно,— спокойно говорит Анна Андреевна.

Я написала не свою книгу («Агентство Пинкертона»). Как кто-то сказал: сознательный литературный фальсификат. Настоящая вещь — выражение и поиски способов выражения, заранее неизвестных. Здесь — условия заданы и вообще даны те элементы, которые являются искомыми в процессе настоящего творчества. Здесь нужно только что-то сделать с этими элементами — и получается вещь не своя, но для самого себя интересная; творческое удовольствие особого качества. Удовольствие состоит в отыскании правильного соотношения уже существующих элементов. Вам почти кажется, что даже само соотношение уже существует где-то, как правильное решение задачи на последней странице учебника.

Сразу с разных сторон, разными, но одинаково настоятельными путями, в особенности путем исключения возможностей — приходят к выбору жанра. Это даже не выбор, а отбор — естественный отбор, в своем роде.

Книга историческая, книга для детей, книга мелодраматическая и авантюрная, книга с заранее известными выводами и готовым отношением к действительности — все это виды защитной окраски и приспособления. Главное же — снятие творческой ответственности. Между писателем и его книгой выстраиваются промежуточные и вспомогательные ряды. Пройдя через них, книга становится отражением этих рядов и перестает быть выражением человека. Человеку, создавшему литературную условность, легко дышится. За его идеологию отвечает государство, за материал — история; за его литературную манеру отвечают жанры. Жанровые абстракции — авантюрная, мелодраматическая, историческая и проч., и проч. Сам он только разрешал задание, то есть передвигал элементы внутри жанра, внутри темы. Сам он отвечает только за ловкость своих движений.

Это не плохая и не бесплодная школа для людей, пишущих потому, что они избрали себе профессию писателя. И это страшный, непоправимо опустошающий разврат для писателя, то есть человека, который пишет, потому что не умеет иначе относиться к действительности.

Любопытно следить, как жанр рождается из обстоятельств. Из отсутствия бумаги. Из исключения тем не только враждебных, но и нейтральных. Из социального заказа, который становится социальным соблазном — соблазном нужного дела или точного ответа на вопрос. И тотчас же опять взрыв нетерпения и бросок за писательской свободой. Когда свобода невозможна, суррогатом свободы становится условность. Оказывается, что условные темы менее обусловлены, потому что в них меньше контактов с действительностью. Писатель бежит от реальной темы к условной. По дороге он стукается лбом о многочисленные закрытые двери, пока не влетает в полуоткрытую дверь детской литературы, за которой меньше опасных контактов.

Неясно, что будет с нашей литературой впредь. Но последний ее период был отмечен вопросом: как сочетать социальный заказ с личным опытом и интересом?

Трагедия рапповцев (искренних) была в бездарности — если это можно назвать трагедией. Трагедия попутчиков была в том, что они шли туда же, но не оттуда. Шли от вещей, которым они научились до революции, помимо революции, сбоку у революции. Эти другие вещи часто и составляли авторский интерес. Потом к внутреннему интересу подбирается наиболее подходящий социальный заказ, и получается вздор. Я хочу сказать, что мы не можем хорошо написать о колхозе, если наш импульс — деревенские пейзажи.

Данько, например,— «Мир искусства». У нее два импульса: один — авторский — старые вещи, другой — общегражданский — желание быть с временем заодно. На перекрестке двух импульсов она пишет «Историю Зимнего дворца», где изображается, какие цари были скверные и в каких красивых комнатах они жили.

Когда писал свой роман Сережа Хмельницкий, его занимала археология, средневековая романтика, звучание латинских и старофранцузских слов. Материализм и восстание ткачей в Тулузе — это социальный заказ, честно воспринятый и плохо приделанный к авторскому импульсу. Умирает Вега. Император Карл говорит придворным: «Умер великий полководец и поэт; оплачем первого, потому что вторые — бессмертны». В книге, естественно, разворачивающейся из романтического импульса, нельзя не увлечься такой фразой. Но социальный заказ? И Сережа добавляет: «Император сказал это потому, что, как все императоры, он считал, что должен сказать что-нибудь при таких обстоятельствах». Совершенно некстати Сережа разоблачает императора Карла, как Толстой Наполеона. Хмельницкий честный человек, его сочувствие тулузским ткачам и материализму не внушает сомнений. Внушает сомнения согласование темы с заказом.

Выбор темы в наши дни одна из труднейших проблем литературного дела. Наибольшим распространением пользуются два способа:

1. Исходя из социального заказа, писатель из наличных тем выбирает самую стопроцентную. Этот способ порочен, потому что тема не работает без зарядки авторским импульсом. Так получаются вещи идеологически выдержанные и скучные.

2. Писатель выбирает тему по признаку смежности и с авторским импульсом и с социальным заказом. Способ этот порочен, потому что в произведении начинается чересполосица. Одна полоса — под социальный заказ, и она выглядит уныло. Другая полоса — под внутренний опыт писателя, и она выглядит испуганно. Следующая полоса опять под заказ и т. д. Так получаются вещи идеологически невыдержанные и скучные.

Пастернак, Мандельштам, еще два-три человека писали более или менее прямо о том, что для них было важно, и это походило на дерзость. Дерзости позволены большим людям (это исторически справедливо). Что делать обыкновенному человеку? Обыкновенный человек должен отказаться от мысли писать (для печати) о вещах, интересующих его по преимуществу. Он должен начать с темы и выбрать тему, которая поможет ему обойтись без лжи, халтуры и скуки.

Тему нужно уважать и беречь. Определенные идеологические комплексы стали уже жанровым качеством печатной литературы нашего времени. Это нужно понять. Правильно решаемая задача не терпит последующего подбрасывания идеологических элементов. Идеология должна сразу быть в теме, двигаться с темой вместе; идеология должна обладать сюжетообразующей силой. Отсюда исторические романы и удачные книги для детей старшего возраста.

Для книги, написанной из внутреннего опыта, тема почти безразлична. Потому что каждая вещь может послужить поводом для выражения отношения человека к действительности. Другое дело условная литература. Выбирая для нее тему, помните, что вещь должна быть честной — честной, как преподавание русского языка в вечерней школе для взрослых. Выбирайте тему достаточно близкую для того, чтобы можно было писать, и достаточно далекую для того, чтобы можно было печатать.

Пожалуй, я буду присматривать тему — чтобы без лжи, без халтуры, без скуки. Но никогда я не соблазнюсь жанром авантюристов — годными для печати травести главного внутреннего опыта.

Становится все яснее: писать для печати нельзя — можно только халтурить. Несомненны только две вещи: бескорыстное творчество и халтура. Во всяком случае ни то ни другое не унизительно. Наша сложная постройка из видов промежуточных между творчеством и халтурой — не оказалась ли она порочной?

Пушкинская формула: «пишу для себя, печатаю для денег» разорвалась. Одни вещи пишу для себя, другие печатаю для денег.

Если зарезали стихи Заболоцкого, то Заболоцкий компенсирован тем, что он написал замечательные стихи. На какую компенсацию могу я рассчитывать, если у меня зарежут «Пинкертона»?

Прошлой зимой ВССП устроил чашку чаю с заключением договоров на соцсоревнование. Стенич сказал: «я выпью чашку чаю и уйду, потому что я рвач».

Сейчас литератору невозможно жить здоровой практической жизнью. Можно опуститься. Опускаться соблазнительно и легко. Как заснуть после горького и трудного дня. Удерживает только присущий мне с детства физиологический страх пустоты. Но если не опускаться — остается подниматься. Ликвидировать суету. Жестоко воспитывать себя для медленной, молчаливой работы. Работы без сроков сдачи рукописи в печать.

Маяковского годами попрекали тем, что Хлебников умер, а он живет, теперь Асеева и Брика попрекают тем, что они живут, а умер Маяковский.

Если когда-либо люди кровью сердца писали книги, то сейчас печатают книги кровью сердца. Писательские муки, подъемы и катастрофы, непредвиденные аспекты вещей, карусель надежды и унижения — все это покинуло процесс творчества и начинается с момента представления рукописи в редакцию.

Во время прений по докладу профессора NN аспиранты Гаиса обсуждали вопрос: существовали бы байронические поэмы Пушкина, если бы не существовало Байрона. Они высказали мысль, что форма «Кавказского пленника» была бы другая, а содержание то же самое. На что докладчик, не сморгнув глазом, ответил: «Товарищи, вы допускаете механистический разрыв между формой и содержанием».

Когда бог хочет наказать профессора, он отнимает у него чувство юмора.

Доклад вызвал возражения, но был признан серьезной марксистской работой. Аспиранты Гаиса восхищены тем, что у них собственный настоящий профессор, которого они воспитывают и поощряют.

Как они академичны — аспиранты из Гаиса! Как они уважают университетскую науку, переходящую на советские рельсы. До чего филистерские у них интонации. И как им все это не интересно.

Есть люди, не умеющие страдать. К страданию приспосабливает привычка, психические склонности, социальная подавленность (угнетенным классам и группам исторически свойственно ощущать жизнь как сочетание закономерных бедствий и случайных и непрочных передышек).

При отсутствии надлежащих условий катастрофы плохо удаются. Нынешней осенью крушение произошло у С. Она жаловалась в банальных и бессмертных выражениях на то, что она стареет, что жизнь проходит даром и скоро будет поздно. Она даже советовалась со знакомыми по вопросу о том, разводиться ей или не разводиться.

Это было зрелище отчасти трагическое. Потому что всегда трагичны люди — особенно женщины,— стареющие без всяких ресурсов — без быта, без семьи, без дела. Отчасти нелепое — настолько в ее психике, в прошедшей судьбе, в социальной ситуации отсутствовали те элементы, с помощью которых человек апперцепирует горе. Очевидно было, что она страдает урывками. Страдает, например, в 11 часов вечера, а в 4 часа дня за обедом забывает о том, что жизнь проходит даром и что надо разводиться (не забывается, а забывает, т. е. переходит к состоянию сознания, в котором элементы горя исключены, а не подавлены).

Организм С. усваивал страдание так плохо, что в конце концов ей пришлось отказаться от переживаний этого порядка. Она уехала на два месяца отдыхать и по возвращении больше не страдает, хотя жизнь по-прежнему проходит даром.

Что им делать с нашей болью — этим людям не своего времени, которых старый мир задумал веселыми, праздными [1] и неспособными думать?

Они не могут ни побороть боль, ни терпеть ее в силу уверенности угнетенных в том, что жизнь заведомо плачевна; ни гордиться ею в силу уверенности интеллигентов в том, что боль почетна; ни обращать ее в опыт и материал.

Из всех ресурсов им оставлено одно удивление... С. перед зеркалом мизинцем оттягивает кожу под глазом:

— Боже мой, сколько морщин... Что будет дальше?

— Дальше вы не будете их рассматривать. После тридцати лет люди перестают замечать у себя морщины под глазами.

Различаю три категории деятельности: творчество, работа и халтура. Прибавим к этому две категории возможных (или невозможных для нас) благ: активизация и деньги. Различные соотношения этих элементов и образуют формы нашего профессионального бытия.

На первой стадии (институтской) была установка на творчество плюс активизация. В высшей степени наивная установка, которая окончательно провалилась около 1928 года.

Вторая стадия характеризуется установкой на работу плюс активизация и деньги (профессионализм). Для меня — и не для меня только — эта установка провалилась в исходе 1932 года.

Начинается третья стадия, в которой я усматриваю сочетание творчества с халтурой (за халтуру платят). Халтура имеет перед поденной работой то преимущество, что она оставляет голову относительно свободной. Не хочу быть больше животным, которое 10 часов в день пишет не очень хорошие книги.

---

[1] То есть относительно-праздными. Необходимо отличать общественно полезную занятость от занятости, как таковой. Светская женщина была страшно занята не только по распределению времени, обязательному и в значительной мере независимому от ее воли, но и по обилию целей и предметов вожделения, заполняющих вокруг нее пространство. Современная женщина этой психической структуры очутилась в такой пустоте, что она спешит поступить на службу.

Л. говорит:

— Я очень спокоен... Издательский застенок искоренил во мне нетерпение, самолюбие, славолюбие. Мне осталось одно корыстолюбие — из всех пороков.

Пушкин принимался говорить о деньгах всякий раз, как у него были цензурные неприятности.

В деревне.

Здешняя крестьянка говорит:

— У меня батя не понимал, что мертвецов нужно бояться.

Сосед Гаврила Федорович разрубил себе ногу топором при постройке моста. Ногу отняли. Из штанины у него торчит деревянная нога. Рассказывает о том, как ездил в район добиваться декретной пятидесятипроцентной скидки с налога.

Пришел на своей деревяшке.

— Они на меня посмотрели и спрашивают: «А есть у вас удостоверение в том, что вы инвалид?»

— Ну, а вы?

— А я им в ответ: «Ах, вы, мать вашу... (он воспроизвел полностью)». Есть у меня удостоверение.

И положил бумажку на стол.

Фрейд утверждает, что талантливость происходит от сочетания сексуальных отклонений с работоспособностью. Я сказала об этом Боре. Он ответил:

— Это меня не устраивает. Я в высшей степени нормален и мало работоспособен. И мне все же хочется быть талантливым.

Лишенные мыслей, эмоций, стимулов деятельности, лишенные даже простейших верных инстинктов,— они предоставлены расчетам беспомощного ума.

Какие плачевные выгоды! Какие унизительные ошибки!

«Пишите... Только, пожалуйста, не извиняясь, что вы пишете. Потому что от этого письма не становятся ни короче, ни лучше» *(из старого письма)*.

Именно с морем у меня так крепко и печально сопряжены память и сожаление о первой юности. О прозрачности жизни перед непочатым будущим, о жизни, которая еще неизвестно как будет выглядеть; о неначавшейся жизни.

Но совсем, безнадежно взрослой, я стала только недавно. С тех пор как поняла, что нечто уже поздно и, главное, что ничто уже не рано.

В горах трудно различимы туман, облака и снег. Становится вдруг понятной тождественность их вещества, как производных воды.

Туман поднимался. Туман или облака отделялись от гор, как прилипшая вата, которую отдирают с усилием. И она оставляет за собой просвечивающие и неровные хлопья.

Облако сидело поверх горы, как старик, который поднял руку к лицу, чтобы высморкаться. Но через мгновение оно уже свернулось, поджав края, и стало эмбрионом в банке.

Далекие горные ручьи напоминают след улитки, проползшей по камню.

Боря: — У тебя дар понимания людей.

— Да, конечно. Только при этом я ошибаюсь, а верно определяет Гофман, который необыкновенно туп на людей. Что ж — у него правильнее, а у меня интереснее.

Боря (сердито): — И ты, с твоим релятивизмом, думаешь, что раз все равно *на самом деле* человека нет... так пусть, по крайней мере, будет интересно.

Новая книга Пастернака «Второе рождение». Любовь, природа и политика. Интереснее всего политика, конечно. Поразительные стихи «Весеннею порою льда...», где политика наложена верхним слоем на весну и природу. Темой, размахом они напоминают «Высокую болезнь». Пастернак выражает сознание приемлющего интеллигента (как Мандельштам выражает сознание интеллигента в состоянии самозащиты). До последнего времени (особенно до 23 апреля) попутчики отличались от рапповцев тем, что их не принимали в РАПП. Литературу в основном составляли люди, хотящие быть стопроцентными; из которых одни сподобились (рапповцы), а другие не сподобились (члены ВССП). И почти все писали в одну точку с разной степенью приближения.

Пастернак выражает сознание интеллигента (так называемого мелкобуржуазного), сознающего себя таковым. Как человек этой социальной категории, он, приемля, не столько не хочет, сколько не может преобразоваться до конца. То есть не может преобразоваться, не разрушив какие-то важные категории своего сознания. Для меня, вообще для «бывших формалистов», это был бы скепсис и юмор; для Пастернака это, скажем, идеализм. Подобные компоненты не обязательно выше того, что предлагает современнику современность, но в сознании интеллигента дореволюционной формации они конструктивны, следовательно, они позволяют творить. Самодовольство тут неуместно. Это в самом деле болезнь, но настолько неизлечимая, что лучше ее использовать. Как Пруст обратил в творчество — астму.

Пастернак это знает и сказал по этому поводу:

Здесь места нет стыду.

Он же говорит:

Хотеть, в отличье от хлыща
В его существованьи кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.

Будто бы М. сказал: «Я не могу иметь ничего общего с Борисом Леонидовичем — у него профбилет в кармане». Но у него же стихи полны пространством, которое поэт оставляет между собой и обыденностью. От этого они так тревожны и трагичны.

Но лишь сейчас сказать пора,
Величьем дня сравненье разня:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Стихи, страшные смелостью, с которой он берет на себя ответственность за пушкинские «Стансы». «Стансы», опозоренные замалчиванием, оправдыванием, всеми подозрениями,— он поднимает на высоту новой политической мысли. Первое отпущение греха, возникшее из глубины нашего опыта. Впервые сострадательная и товарищеская рука коснулась того страстного, остросоциального желания жить, а тем самым оправдывать жизнь, которым так трагичен Пушкин конца 20-х годов.

1932

Чуковский предложил статьи для нового Некрасова («Academia») Грише, Боре и мне. Это значит — действительно передышка. Одни простодушно радуются, другие пользуются случаем заработать; а иным невесело.

Мыслей нет — это очевидно С нами поступили очень диалектично: прежде чем немножко разрешить,— опустошили. Нам осталась голая талантливость, и она бьется, как заблудившийся пульс, и бессмысленно теребит нервы. Предполагается, что в качестве лиц, не имеющих мыслей, мы употребим свою талантливость на то самое, на что многие употребляют свою бездарность — и получится полезное действие. Предпосылка жестокая, но не лишенная практического смысла.

Дурно то, что за последние два года мы научились писать — и неплохо,— не имея мыслей. Это от работы в не своем деле (детская литература и т. п.). А свое дело лежало покуда в стороне и выветривалось. Оно настолько выветрилось теперь от пафоса, от мыслей, от нетерпимости, что за него предлагают взяться.

Что же — жалеть о формализме? Нет. Будем жалеть о напряжении сил, сопровождавшем формализм.

Шкловский, этот страшно неуживчивый человек, писал, что время не может быть виновато. Во всяком случае человек сам виноват, если у него нет мыслей. Профессия больше всего похожа на любовь. А в любви каждый имеет то, чего он заслуживает.

Шкловский напечатал в Литгазете какую-то статью (я не читала) с упоминанием о Тынянове, так его рассердившем, что он послал Шкловскому письмо с разрывом.

— На сегодняшний день это уже не исторично,— говорим мы с тем равнодушием к их праву на частные человеческие чувства, которое принято по отношению к историческим людям.

Гофман рассказал с восторгом: К. встретил в коридоре Гиза Тынянова и не поклонился. На семейном совете Юр. Ник. сказал:

— То, что он мне не поклонился,— неслыханная наглость. Впрочем, если бы он мне поклонился, я бы, конечно, не ответил ему на поклон.

— Скажи, пожалуйства,— откуда Коля знает, что происходило на семейном совете у Тынянова?

— Как откуда? Ведь Оксман-то был на семейном совете.

— А!

Я понимаю, что можно рвать отношения с друзьями, но стоит ли рвать со знакомыми? Понимаю, что можно поссориться при встрече, но у нас ссорятся за глаза, втемную.

В. говорила когда-то:

— Не кланяться после разрыва — это психология невоспитанных людей.

Самые нехорошие люди — раскаявшиеся декаденты. В них все зло, которое порождало декадентство, сочетается со всем злом, которое порождает раскаяние.

Л. говорит: мое отношение к ней состоит сейчас главным образом из уважения к собственным горестям. Это академическая любовь. Она напоминает академические издания, в которых преобладает уважение издателей к своим трудам.

Всеядные в литературе в лучшем случае могут читать, но никогда ничего не напишут (то есть хорошего).

Анна Андреевна говорит, что всю жизнь с отвращением чувствовала себя врачом, который каждому пациенту твердит: — У вас рак, у вас рак, у вас рак...

Но месяц тому назад к А. А. пришла московская девушка и прочитала, кажется, хорошие стихи. Это оголтелая романтика, какой давно не было — явно талантливая. Возможно, что все впечатление — ритмический дурман; или даже эмоциональный? У Маруси Петровых наружность нежная и истерическая. И немного кривящийся рот.

Пильняк в заграничных очерках написал: «...между грушей я сыром...» Мандельштам говорит: — Скажите, пожалуйста, с нашей точки зрения, что такое может быть между грушей я сыром? Очередь?

С.: — Все таки N. глупа.

Я: — Она не глупа. Она искренний человек и изливает душу на окружающих.

— Я тоже искренний человек!

— Да. Но у вас нет души. Так что окружающим ничто не угрожает.

Он больше не думает, только прядумывает; даже не пишет, вместо того диктует. Очень много зарабатывает и очень много разговаривает. Для писателя это вредно. Боюсь, что он уже написал свои лучшие книги. Что касается N, то это человек, который, кажется, уже написал и свои худшие книги.

Лучше не иметь иллюзий. Люди нашей квалификации бывают нужны только тогда, когда они необходимы. Во всем, что я делаю сейчас, я вполне заменима. Скажем, даже, другой напишет текст радиопередачи немного хуже, чем я. Во-первых, от этого передача в конечном своем назначении не потеряет, а, может быть, даже выиграет. Во-вторых, с этим другим, лишенным стеснительного излишка знаний, мыслей и раздражительности, дело иметь приятнее. Всякий редактор это знает или чует бессознательно. И в самом деле, если ту же операцию с одинаковым успехом выполняет сложная машина и простая машина,— целесообразнее пользоваться простой.

Ж. определяет дружбу: «Хочу видеть, но могу и не видеть».

Paresse sans loisir, inertie inquiete: voila la resultat de l'autocratie boréale.
Custine. «La Russie en 1839» [1]

Кюстин, при всем незнании и непонимании фактов — граничащем с клюквой,— многое понял в свойствах и тенденциях империи Николая I. Он понял, что основу светского общежития составляют скука, неискренность и страх. В сочетании дикости с регулярностью он угадал предпосылку бюрократического строя.

Этот ревностный католик говорит по поводу революционных потенций семинаристов: «Вот что значит разрешить священнику иметь жену и детей!»

В: — Не понимаю, почему говорят, что Шварц преуспевает, у него за последнее время не вышло ни одной книги.

[1] Лень без досуга, тревожная косность — вот последствия северного самодержавия. Кюстин. «Россия в 1839» *(франц.)*.

— Это не имеет отношения к делу. Симптом преуспеяния — приглашение на банкеты.

Шварц растолстел, но не утратил юмора — и говорит: «Мне приказано пополнеть».

NN говорит: «Чтобы существовать, человек должен работать; чтобы существовать прилично, он должен работать квалифицированно, чтобы работать квалифицированно, он должен работать добросовестно, то есть убежденно разделять господствующее мировоззрение».

Кто-то сказал: «Пушкинисты никогда не читают Пушкина в оригинале».

Страшен кукиш мне покажет нищета.
Мандельштам

Как видно, отсутствие денег — это новый для нас вид переутомления. Как всякая усталость, оно возбуждает желание остановки. Человек с натруженными руками воображает себе покоящееся, раскинутое, расслабленное состояние этих рук. Я сейчас представляю себе: хорошо бы хоть два дня не думать о том, пообедать ли за 1 р. 20 или 1 р. 60 коп. Но я выбираю нищету, когда предстают на выбор нищета и то единственное, что может от нее спасти: безостановочная работа для денег, не оставляющая места ни мыслям, ни свежему воздуху. Пародийное и копеечное литераторство, в котором животная бессознательность постыдно сочетается с переутомлением мозга.

Это даже не делает мне чести. Может быть, это делает честь нашей стране, в которой все, что можно достать за деньги, поразительно ничтожно.

Т. говорит:

— Я думаю с ужасом, что при моем бюджете среднего театрального работника могу позволить себе самую высшую роскошь, какая существует в обиходе,— то есть нанять такси, поужинать в «Европейской» и пригласить девушку за 100 рублей.

Гуковский: — У меня сейчас тринадцать работ в печати.

— Сколько из них, из этих тринадцати работ,— работы?

— Работа... одна — моя книга.

— А на остальные двенадцать вы тратили силы и время.

— Забавно, что если что-нибудь доставит мне деньги, положение, успех, то именно остальные двенадцать.

— Не следует ли нам все-таки выяснить — для чего мы живем. Странно,— если для того, чтобы зарабатывать деньги.

— Да.

— Несмотря ни на что думаю,— хотя не знаю, почему я так думаю,— человек должен выполнить свой максимум. Вам темперамент не позволяет. Хватаетесь за все.

— Но вы должны знать — если у вас нет места в иерархии, если вы ушли в пустыню...

— Там надо питаться акридами...

— Да.

Мне же сидеть в пустыне позволяет то обстоятельство, что мир не проявляет ко мне никакого интереса. Настоящая проверка на стойкость была бы, если бы он вздумал меня искушать.

Эйхенбаум: — Что же нашли в редакции?

— Что ничего страшного. Только местами вульгарный социологизм. Помните, нашу коктебельскую врачиху? Она всем говорила по очереди: «Ну, у вас небольшой невроз сердца, но у кого его нет?» Вульгарный социологизм — в этом роде.

— Притом он тоже невротического происхождения. Человек садится писать. Социальное обоснование не получается. Он начинает нервничать; из чего возникает вульгарный социологизм.

Б. надоел Е., и она всячески его избегала. Он был как раз в разгаре увлечения психоанализом. Как-то они столкнулись в трамвае, и он сказал ей:

— Скажите, вам не приходит в голову, что вы подсознательно не хотите меня видеть?

Селин все-таки настоящий писатель. Но он скучен монотонным цинизмом и обгаживанием всех вещей подряд. Оно безошибочно действует на обывателя. Благонамеренные обыватели испытывают негодование, а эмансипированные обыватели — восторг.

Энгельгардт так мало эгоистичен, что в нем даже нет защитного творческого эгоизма, и он теперь с большой простотой жертвует творчеством семье.

Притом он жалуется на нужду, на болезни домашних, на тесноту.

— Голова разваливается. Совсем не могу работать.

Никто их нас, эгоистов, не сделал бы такого признания. Может ли эгоист через полгода после женитьбы говорить о тягости семейного существования. Для него это означало бы, что он сожалеет, упрекает жену, что он не великодушен; и эгоист симулирует твердость духа. Энгельгардт же человек с таким корневым чувством ответственности, пониманием соотнесенности хорошего и дурного, что соображения щепетильности не приходят ему в голову. То, что он взял, он взял навсегда, со всеми возможностями счастья и печали; принял до неотделимости от себя... И почему бы ему не сказать после этого, что ему трудно, что он измучен и не может работать.

Лиля Юрьевна уже почти откровенно стареющая, полнеющая женщина. Сейчас она кажется спокойнее и добрее, чем тогда в Гендриковом. Она сохранила исторические волосы и глаза. Свою жизнь со всеми переменами жизни, она прожила в сознании собственной избранности и избранности своих близких, а это дает уверенность, которая не дается ничем другим. Она значительна не блеском ума или красоты (в общепринятом смысле), но истраченными на нее страстями, поэтическим даром, отчаянием.

По радио передавали концерт Бандровской, и после каждого номера слышался непонятный, похожий на тарахтение телег, шум аплодисментов, восторга.

— Слышите. Вам хотелось бы иметь такой успех? — вдруг сказала Л. Ю.

Проблема такого успеха настолько не моя, что я даже сразу не догадалась, что не хотела бы... И ответила только:

— Не знаю... Никогда об этом не думала.

Но есть род женщин, которых всегда касается проблема актерского успеха, и потому Л. Ю. сказала:

— А мне бы не хотелось. Мне все равно.

В сущности, ей может быть все равно. Бандровская попоет свое время и забудется, а Лиля Брик незабываема.

Мы сидели за круглым столом, и мои мысли о поэтическом бессмертии этой женщины вовсе не шли вразрез с самоваром или с никелевой кастрюлькой, где в дымящейся воде покачивались сосиски. Ведь одно из прекрасных лирических открытий, для которых она послужила материалом,— это

...Но к любимой в гости
Две морковинки несу
За зеленый хвостик.

— Ося должен написать,— говорит Л. Ю.,— для последнего тома биографию Володи. Это страшно трудно. У Володи не было внешней биографии; он никогда ни в чем не участвовал. Сегодня одна любовная история, завтра другая — это его внешняя биография.

Л. Ю. говорит о любовных историях. А Шкловский когда-то, после смерти Маяковского, сказал мне: «Говорят, что у Маяковского не было биографии. Это неправда. Он двенадцать лет любил одну женщину — и какую женщину!»

Л. Ю. рассказывает: В 23 году они поссорились. Поссорились, потому что Маяковский, приехав из-за границы, где он кутил и ничего не видел, объявил лекции: «Что Берлин, что Париж!» и говорил что попало. Она сказала ему, что он идет на дно, что она с ним не хочет на дно. Чтобы он прекратил хождение к знакомым, романы и карты, и подумал бы о душе. Что она дает ему сроку два месяца. И он два месяца сидел дома. В это время он написал предсмертную записку, которая у нее хранится. В условленный день она получила от него в конверте билет в Петербург. Они встретились в вагоне. И ночью в купе он прочел ей «Про это». Он читал всю ночь и, читая, плакал, плакал без удержу.

Большую часть того, что люди делают в жизни, он не делал или делал плохо. Он умел только любить и писать стихи. Вот почему к нему относились настороженно.

— Он был очень добрый,— продолжает Л. Ю.,— и очень наивный. Его легко было огорчить. Виноваты литературные бывшие люди. Они расстраивали его разговорами о настоящем искусстве. Виновата актерская компания — среди них он казался себе старым. Дома, со своими, мне очень хорошо, но, если я пойду к балеринам, я почувствую себя старой лахудрой, и у меня сделается каценьямер, и, может быть, мне захочется пустить себе пулю в лоб. Виноват еще грипп.

Володе всегда было очень трудно жить. Если бы не революция, он бы давно застрелился. Революция замедлила конец.

1936



Елена ЛАКТИОНОВА

◻ ◻ ◻

Не терплю телефонных разговоров:
тискаешь в потной руке пластмассу
и разговариваешь со стенкой.
Зато много преимуществ:
можно что угодно соврать —
ведь не видно лица;
можно прикрыться ладошкой
и болтать с другим;
можно говорить и плакать —
лишь бы не дрожал голос;
можно даже бросить трубку,
если тебе слишком надоели;
и еще можно не подходить к телефону,
когда к тебе пытаются дозвониться,
это легче, чем не открывать
стоящему за дверью.
И все-таки я предпочитаю
человека.

◻ ◻ ◻

Не боги обжигают
только обыкновенные
горшки.
Чтобы обжечь Прекрасный горшок —
нужно быть
богом.

◻ ◻ ◻

В моей комнате стояло зеркало,
и я иногда играла перед ним:
я жила и умирала,
любила и презирала,
я была счастлива и страдала.
Потом зеркало разбилось,
и я перестала играть —
не перед кем.

ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА

Избыток любви губит все.
Ему сказали: если оглянешься —
не увидишь никогда.
Он не мог не оглянуться —
любил —
слишком.

КОМНАТА СЧАСТЬЯ

У меня была Комната Счастья.
Ключ от этой комнаты лежал у меня
в кармане,
и я знала, что в любое время
могу прийти туда и буду счастлива.
Но я никогда не заходила в эту комнату,
потому что, если часто заглядывать туда,
Комната Счастья превратилась бы
в обыкновенную комнату,—
и только *знала,* что могу прийти
в любое время.
И однажды, когда я все-таки заглянула
туда,
я увидела, что Комнаты Счастья больше
нет:
Кресло Блаженства было сломано,
Зеркало Наслаждений разбито,
Вино Восторга высохло,
а Угол Удовольствий затянут паутиной.
Я вышла, закрыла двери на ключ,
а ключ положила по-прежнему в карман.
Он лежит там у меня до сих пор,
и я знаю, что в любое время
я могу открыть свою Комнату Счастья
и буду счастлива.



Зиновий ВАЛЬШОНОК

◻ ◻ ◻

Памяти Владимира Высоцкого

Не знаю я, кто это выдумал,—
фанатик или лиходей:
лепить непогрешимых идолов
из грешных, путаных людей.
Певца вчерашние гонители
сегодня делают святым.
А ведь ему в земной обители
противен был кадильный дым.
От поздних славословий сладостных
унылый гул стоит в ушах.
Увы, от наделенья святостью
до святотатства — только шаг.
Когда иконами разменными
навешан бард на все углы,
пыл поклонения безмерного —
лишь продолжение хулы.
О, эти копии несметные!
Не отразит людской любви
обронзовение посмертное
Судьбы на хрипе и крови.

«ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»

Мотор заглох. Качнулись крылья слепо.
И с гулким звуком мировой тоски
авиалайнер пал на землю с неба
и с грохотом разбился на куски.
Уткнулся в грунт, срубив верхушки елей,
дымящийся и смятый фюзеляж.
И ангелы печальные отпели
всех пассажиров, груз и экипаж.

Нам не постичь бы дух его парящий
и всех деталей вспыхнувшей беды,
когда бы не остался «черный ящик»,
храня судьбы магнитные следы.
Там запись всех подробностей полета
вплоть до его минуты роковой.
Живые звуки голоса пилота,
последний диалог его с землей.

Я грубых аналогий не приемлю.
Но, завершив свой жизненный полет,
когда-нибудь уйду в родную землю,
как этот аварийный самолет.
И в тишине оглохшей и скорбящей,
где головы склонили камыши,
останется мой стих, мой «черный
ящик» —
озвученная хроника души.

МЕМУАРЫ

Поземкой выметая тротуары,
в заиндевелых окнах свищет март.
Усталый маршал пишет мемуары,
перебирая кипы старых карт.
В пунктирах с лязгом проступают танки,
встает пехота в стрелках оперсхем.
Но что-то есть теперь в его осанке
домашнее и мирное совсем.
И тело, погрузневшее немного,
склоненное над сутолокой строк,
обтягивает мягко и нестрого
такой уютный штатский свитерок.
Несет молва, как эхо из колодца,
глухой упрек, что был жестоким он.
Но, может быть, жестокость полководца
оправдана жестокостью времен?..
Ведь нет побед без злых житейских
ошибок,
и он своей судьбой не миновал
ни взлетов, ни трагических ошибок,
ни горечи неправедных опал.
Тщету повергнет время без усилий
в заслуженное ею забытье,
оставив только то,
что для России
он сделал в час отчаянный ее.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

В час, когда тиранят хворь и горечь,
травмы, нанесенные людьми,
хорошо, что есть на свете голос
утешенья, ласки и любви!
Не оракул, приторно медовый,
в аппарате прячущий свой лик.
Просто кто-то, выслушать готовый
и унять сочувствием твой крик.
Смута на душе или потеря,
этот голос манит, как магнит.
Посреди эпохи недоверья
телефон доверия звонит.



Людмила СИНИЦЫНА

С УГОРА ДАЛЕКО ВИДАТЬ

— Был бы жив Абрамов, он бы этого не соизволил делать!— сказала Анна Ефимовна.

— Да, он бы не дал наволóки эдак-то разорять,— поддержала ее Алевтина Федоровна, круто, как мне показалось, меняя разговор.

Круто меняя, потому что до сих пор речь шла о книгах Федора Александровича Абрамова. Эту читательскую конференцию, наверно, одну из самых необычных, подготовила заведующая веркольской библиотекой Оля Галашева.

В Доме культуры за длинным столом сидели принарядившиеся женщины из Верколы, родного села Федора Александровича. Села, в котором он вырос, где лечился после ранения на фронте, а потом приезжал из Ленинграда почти каждое лето.

Все эти женщины хорошо знали писателя-земляка. Многие помнили его еще мальчишкой, кое-кто находился с ним в родстве, и не без тщеславия, но как бы ненароком, старался в разговоре подчеркнуть это.

— Как идет мимо, всегда крикнет в окно: «Здорово, тетка!». А я ему: «Кака я тебе тетка? Я ведь тебе племянницей прихожусь». А он разохóнится, покойник-то,— рассказывает Анна Ефимовна,— зайдет, завсегда чай выпьет, не брезгует...

— С ручкой обязательно поздоровается,— добавляет Алевтина Федоровна.

— Хоть я человек для него некорыстный, обожал меня уж,— продолжает, будто не слышит, а может, и на самом деле не слышит, Анна Ефимовна.

На этой встрече она нéчаянно проговорилась, что «порато ждала Федора Александровича в последний его приезд. Да вот, все дело пало. Не получилось, и все делушко порушилось». А ждала она его потому, что наконец решилась: «Уж я думала, думала-ти и решилась ему *все* рассказать».

— А что хотела-ти рассказать? — полюбопытствовала ее соседка.

— Ему не рассказала, дак и вам не скажу,— сердито отрезала Анна Ефимовна и, чтобы смягчить резкость, добавила:— Уж об других делах думать надо... За что мне эко длинный век продлен — восемьдесят четвертый год живу — ужасти! Умирать пора, а все нéкак. Уже путевку на погост выписали, с фонарями, поди, ищут!

Но дело не только в родстве или знакомстве с писателем. Дело в том, что многие из сидевших в зале были прототипами его знаменитых героинь. И, обсуждая книги Абрамова, они вступали в странные взаимоотношения с его персонажами, которые были для них реальными людьми, во всяком случае, они таковыми их воспринимали. За столом, например, сидела та, с которой, как все считали, он написал свою Пелагею из повести «Пелагея и Алька». Она до сих пор не может простить писателю, что наделил ее несвойственными ей чертами:

— Пошто? Разве я ковды была скупой?..

А Нина Степановна — невысокая дородная женщина, все время поправляя косынку, серьезно внушала мне, чтобы я ничего плохого не подумала про ее племянницу Верку.

— Напрасно ее Абрамов обидел. Не пьет она вовсе. Хоть у кого спроси — скажут. Это, наверно, ее муж, когда с Абрамовым в лес на охоту ходил да на рыбалку — со зла наговорил на свою жену, а писатель ему и поверил. Зря поверил, ей-богу, аря! Но это ничего, так-то он всю правду написал...

Здесь, в зале Дома культуры, не было «незаинтересованных лиц». И поэтому с «обсуждения творчества» писателя-земляка всякий раз сбивались на воспоминания о жизни: первые коммуны, организация колхозов, военные годы... И как песня, как знакомая мелодия, но спетая, как говорят на Пинеге, с другим наклоном, вдруг повторилась сцена из романа «Братья и сестры»:

«...Вспоминали, охали, обливались горючей слезой, но и дивились. Дивились себе, своим силам, дивились той праведной и святой жизни, которой они тогда жили...».

Когда Оля Галашева сказала, что «все романы Федора Александровича, как пишут критики, посвящены русской женщине, и про вас он писал, чтобы все знали о вашей жизни», на некоторое время возникла неловкая пауза. Женщины не знали, что на это ответить, продолжая перебирать разбуженные разговором воспоминания, пережитое за долгие годы. И вот Анна Ефимовна вдруг сердито заметила:

— А пошто тогда наволоки разорили?!

«Наволоками» здесь называют заливные луга. А слово «разорять» означает распахивать. Речь шла о том, что правление совхоза приняло решение провести мелиоративные работы и осушить наволок, чтобы превратить его в пашню. Этот луг тянулся вдоль Верколы, вернее, между Верколой и Пинегой. Село стоит на угоре. А под ним, до самой реки — широкий луг. Кроме совхозных, здесь были и участки, принадлежавшие этим женщинам, нарезанные еще колхозом. Участки отделялись друг от друга межами. Вдоль них проходили тропы к реке. Была и межа, ставшая знаменитой после повести «Пелагея и Алька»,— «Паладьина межа». Эта тропа, по которой ходила Пелагея на пекарню (как писали критики), «стала как бы итогом жизни, итогом подлинного трудолюбия, стремления исполнить порученное ей дело как можно лучше».

Мне не удалось увидеть знаменитого наволока под угором. На месте роскошного, богатого заливного луга тянулись ровные, аккуратные бороздки с чуть проклюнувшейся зеленью ростков. Увидеть луг таким, каким он был при Абрамове, теперь можно было разве на фотографиях да на картинах Дмитрия Клопова — веркольского товарища Абрамова, которого писатель побуждал «развивать в себе талант художника».

«Конечно же, жаль, что не сохранился любимый писателем луг»,— думала я по дороге в правление совхоза «Быстровский». Но ведь совхоз — не мемориальный комплекс. В нем не только «прототипы», не только «памятные места», связанные с произведениями писателя. Наверно, Абрамов и сам счел бы необходимым в первую очередь думать о том, чем должен жить совхоз — заботой об урожаях, материальном достатке. Наверно, у руководителей хозяйства найдутся веские доводы в защиту решения столь неузнаваемо изменить пинежский пейзаж.

Правление совхоза «Быстровский» находится в Карпогорах. Веркола — одно из его отделений. От Верколы до Марьино — от одной крайней точки совхоза до другой — около ста километров.

Не застав в первый раз нужных мне людей в правлении — они уже успели разъехаться по отделениям, участкам, по фермам и телятникам,— и зашла к председателю Агропрома Юрию Федоровичу Шкурко. Он до этого много лет был директором совхоза.

— Веркола сейчас в середнячках ходит,— начал Юрий Федорович.— В крепких середнячках. Уровень жизни совхоза определяется по экономике: я имею в виду продуктивность животных, лугов, кормовую базу. И механизаторы, кстати, там молодые. Хороший коллектив.

Управляющего Веркольским отделением — Николая Афанасьевича Фролова — он охарактеризовал как ухватистого хозяина...

— Он и школу механизаторов сам прошел, высокого класса специалист. И такими вопросами, как бригадный подряд, интересуется. Пока он там — движение будет. Вообще-то раньше в Верколе часто менялись управляющие. А теперь нет. Это хорошо.

О планах на будущее, связанных с развитием Верколы, «учитывая, что это теперь особенное место», немного замявшись, сказал:

— А разве дорога к селу, которую начали делать,— это не есть «особое отношение»? Есть решение — правда, оно пока не принято, это от Москвы, а не от нас зависит — о сохранении парковой зоны. Триста тысяч га должны отойти, там не будут вырубать лес, чтобы сохранить природу в том виде, как было. Только вы правильно поймите положение управляющего и директора совхоза. С них ведь в первую очередь спрашивают, сколько они сдали и сдадут государству мяса, молока и масла. По этим показателям судят об их работе.

А о веркольцах отозвался так:

— Пожалуй, они и на самом деле отличаются. Среди всех отделений отличаются... Тем, что более отзывчивые на хорошее и на плохое. У них *взáболь* идет, если конфликт возникает.

Слово «взаболь» имеет несколько значений: всерьез, действительно, на самом деле (Я шутя, не подумайте, что взаболь); как следует, как полагается, по-настоящему, усердно (Он взаболь в колхозе рóбит); насовсем, окончательно, полностью (Мы то говорим «взаболь», а приезжие — «насовсем»).

В словаре Даля указывается и другое произношение, свойственное иным районам,— «взабыль». Но при таком выговоре утрачивается еще одно, не высказанное, но ясно различимое слово — «боль».

Разорение наволоков относилось к тем самым конфликтам, которые веркольские женщины приняли взаболь.

— Бульдозером все кусты, на которых птицы жили, сняли, сожгáли, в яму вспихали! Канавы каких две глубоких прорыли! Пошто?

— Старики-ти у нас рыли одну — в полметра, и хорошо было́! Под угором сровняли все. Я хотела там лук посадить. Так нет, не дали местышка. Говорят: «Здесь дорога проходить буде». А кому нужна дорога под угором? Глянь, еаде кто по ней? Так никто и не еаде,— сердилась Пелагея Федоровна.

— Участков лишились, теперь коров нечем кормить. Скоко коров из-за этого свели? Николь не осталось, хоть уеажай, деревни лишайся. И лошади ведь там паслись — такое разнотравье было. И напьется лошадь там, и наестся. А теперь коня вязать негде. Вот беда! Бедные кони теперича. Чем кормить? Песком не будешь кормить. В наших колхозах ни одной лошади на по́жню нет! И у нас не останется,— говорила, как выпевала, Анна Терентьевна.

— Я бульдозеристам-ти говорю,— вступила Алевтина Федоровна,— зачем наши участки нарушаете? Ведь мы пить, исть хотим. Мы люди старые. А они: нам это разрешено, вот мы и делаем. Приехали не наши, каки-то. Откуда-то, не знаю. Мы им говорим: «Вредители вы». А они отвечают: «Вредители — это кто разрешил. Они денежки большие за работу получили. А мы што?»

Тимофей Степанович — сын Алевтины Федоровны — слушал, слушал, как она выкладывает мне свои горести, отложил в сторону косу и тоже заговорил:

— На такую глубину пахотный слой перевернули! А на лугу ведь — мышиный горошек, и борщовник, медоносные травы росли. Запахи каки стояли. Теперь одна тимофеевка растет. Даже птиц выжили. То каждый год у нас в скворечнике селились, а сей год ни одного скворца не видел. Это потому что они аммиачную селитру на поле сыпали, чтобы урожай взять. И всех червяков уничтожили. Червяков — вторых пахарей земли! Так все вывернули — одна глина осталась. Что на ней расти буде? В Суре вот эдак же хотели сделать, дак Галашев — директор их — не дал.

— А что же ваш управляющий? — спросила я.

— Что управляющий? Як уж сколько их было за мою жизнь? Он же не хозяин. У него даже на гвоздьё денег нет. Все в правлении совхоза за него решают. Они там, в Карпогорах, сено не ядят, думушку не думают, а ты как хошь! — Степан Тимофеевич с досадой стукнул становищем косы об пол.

Про думушку, которую никто не думает, было сказано для того, чтобы объяснить: какой смысл в разорении наволока. Ведь должен же кто-то в этом быть заинтересован, видеть какую-то корыстную, но выгоду.

На мой вопрос, какую пользу принесут эти мелиоративные работы, главный агроном совхоза «Быстровский» Людмила Степановна Леонтьева ответила:

— Выгоду? Пока никакой. Пока одни только убытки. Мы истратили шестьсот шесть тысяч рублей. Такие работы окупаются через три-четыре года — не раньше.

— Но в Шардоме, где проделали подобные мелиоративные работы, они себя не оправдали?

— Верно, не оправдали,— вздохнула Людмила Степановна.

— А если бы не вкладывали такие деньги, но вырыли бы, как старики это раньше делали, одну канаву на полметра глубины?

Людмила Степановна ничего не ответила, достала несколько толстых папок. И проект, и смету, и разработки...

Если бы все эти бумаги разложить, они бы, наверно, в несколько слоев покрыли «общую площадь участка в 213 гектаров», которые, судя по документам, занимал заливной луг, где «пашни составляли 95,5, сенокосы — 98, мелколесье — 12,7, лес — 4,4 и прочее — 2,7 гектара».

— Участок был мелкоконтурный. Сейчас на таких невозможно производительно работать. А Верколе нужен объем работ. Надо занять механизаторов, чтобы они все эти гектары могли без помех обрабатывать. Надеемся, что со временем — года через четыре — будем получать там стабильно тридцать центнеров с гектара. Абрамов нас, кстати, в своем открытом письме, опубликованном сначала в районной газете, а потом в «Правде», критиковал именно за невысокие урожаи, за плохую подготовку сена и силоса.

Выходит, открытое письмо Абрамова своим землякам и стало невольной причиной этого конфликта взаболь? Одни считают: «Был бы жив Абрамов, он бы этого не соизволил делать». А другие, что он бы «благословил на такое дело»... Кто же все-таки прав?

Позволю себе напомнить об этой замечательной переписке писателя с земляками и процитировать некоторые выдержки из нее.

В 1963 году в журнале «Нева» появилась повесть Ф. Абрамова «Вокруг да около», в которой он размышлял о проблемах села, о том, что мешает его движению вперед, высказался об устаревших методах руководства, которые и были тормозом.

11 июня 1963 года в «Правде Севера» появилась статья «К чему зовешь нас, земляк». Это был ответ на повесть писателя. Ответ совершенно для него неожиданный. Ведь Абрамов не называл в своей повести какого-то конкретного села, какого-то конкретного руководителя. Это был итог его многолетних наблюдений и размышлений, и относился он, конечно, не только к Верколе.

Авторы письма упрекали писателя в незнании истинного положения дел на селе, а главное, в неправильном подходе: «Собрав только отрицательные факты, отразив настроение некоторых отсталых колхозников, Вы нарисовали неприглядную картину. Не понимаем, зачем это Вам понадобилось и какую цель Вы преследовали. Ведь вольно или невольно напрашивается из Вашего повествования вывод, что колхоз топчется на месте и никаких перспектив, никакого выхода из такого положения не видно, Федор Александрович...

...Советуем Вам глубже самому вникнуть в экономику, а не делать выводы из слов отсталых людей, стяжателей...»

Подпись под этим письмом поставили коммунисты села — председатель, парторг и бригадиры.

Абрамов ничего не ответил тогда землякам. Мне кажется потому, что уж слишком гладко, слишком умело были составлены отговорки, слишком привычно мелькали бюрократические галочки: «шесть (!) престарелых колхозников получают пенсии», «каждый добросовестный колхозник имеет право (это уже в шестидесятых годах-то!) получить трудовой отпуск»... Ни одной живой интонации, ни одного пинежского — острого, яркого словца! Не принял это письмо Абрамов как письмо от земляков.

Написал Федор Александрович своим землякам, обращаясь уже *именно к ним* в 1979 году. Открытое письмо «Чем живем-кормимся» напечатали сначала в «Пинежской правде».

За это время в селе произошло много перемен. Отмечая их, писатель рассуждал о том, как произошли они, за счет чего жизнь так резко двинулась «по пути прогресса». И подводит новый, не очень радостный итог: «Эти перемены произошли не за счет надоев, не за счет привесов, урожаев, а за счет государства. За счет все возрастающих государственных дотаций, которые по совхозу достигают почти двух миллионов рублей...».

«Нельзя без боли смотреть,— говорилось далее в Открытом письме,— как по заливным лугам — знаменитым пинежским лугам — вдоль и поперек разъезжают трактора, начисто уничтожая травяную подушку лугов. Все больше выветривается любовь к земле, к делу, теряется уважение к себе. И не в этом ли причина прогулов, опозданий и пьянства, которое сегодня воистину стало национальным бедствием?

На одном из самых красивых мест русской земли стоит Веркола. Да и не только русской. Но ценят ли, берегут ли эту красоту веркольцы?»

Не увидел писатель у молодых веркольцев активного, заинтересованного, требовательного отношения к колхозным делам. И об этом с горечью написал односельчанам.

Ответ не замедлил себя ждать. Появился он тоже в «Пинежской правде» 25 сентября того же года. И выдержан теперь уже в уважительном тоне. Наверное, потому, что, во-первых, за эти двадцать лет авторитет писателя вырос, он был не просто известный писатель, а мировая знаменитость — она осторожного обращения требует, а во-вторых, основные обвинения Абрамова, вспомните, к кому обращены: только косвенно к руководству, а большей частью к землякам — колхозникам и колхозницам, к молодому поколению.

Авторы этого письма сообщали, что коммунисты совхоза обсудили и одобрили выступление Ф. Абрамова в газете, отметили, что он правильно и глубоко вскрыл недостатки в работе Веркольского отделения совхоза «Быстровский», исполкома сельского Совета народных депутатов, учреждений, партийных и других общественных организаций деревни...

Сообщалось в письме и о том, что «собрание обязало коммуниста Т. М. Яковлева *усилить* контроль за правильным использованием земли, совместно с руководством отделения совхоза в срок до 15 сентября текущего года навести порядок в приусадебном землепользовании. Т. М. Яковлеву предложено также обеспечить выполнение мероприятий по благоустройству Верколы...»

Подписали письмо секретарь парткома совхоза «Быстровский» В. Земцовский и инструктор райкома Л. Минин.

Вот ведь как! Когда писатель говорил об изменениях, которые необходимо произвести в руководстве, отвечали ему как бы его земляки. А когда он обратился непосредственно к ним, ответ дают почему-то секретарь парткома и инструктор райкома. А отчего же не общее собрание жителей села Веркола? Не знаю, как восприняли этот ответ другие читатели, но у меня сложилось впечатление, что коммунисту Т. М. Яковлеву (какую бы он должность ни занимал!) невозможно выполнить все, что от него потребовало партийное собрание: и правильное использование земли, и наведение порядка в приусадебном землепользовании, и обеспечение мероприятий по благоустройству села.

На той самой встрече, где обсуждали творчество Абрамова, Оля Галашева спра-

шивала у женщин: правильно ли писатель показал жизнь деревни 30—40-х годов? Так ли все было? Ведь они сами это пережили...

Начала Алевтина Федоровна, за ней выступила Анна Терентьевна, а затем, перебивая друг друга, женщины начали вспоминать, как им жилось:

— Всю-всю правду Абрамов написал.

Чуть не полвека прошло с тех пор, а у многих опять слезы на глаза навернулись — не верилось, что эдакий груз вытянули. Заговорили, и уже не могли остановиться. Словно краткий конспект проавучал — уже написанных и еще не созданных — повестей и рассказов о «безвестных, но великих в своих деяниях старых крестьянках». Рассказов разных, но в чем-то очень похожих.

— Всю мужицкую работу робили. Трудно было, не приведи господи еще раз такое пережить! И пахали, и сеяли, и зароды ставили, и конюхами, и на скотне... А самое трудное время — зимой. Нам говорили: «Стране нужен лес!». И мы шли и пилили. По грудь в снег проваливались, а высушиться негде. Мокрый идешь в барак, а утром опять влажное одеваешь — на себе досушиваешь. Забывали, как в сухом ходят. Иной раз думаешь: хоть бы заболеть — домой чтоб отпустили, дак ведь не болели тогда. Все болезни после набежали!

— А весной и осенью на окатку леса. Чтобы в Пинегу его выгнать. Мы долго тогда шли. И вдруг мороз ударил. Весь лес приморозил. Только после этого нам домой дозволили идти. А я колени обморозила. С нами Максим шел — хороший мужик,— он мне и говорит: «Ты ша́люшкой ноги окутай». У меня на голове шалюшка была — вся в дырах, худая, а все же! Он порвал ее и завязал мне колени.

Вся молодежь о ту пору в лес шла. Даже от малых детей женок в лес отправляли. Мужик на фронте погиб, а тебя в лес. На работы всевозможные гоняли — пощады нету. Никаких праздников не признавали. На ско́тнем коро́бились, а потом на сплав сразу иди. И постирать нековды. Пол даже вымыть не могли. Большой праздник — больше работы. Испекчи шанег, пирогов — времени нико́ль нету. У кого матерь, свекровь, старуха кака есть, в том доме еще испекут. А кто одни — вот беда!

Я от своего мужа все письма сохранила. Редко у кого все есть, а у меня до единого! Нас когда в лес отправляли, я их в анбар вынесла — пусть сохраняются. Одна — дак все со дна — почитаю, поплачу, да опять живешь. Не льдинка, не растаешь, надо жить.

А за Анной Ефимовной новый голос вступает — Ириньи Сергеевны.

— За кусок только робили. За пять копеек в год! Я кассиром работала, знаю... На займ полторы тысячи отдавали. Если какие деньги идут — радуешься, что налог уплатить можно, во как! В колхозе только авансом расчет дают, только в конце года узнаем: идё или не идё. Если иде — слава богу! — налог государству выплатим. А колько мы тогда платили: и подоходный, и сельхозналог — 360 рублей, и военный — 460, культсбор был еще — это мы уже при Сталине таки налоги платили. Ох, бедово дело! Робили, робили, и все на налог. Домой придешь, опять робишь, робишь. Еще и ночью у печки наробишься больше того.

— Я-ти хорошо помню колхозы наши первые. Тогда один у нас говорил: «Вот проживете до старости, и государство вам будет пенсию платить». Никто ему не верил: «Пойди, Ванюша, не плети, какая пензия!». А сейчас я 55 рублей 43 копейки получаю. Все изменилось к хорошему. Как мово мужа убили, думала, мне и года одной не прожить, так тяжело было. Которы позажиточне, те уезжать стали. А которы бедны, те оставались, куды им? Оценъ трудное переживеня. А теперь умирать не хочу!

— Мне два класса всего удалось закончить — обутки даже нету, ой беда! Варежки на ноги, и бегом! А потом меня в лес тоже отправили. Живу в лесу, заявление напишу: «Разрешите мне некорыстное сено для коровы насобирать». Овершки просила разрешения собрать — и того радела. Хорошего-то не дают. Теперича народ хорошо живет. Коров и тех никто не держит, однех собак кормим. Иной раз идешь — видишь в канаве пряник валяется... А я уж думала, что мне никогда не придется досыта белого хлеба поисть. Нет, теперь хорошо живет народ. Все на государственном. Раньше мы от своих рук жили.

— А все-таки мы тогда веселее жили, чем сейчас,— замечает Анна Ефимовна задорно.— Все вместях. Хоть и голодно, а идем и песни поем. Помните, кака певка была Варвара-ти?

Сколько бы мы ни читали об этом времени, сколько бы о нем ни было написано, все кажется мало, когда видишь и слышишь этих вовсе не могучих, «не тущных», а, как правило, махоньких, худеньких старушек, вроде «всесоюзной бабушки» Кривополеновой. Недаром в книге Абрамова «Братья и сестры» Лиза, сама пережившая трудные годы, замечает, что дети нового поколения «не могут поверить, что так можно было жить, мучиться. Да, по правде сказать, она и сама иной раз ловила себя на том, что все пережитое когда-то ими сегодня кажется ей каким-то бредом и небылью...»

Люди радуются тому, как хорошо теперь живется, что «пензия 55 рублей 43 копейки» и что белого хлеба можно «иссь вволю». Но мы-то должны понимать, что они заслуживают большего. Когда страна все свои силы бросила на борьбу с захватчиком, а потом думала только о том, как бы подняться из разрухи, мы еще находили какое-то, пусть и сомнительное, но оправдание всем людским горестям и невзгодам. А теперь этому нет и не может быть никаких оправданий.

— Почет мы им, конечно, оказываем,— говорит мне парторг совхоза «Быстровский» Николай Алексеевич Исаков.— Открытки посылаем по праздникам.

(Интересно, а когда разоряли наволоки, открытки посылали до или после этого?)

Последней на читательскую конференцию, чуть не к самому ее концу, добрела Нина Степановна.

— Самая ве́тошная! — шутили женщины в зале.

Наверно, она в самом деле вышла во вsток, а только к глубнику добралась до клуба. (На Пинежье ветер является своеобразным указателем времени. В шесть часов утра, когда начинаются крестьянские дела и заботы,— дует всток. Затем приходит обедник — время крестьянского обеда — девять часов утра. Шолонник задувал в три часа дня, а в девять вечера шелестел глубник.)

Нина Степановна запыхалась, устала и изнемогла, но тоже журчала[1] потихоньку, как ручеек. Привычно, без злости, без обиды, а как бы удивляясь.

— Дак пошто наволоки разорили, кто скажет? Я ж не против начальства. Оно тоже правильно делает. Но если ошибается, как же тогда? С народом надо согласовывать. А они вон как: кому что вздумается, тот туда и воротит!

Как оказалось потом, Нине Степановне дали новый участок за два километра от Верколы... Это ей-то! Чтобы к обеду и к ужину могла сбегать, пучок лука надергать или сенца для овцы накосить, как бывало раньше, когда ей только под угор стоило спуститься?

Критики пишут о том, что «все творчество Абрамова есть взволнованный земной поклон этой трудовой России».

Писатель, значит, кланяется, а правление совхоза, не задумываясь ни на секунду, отбирает «искони вечные участки». Ради чего? Говорят, ради «общего блага». А в чем оно заключается? А в том, чтобы «обеспечить объем работ механизаторам». А согласилось бы общее собрание Верколы на такое «благо»? Думаю, что нет...

Так отчего же, как, каким образом становится *такое* возможным? Не оттого ли, что пойменный луг в бумагах именуется «участком в 213 га» и на этих же бумагах существует такое понятие, как «объем работ»?!

А если бы вместо ничего не значащих слов мы бы писали: «На заливном лугу косит сено Анна Терентьевна. Она вдовствует с войны. Сейчас ей 80 лет». И не забыли бы при этом указать, что она сделала в свое время для «общего блага»... Может быть, тогда дрогнула бы рука тех, кто подписывал «проект» разорения наволока. И подумали бы они не про «объем работ для механизаторов», а о том, что эти самые механизаторы сами в состоянии найти, чего им робить, если они будут иметь возможность выступить в роли хозяев, а не наемных работников. А пока «забота» об «объемах работ» оборачивается вот чем...

От перевоза через Пинегу мы шли к Верколе с молодым парнем. Судя по его рукам — в бензине, масле, мазуте — одним из тех механизаторов, для которых задумывались преобразования.

Дорога шла мимо бывшего наволока. Вправо и влево от дороги тянулись длинные грядки с бледными ростками. Они казались особенно чахлыми по сравнению с той травой, что росла на нетронутом угоре — пышной, зеленой, сочной. И я спросила парня: как на его взгляд — не зря ли распахали наволок?

— А хто его зна?! — смущенно ответил он. Огляделся, помолчал и добавил: — Раньше, вроде, красивее было. Кусты стояли, а в кустах птичек бог знае скоко!

Дело, конечно, не в птичках. И не в красоте. Хотя почему бы и нет? И птички вроде бы никогда не вредили здесь правильному ведению хозяйства.

Дело в том, что молодой человек на вопрос о том, что касается его родного села, отвечает: «хто его зна!»

Вот оно, то самое равнодушие и несознательность, в которых упрекал молодых веркольцев писатель! Но откуда оно взялось — равнодушие у этого парня?

— Пошто общее собрание не собрали, у людей не спросили? — допытывалась Анна Ефимовна.— Я уж не помню, ковды у нас такие собрания проводили. А если и проводят, дак у них все на гумажке заранее написано!

Не было общего собрания, не спросили ни у кого, стоит ли вообще браться за ближний наволок, уничтожая тем самым памятные места, связанные с именем писателя, или же, пусть с чуть большими затратами, но значительно меньшими потерями, провести такие же работы на Никополе или в Хорсе. А можно было бы обсудить заодно вопрос о том, не хватит ли гнаться за количеством гектаров пашен и угодий и научиться, как это делали настоящие хозяева земли, канаву копать в полметра — и слой земли не повредить, и землю осушить?! Нет, не провели такого

[1] Журчать — браниться.

собрания. И парень, пусть и не отдавая себе в этом отчета, понимает: если у него не спросили, так и с него не спросят!

Еще двадцать лет назад в повести «Вокруг да около» Абрамов критиковал волюнтаристские методы руководства... Но именно эти методы — давно устаревшие, «старопрежны» — и по сей день формируют общественное мнение людей Верколы. Мнение далеко не лестное о местных руководителях.

— Партейные у нас любят врать. План, докладывают, по заготовке сена и силоса выполнен... Антиресный у них план. План есть, а коровам исть нечего. В Шотове занимаем, в соседнем отделении.

А другая женщина сказала еще ревче и короче:

— Партейные-то у нас самолю́бши! Порато самолю-ю-юбши!

А разве не самолюбши? На одного коммуниста возлагается задача, которую только всем миром можно решить: и порядок в приусадебных участках, и правильное землепользование, и благоустройство села. А другому, наверно, из числа этих же двенадцати коммунистов поручено распределение *всей* техники. А это что значит? Это значит, что от него зависит: будет ли парень в селе работать или уйдет.

— Получит технику — останется, нет — уйдет. А у нас в Верколе в иной семье по две машины да еще и трактор, а в другой, если не сумеет угодить,— и вовсе ничего. Так неправильно, несправедливо получается...

И не только в Верколе «несправедливо получается». В другом селе я слышала, как выражали недовольство женщины, а мужики жаловались на водителя автобуса.

— А почему же его не снимут за грубость? — спросила я.

— Дак его начальство любит. Он-ти знает, где лизнуть, где плюнуть.

Вот и получается, что, угождая начальству, больше возможностей расцвести не Михаилу Пряслину, а своеобразному Егорше, которого заклеймил писатель много лет назад. Но вот беда: сцена из романа по-прежнему «читается» и сегодня:

«— Михаил сам знаешь какой у нас. Как топор, прямой. Вот у них (с управляющим) и война.

— И давно?

— Война-то? Да еще в колхозе цапались. Бывало, ни одно собрание не проходит, чтобы они на горло друг дружке не наступали. Ну, раньше хоть народ голос за Михаила подаст...

— А теперь?

— А теперь совхоз у нас. Кончились собрания. Вся власть у Таборского...»

Предположим, что нынешний управляющий оказался намного лучше Таборского, выше мелочных обид и притязаний и действительно думает о благе народа. Есть ли у него возможность противодействовать таким мероприятиям, которые ему «преподают в районе», как разорение наволока?

Колхозники покачали головами:

— Председатель колхоза, тот да. Тот может защититься общим собранием колхозников, так сказать, прикрыться. А у директора совхоза или управляющего, у них что? Одне приказы сверху сыплются...

Получается, что ни правление совхоза не может сослаться на общее собрание, ни общее собрание не может ничего требовать от правления?! На заводе, выходит, рабочие имеют право выбирать себе директора, им доверяют такое важное решение, а в совхозе ничего нельзя поделать с хамом-водителем?

Тимофей Степанович, рассуждая о колхозных делах, заметил:

— Агропром сейчас разросся, распух от бездельников. А если бы совхозам дали настоящую самостоятельность, то достаточно было бы пяти человек при райисполкоме для координации. А у нас сколько? Человек тридцать, наверно? Это только в нашем районе. А по всей области — около четырехсот буде? Гумажки с места на место перекладывают. А в совхозах, говорят, не хватает специалистов. Не могут кадрами среднее звено укрепить. А как его укрепишь, если в сельхозтехнике специалист получает 120 рублей, а такой же специалист в Агропроме — 250! Куда же мужик пойдет? Конечно, в Агропром. Ему же семью кормить надо. И сидят они на шее хозяйств. Если посчитать, каку зарплату получают! Ужасти! С этой бы зарплатой да отдали их совхозам.

Ни в Агропроме, ни в правлении совхоза серьезных возражений на это я не услышала:

— Все верно. Специалисты нужнее в селе, на месте...

А может ли местное руководство, имея такое «общее мнение», принять решение и перебросить здесь, в этом районе, в этой области, нужные кадры на те участки, где в них нуждаются? Вот пример, по которому можно судить, насколько оно вправе принять такое решение.

В Верколу приехали самодеятельные артисты из Архангельска. Повели их на ферму посмотреть хозяйство. А там у каждой доярки по 20—25 коров. Одна из артисток побоялась пройти мимо — испугалась рогов. Корову отогнали, гостья прошла. А корова неспешно вернулась, потеснила других животных, которые уже заступили на свободное пространство, и встала в очередь на дойку именно за той, за которой давно «занимала».

Доярки, услышав удивленные возгласы артистов, засмеялись:

— Они у нас порядок знают. Вот бы с кого нашим мужикам пример брать.

Доярки имели в виду толкотню и давку у ларька за «вином». (На Пинеге вином называют все алкогольные напитки.)

— А то ведь наши мужики чуть ларек под угор не спихнули,— покачала головой одна из доярок.

В этот день очередь за вином была наэлектризована слухами о том, что «на время сенокоса вообще привозить не станут», «с петрова дня сухой закон наступит». Эти разговоры вызывали «беспокойство» не только у мужиков. Стояли в очереди и старушки. Одной «уже давно надо было „вина“ купить — суставы от ревматизма растирать», вторая ждала гостей из Ваймуши, которые должны были «как раз на петров день прийти», а третья хотела расплатиться за отремонтированный погреб: «Вот беда-то, деньгами не берет, яму чекушечку только поставь, иначе — сиди без погреба».

Продавщицы, чтобы мужики не теснили, не толкали старушек, открыли для них окно с другой стороны ларька.

Но, увидев, что и без того негустой запас бутылок тает, часть мужиков, что стояли в самом конце очереди и явно не надеялись на удачу, кинулись ко второму окну, оттирая и сминая старушек. Продавщицы начали продавать им со стороны входа. И опять повторилось то же самое. Старушки сердились, грозили мужикам сухонькими кулачками, а те огрызались: «Ну, ведьмы! Чисто ведьмы. Вам-то зачем?»

Продавщицы хотели сделать как лучше, а получилось еще хуже: только увеличили суету и толкотню.

Об этой сцене у ларька долго говорили в Верколе: посмеивались, удивлялись, качали головами, шутили друг над другом: «Во до чего дошли!» А потом и продавцы, и покупатели, и мужики, и женщины, и старики, и старухи непременно добавляли:

— Ковды у нас талоны выдавали, такого не было́. Приходи без очереди, бери свое, когда удобно — хочешь в начале месяца, хочешь в конце. Всем хорошо, никто не боялся, что ему не достанется. И зачем только талоны отменили, не знам... Право слово, с ними пили меньше-ти! Нам уж и дико казалось, ковды от кого-нить пахло. И работать лучше стали. А теперь — с утра бегут к ларьку, чтобы очередь занять. Так до пяти и стоят. Срам один.

Так кто же талоны отменил? Районное начальство? Нет, не оно. В районе мне ответили:

— Мы держались, сколько могли, за талонную систему. А что сделаешь?! Нас через прессу стали обвинять, что мы народ спаиваем. И пришлось отменить. А ведь действительно проводили общие собрания, спрашивали людей, как и что. Обещали им: как решите, так и сделаем. На наш взгляд, сейчас безобразий больше стало. Многие только и думают, как бы не упустить свое, когда вино привозят, целыми днями простаивают в очереди.

Думаю, что отмена талонов — результат еще одного «самолюбшего» решения. Пить стали больше, рабочий день в очереди пропадает. Да еще унизительные сцены у ларька. Унизительные для чувства собственного достоинства любого человека, даже если речь идет о покупке такого недостойного предмета, как «вино».

Когда Анфиса в романе «Братья и сестры» стала укорять Петра Житова, совестить его, зачем ты, мол, Петя, все пьешь, он ответил: «А затем, чтобы человеком себя чувствовать. Я когда выпью, ужасно смелый делаюсь. Никого не боюсь».

Отчего у человека появляется желание «ужасно смелым сделаться»? Да, наверно, потому что у него нет иначе возможности проявить себя, выразить свои чувства. *По общему* решению собрания установили талонную систему, а затем *по чьему-то* приказу сверху отменили ее. И чтобы «почувствовать себя человеком», надо *вопреки* всему выпить: пусть и целый день в очереди провести, пусть и толкаться, а выпить. Ущемленное чувство собственного достоинства рождает недовольство, которое может принять любой слух, даже такой, что «в банке денег не хватает, чтобы зарплату выдавать, вот и отменили талоны».

— Правда и труд вместя́х живут,— неожиданно завершает свой монолог о наволоках Алевтина Федоровна.

Но так ли уж неожиданно? Ведь и в самом деле — какой труд без правды. Нет ее, и это место занимают всевозможные слухи, домыслы и досужие догадки. И человек ощущает себя обманутым, ущемленным, «не при деле». Можно ли ждать от него «сознательности, активности, чувства ответственности»? Нет, без правды, без полного отчета перед «общим собранием народа» мы не можем, мы не имеем права требовать этого.

Ловлю себя на мысли, что кто-нибудь из Карпогор, из совхоза «Быстровский» или из Верколы может и меня упрекнуть: «За правду радеете? А имена-то женщин в очерке изменили. Почему не оставили как есть?»

Я бы, конечно, могла назвать всех, тем более, мне эта храбрость ничего не стоит. Не сделала я этого вот почему.

Все на том же памятном обсуждении творчества Абрамова Оля Галашева задавала женщинам еще один, «каверзный» вопрос: «Вы помните случай, где писатель рассказывает, как женщины, всю жизнь проработавшие в колхозе, отказа-

лись подписать письмо с просьбой увеличить им пенсию?».

— Правильно описал Абрамов. Это все политика, куды нам, женщинам,— откликнулись сидящие в клубе.

— Боялись тогда! — объяснила Алевтина Федоровна.— Тогда за слово — погибнешь. Мы отца не пускали в подвоз — матюкнись, что не так, и получишь срок. У нас вон Верка из-за трех колосков сидела!..

— А сейчас подписали бы письмо? — допытывалась Оля.

Бойкая соседка Анны Ефимовны вдруг решилась:

— А пошто нет? Сейчас подписались бы.

— Подписались бы,— нестройно прозвучали отдельные голоса.

А когда стали расходиться, Анна Ефимовна вернулась к этой теме. Полушутливо, полусерьезно она попросила Олю Галашеву:

— Ты только, девка, не пиши этого, не печатай. Никому не давай слушать.

Сначала мне показалось, что и в самом деле — из страха не хотят женщины, чтобы я называла их имена и фамилии, «по старой памяти», и чтобы отношения с «начальством» не портить: мало ли как поймут и истолкуют их слова.

Так бы и осталась с этим убеждением, если бы вновь не взялась перелистывать роман «Братья и сестры».

Открывает книгу, как вы, наверно, помните, задает ей тон — поэтическое вступление, в котором Абрамов рассказывает, как он случайно вышел из лесу к той самой избушке, где обычно ночевали те, кто приезжал косить сено на эти луга. Он стал рассматривать плахи стола, за которым и сам обедал когда-то вместе с другими, и вдруг обнаружил множество «знаков», вырезанных теми, кто в разные годы побывал в избушке. «Но где главные страницы, потом и слезами омывшие здешние сенокосы? Ни одной женской надписи не нашел я на столе... И мне захотелось хоть одну страничку приоткрыть в этой деревянной летописи Пекашина».

Ни одной женской подписи не осталось на плахах стола, испещренного знаками. И не из страха, не из боязни — уж там-то им ничто не грозило: ни строгий приговор военного времени, ни мелкие выпады обидчивого управляющего. Просто не свойственно это им — «безвестным труженицам». То самое, «передаваемое из поколения в поколение женское начало, в котором слабость значит не меньше силы», заставляет их отступиться, когда надо писать, требовать, доказывать свою правоту. «Это все политика, куды нам. Пусть ею занимаются, кому положено».

А «кому положено», о чем они думают? Когда-то более всего пеклись о хлебе — о нем в первую очередь, или о лесе. Теперь — «о мясе, масле и молоке». И по-прежнему не о людях главная забота.

Неуважение к человеческой личности, как ржавчина, разъедает любое начинание: и мелиоративные работы, и наведение порядка в приусадебных участках, и благоустройство села. Любое, самое хорошее дело, оно, словно в старинной сказке архангельского писателя Писахова, корежит, искажает, превращая его в пародию.

Это относится, к сожалению, и к не утвержденным пока решениям, «как увековечить память писателя-земляка». Все остается на уровне предложений, среди которых есть и самые невозможные. А вдруг? Вдруг победит по чьему-то самолюбивому желанию самое неподходящее?

Говорят, есть проект, по которому до Верколы «шошшейну дорогу, как урлон, развернут». Чтоб она не через совхоз шла — тут и лужи, и грязь, и благоустройства по-прежнему никакого,— а чтоб из лесу прямиком к дому Абрамова выскакивала.

Подвезут по такой гладенькой дорожке какого-нибудь знатного гостя — своего или заморского — посадят посередь двора на знаменитый пенечек, который Абрамову специально привезли, включат «маникюрный нитофончик», чтобы гость послушал, как «баушки старопрежны песни поют».

А вокруг дома — огоро́да высокая, чтобы ни соседних домов, ни совхозных дел не видать: ни тощих коров, ни стаи сытых собак, ни поломанных колодезных срубов.

А еще лучше бы, как в Холмогорах — на родине Ломоносова — все в бетон укатать! Вместо наволока — набережная. Прямо Ленинград. И ничего от прежнего на родине Абрамова не останется. Даже название — столь любимое им — переменят. Вместо Верколы станет совхоз имени Абрамова. Во кака честь писателю! Тем и память о нем увековечим.

Ну это, я надеюсь, не взаболь.

А если по-настоящему, всерьез и надолго, то земляки Абрамова должны помнить о том, что «переписка» их с писателем не окончилась. Она продолжается. И «хотят они этого или не хотят» — дела их теперь *всегда* будут соизмеряться с памятью о Федоре Александровиче.

И точно так же, как когда-то он, силой своего большого чувства, силой своей любви «вывел героев маленького села Пекашина далеко за его околицу»,— точно так же сейчас, когда нет самого Абрамова, его дом в Верколе, наволоки, которые он так любил, заботы его села, которые он так близко принимал к сердцу,— стали и нашей общей болью.



Валерий ПРОХВАТИЛОВ

РЕПЛИКА ИЗ ЗАДНЕГО РЯДА

Завершая год календарный, всем нам — пишущим и читающим — хочется, как правило, подвести хоть некоторые итоги и года литературного. В этой статье я остановлюсь главным образом на одной проблеме, не единожды затронутой прессой,— проблеме поколений. Единство, преемственность, сменяемость поколений — и руководимых, и руководителей,— сами эти понятия достаточно жизненны. Метафорическое выражение: «все мы плывем в одной лодке» очень точно определяет сегодняшнюю ситуацию, сложившуюся не только в творческих союзах. Единственное, в чем хотелось бы наконец-то разобраться,— кто и с каким грузом сел в эту самую лодку, да в какую сторону он гребет.

Чтобы сделать эту мысль яснее, нагляднее, я вынужден вернуться к одной из давних уже публикаций «Огонька» (№ 2 за 1988 год) — к тому до определенной степени новому взгляду на проблему смены поколений в литературе, который выражен в полемических заметках Н. Ильиной «Здравствуй, племя младое, незнакомое».

Надеюсь, читатели помнят, какой яростной критике были подвергнуты эти заметки в печати. Притом большинство оппонентов старалось представить дело так, будто Наталья Ильина «бьет» молодых. Очень скоро полемика вообще была сведена на нет. Между тем в связи с публикацией статьи Н. Ильиной возникает целый ряд соображений, требующих продолжения разговора.

Начну с притчи. На восточном базаре сидел мудрец и мирно дремал. Его ноги были в язвах, а на язвах сидели жирные мухи. Сердобольный юноша, проходивший мимо, прогнал мух. «Что ж ты наделал! — воскликнул старец.— Эти были, по крайней мере, хоть сыты. А сейчас ведь новые налетят!»

Неплохая, по-моему, иллюстрация к главному выводу Н. Ильиной, завершающей свои заметки так: «по-видимому, слова „проблема молодых начинается с отношения к нам!“ означают: подвиньтесь-ка вы, старшие! Поделитесь с нами властью. Пора: ведь вы ею уже попользовались, дайте и нам...»

Формула эта звучит, как видим, довольно жестоко, но, однако, нынешнее соотношение сил в литературе она отражает верно. С маленькой оговоркой: верно не по отношению ко всем молодым, а только к некоторой их части, которую я и попытаюсь выделить дальше.

Но сначала — о поколении, к которому принадлежу сам.

Как ни горько сознавать, наша жизнь прошла меж двумя всплесками демократии: в пятьдесят шестом нам было 17—20, в восемьдесят шестом — 47—50. Мы никогда не занимали литературных постов, не имели никаких льгот, никогда никому не кланялись; мы — те самые фрондеры, кто входил в литературу или только-только начинал писать в период первой оттепели, о которой нынешние, «у самовара», по свидетельству Н. Ильиной, говорят как о «периоде всеобщего попустительства». Очевидно, эта позиция части молодых литераторов («условно молодых», как они сами себя называют) нуждается в уточнении. Мне придется напомнить их лозунги, со стенографической точностью воспроизведенные Н. Ильиной: «...пережили в истории советской два трудных периода. Это когда издавали пустые книги славословия... и с другой стороны, когда мы в 60-е годы пустили вот эту ползучую гидру фрондерства на литературный фронт...».

Недостаточно? В таком случае цитирую дальше: «...в период всеобщего попустительства был нанесен серьезный урон основополагающим нравственным ценностям советского народа».

Это — о вчерашнем. А вот уже — о дне нынешнем: «...некоторые редакторы, пользуясь Гласностью, начали усиленно гоняться за сенсациями...» (не называя имен, замечу, что речь здесь идет о возвращении народу десятилетиями скрываемых ценностей).

Или — с полной уже откровенностью: «скажем, разоблачение лысенковщины нужно, но национальной культуры этим не обогатишь».

Формулировки, нельзя не заметить, накатанные. И вывод здесь возможен только один: тем, кто взял их на вооружение, очевидно, и дальше (уже после апреля) хотелось бы жить равномерно и застойно, как живут в литературе лишь обыватели.

Продолжая мысль о моем поколении, подчеркиваю: мы себя к ним (к обывателям, то есть) не относили ни раньше, ни даже по прошествии многих лет застоя, ибо дети 56-го года не таковы. Мы в большинстве своем скептичны, самостоятельны и нелицеприятны в суждениях, в меру оппозиционны к властям (по сравнению, скажем, с теми, кто шел до нас). Во всяком случае, никогда не поем с чужого голоса. Это, кстати, суть, а не поза,— так уж нами время распорядилось. Да, удел наш был — фронда, скепсис, едкая реплика из заднего ряда, анекдот о Брежневе, бьющий в самое яблочко, самоирония. Тоже правильно нас поймите: как бы ни ставился мир с ног на голову и обратно, а жизнь одна. И поскольку все же не в лесу мы живем, а в границах весьма конкретных по времени и режиму, так позвольте мне теперь на память и такую зарубку сделать: каждый новый звук в природе может стать началом симфонии, а может незаметно и в землю мертвым уйти. Если так поглядеть, то тогда уж вовсе не странным будет, что судьба каждого нового поколения определялась в нашем веке тем, сколько кому лет было в семнадцатом, тридцать седьмом, пятьдесят шестом, шестьдесят четвертом и восемьдесят пятом.

После сорока человек интенсивно отдает обществу накопленное. Не случайно удар Сталина в тридцать седьмом (на пике репрессий) пришелся, по данным исследований А. И. Тодорского, в основном на сорокалетних: вспомним, что Вавилову и Тухачевскому, Бабелю и Табидзе было в то время немногим более сорока. То есть истреблялся в первую очередь цвет общества, во всех национальных и географических регионах, во всех важнейших жизненных областях.

Применительно к литературе — всякое время вообще делит своих певцов, как показывает опыт десятилетий, на угодных и неугодных. В этом плане, если говорить о дне сегодняшнем, мы долго еще будем пожинать не только плоды сталинщины, но и горькие плоды застоя. Ведь за время застоя успело вырасти поколение. Ну, а дети 56-го года — это А. Битов и Г. Горбовский, В. Высоцкий и В. Соснора, В. Попов и А. Житинский, В. Максимов и А. Кушнер... Некоторым путь в литературу был прегражден после первых же публикаций (Игорь Долиняк, Олег Осипов). Можно и еще имена добавить, но их, *неугодных*, кстати, не так уж и много. Все они входили (до сих пор входят!) в литературу не *благодаря чему-то, а вопреки.*

Коротко о себе.

Первый сборник стихотворений «Возвращение в легенду» я принес в издательство «Советский писатель» в 1968 году. Это была дипломная работа Литинститута, поддержанная руководителем семинара И. Сельвинским, оппонентами С. Наровчатовым, Л. Озеровым, Ал. Михайловым. Все порывы 56-го года, как мы помним, были в то время благополучно сведены уже на нет. И вот восемь лет ходил я в издательство, где на меня смотрели как на досадную помеху: как — ты еще не уехал? Ты еще живой? Еще не спился?..

И представьте — я ничуть не утрирую. В 76-м, наконец, книга вышла. (Кстати, следующая, представленная в Лениздат в 1977-м, вышла в 1985-м.) Таков был путь тогдашнего «молодого»: в 29 лет книгу сдал, в 37 она вышла, в 42 я принят (по той же книге) в члены СП. Многие и это считают удачей!

Надо ли говорить, что восьмилетний процесс «прохождения» рукописи сводился к тому, чтобы ее выхолостить, чтобы в ней как можно меньше осталось того, о чем Илья Сельвинский писал как о самобытности, оригинальности...

Да что! Все мы столько лет просидели в своем «заднем» ряду, столько хлебнули горечи, что наше поколение уже не сбить с толку ни хвалою, ни хулой. Это просто к разговору о крыльях, которые власть предержащие поднаторели ломать нам в младенчестве. Кто заинтересуется — прошу: главная моя книга (рукопись, вернее) «Почта по кругу» — до сих пор покоится у меня в столе. В ней — и время, и душевное состояние человека тех лет, которое не подделаешь, не приукрасишь и в иной жизни не повторишь.

В годы оттепели, как помним, бушевала поэзия. Возвращались понемногу — неполно, выборочно, с купюрами — тексты репрессированных, но лидировали в то время старшие, живущие наши современники: Евтушенко, Вознесенский и — позже чуть — Окуджава. Как ни кощунственно это прозвучит, но, по всей логике развития литературного процесса, они все трое тоже неминуемо должны были погибнуть (да-да, физически!), как погибли Высоцкий, Вампилов, Шукшин, Казаков, Рубцов... Ибо таков был их надрыв и такова доля ответственности перед обществом.

Три пути было у поколения, лишенного гласности и трибуны: либо за кордон, либо в пьянство, либо в могилу. Уезжали за границу (многие не по доброй воле, заметьте!) И. Бродский, Д. Бобышев, К. Кузьминский, В. Некрасов, В. Аксенов и прочие, прочие... И давайте будем честными до конца: разве только один А. Солженицын «виноват» в том, что судьба его сложилась так, как сложилась? Просто (многие издатели старшего поколения вспомнят) пришел в свое время во все издательства соответствующий циркуляр, а в нем — черным по белому: «лагерная» тема закрыта, партия все сказала на XX и XXII съездах, больше рукописей не брать... А куда же ему-то было деваться, писателю? Выдвинутому, кстати, немногим ранее аж на Ленинскую премию? Ведь для него-то это была не тема, а жизнь! И сегодняшние позиции Солженицына, зачастую квалифицируемые нашей прессой как монархические,— не есть ли они следствие не только озлобления, но и полной растерянности таланта — перед лицом социальной несправедливости?.. Почему бы нам не пойти сейчас на диалог с А. Солженицыным? Ведь запретных тем теперь нет. Не сумеем или не захотим?.. Думаю, что не захотим, ибо это недавняя боль. О Набокове и Замятине говорить уже можно, а о Солженицыне — нет. Будем ждать его смерти. А потом еще тридцать лет и три года... А ведь согласитесь, что для нынешнего поколения молодых (вообще молодых, а не только для литераторов) полезно было бы опубликовать повесть «Один день Ивана Денисовича», что позволило бы, кстати, выбить еще один козырь у западной пропаганды. Речь ведь фактически идет *о переиздании* повести — с современным, пусть критическим, но *человеческим* предисловием, в котором рассказывалось бы о том, как *не надо* руководить литературным процессом.

Это — об ощущении времени — с точки зрения бывших «неугодных», если хотите, то есть того поколения, у которого открывается сегодня второе дыхание.

Кроме перечисленных трех путей, был у поколения путь четвертый — у самой честной, у самой совестливой части его — это работа, работа и еще раз работа. В основном, разумеется,— «в стол». Без надежды на публикацию, но зато и без уступок внутреннему редактору. Истинная работа, дающая радость, реализующая потребность сопротивления.

(Приведу тут — в скобочках — крохотный фрагмент одного разговора. В декабре 1986 года в Ленинградском Доме писателя Андрей Битов подписывал для меня свою книгу «Статьи из романа». Статьи из романа уже были, а самого романа не было. «Пушкинский дом» еще не печатался. И тут вот в разговор встрял — в буквальном смысле этого слова — один литератор, из «шустрых», из тех, кто умеет «ловить момент». «Андрей Георгиевич, не правда ли — замечательное пришло время? Самое сейчас — писать и писать!..» Литератор был явно в состоянии перестроечной эйфории. Битов посмотрел на него с усмешкой. «Нет,— сказал он довольно сурово.— Сейчас самое время печатать. А писать надо было раньше...»)

Но был и пятый путь — это обслуживание застоя: много ведь было в поколении и «угодных». Их расчетливые, цинично-оптимистические творения (да простят меня критики за такой термин) расходились по стране огромными тиражами. Их рифмованные сообщения на какую-либо из многих заданных тем заполняли журналы. Это они виноваты в том, что у читателей пропал интерес к поэзии (если быть объективным, то не только к поэзии, но отчасти вообще к современной литературе, о чем совершенно справедливо и очень подробно говорилось за недавним «круглым столом» «Невы», в № 9 за этот год). В самом деле, к примеру, за годы, определяемые теперь как период застоя, т. е. за двадцатилетие — с 1965 по 1985 год, некоторые из поэтов сумели выпустить по 22, 25 и 28 поэтических сборников. За два десятилетия, повторяю!

...В самый трудный для меня период, в один из дней 1967 года, когда кафедра творчества Литинститута во главе с ее руководителем С. Вашенцевым с профессиональной холодностью «дробила» мою дипломную работу, Илья Львович Сельвинский прислал мне письмо, в котором были слова поддержки. Мы вообще переписывались с завидным сегодня тщанием, с дома на дом, обходя, как правило, кафедру творчества, откуда в то время начали раздаваться в основном уже одергивающие окрики. В письме Сельвинский предупреждал, чтобы я не отчаивался, что грядут еще более тяжкие для литератора времена, ободрял: «в наши дни нужна хорошо поставленная оборона сердца...». Разговор шел не только о дипломе — о времени вообще, и заканчивался стихами: «разрешите, и отвечу Вам как поэт поэту...». Далее шли стихи, доныне не включенные ни в одно издание И. Сельвинского:

Те, кому сейчас пятнадцать лет,
не видали сталинских портретов,
не дышали затхлостью запретов,
не шагали за вождем след в след.

Эти люди вырастут на воле,
внуки благодарные мои.
Ваши деды, зубы сжав до боли,
навек уходили из семьи.

Ну, а те, кто дома были-жили,—
сколько муки вытерпеть пришлось...
Как из них вытягивали жилы,
дергали за душу вкривь и вкось!

Но, хотя объяла мир суровость
под эгидой грозного вождя,
дедушки работали на совесть,
здание Коммуны возводя.

Труд великий, труд без прекословья,
вдохновенный труд — в жару, в зиме,
потому что всей своею кровью
верили мы в правду на земле.

С этой верой все преодолимо.
И когда, от кривды заслонясь,

в будущее всмотритесь из дыма,
вы в грядущем различите нас.

Это вы запомните, ввучата,
гордо призывая вас на суд:
если задохнетесь вы от чада,
деды из могилы вас спасут!

Так вот мэтр в те годы поддерживал безымянного своего собрата...

Не правда ли, как странно сбываются порой пророчества! Именно деды — сквозь дым застоя — прорвались сегодня к читателю и спасают, истинно спасают — и нас, и литературу — не запятнанными ничем биографиями своими и своими наконец-то явленными миру произведениями...

А что ж — внуки?..

Вот теперь-то — подробней о тех, кто нынче «у самовара», столь любезно поставленного В. Карповым,— о молодых (об «условно молодых», как подчеркивает в своей статье Н. Ильина).

Социологи выделили из всей массы населения страны ряд полей — по одному признаку средь прочих равных — по возрастному. Самое «активное» сейчас поле — это люди рождения 1928—1944 гг., то есть те, кто и является опорой и энергоносителями перестройки (более старшие — это уже несколько иной ряд, те, кто на пенсии). Формирование их общественного сознания, их мировоззрения проходило как раз под флагом XX и XXII съездов — им в ту оттепель было от двенадцати до двадцати восьми лет. Человек, сложившийся как личность в условиях того первого возрождения демократии, с меньшей травмой перенес и регресс застоя,— он по сути своей не мог сделаться его «певцом»: это как раз и была та самая армия несогласных, здоровых скептиков, которая, в принципе, и готовила перестройку. Именно на них, так сказать, «работало время». Если бы они к 1985 году не были в большинстве, перестройка бы не сдвинулась с места.

Вполне естественно, что распределение возрастных полей — не догма, и социологи учитывают возможные естественные отклонения внутри возрастных групп, возникающие под действием социальных условий и ближайшего окружения (семья, круг друзей, товарищи по работе), но в целом эти распределения отражают истинную картину.

А вот дальше (внимание!) идет достаточно малое поле: в нем те, кто родился в 1945—1950 годы. Их выход в жизнь и начало самостоятельной трудовой деятельности приходятся уже на период с 1965 года и далее. (Вслед за ними, кстати, идут уже дети детей 56-го года! — сила, безусловно, активная.)

То есть вот они-то в массе своей и есть истинные дети застоя — те, кому к апрелю 1985 года было по тридцать пять — тридцать девять лет. Воздуха 1956 года они вдохнуть не успели. Вся их прошлая жизнь прошла под знаком нарастающих отрицательных тенденций: лизоблюдства и коррупции, приписок и парадного пустозвонства, интенсивного партийно-бюрократического диктата и присвоения отобранных у народа прав. А в литературе — того самого расчетливо-циничного оптимизма. (Кстати говоря, к 1985 году их собственным детям — обратите внимание — исполнилось от четырнадцати до семнадцати лет; здесь и получаем то поле, которое дало всплеск в развитии наркомании, проституции и всех прочих «прелестей», сопутствующих застою. Как не вспомнить тут «давнего» Вознесенского: «мы — продукты атомных распадов, за отцов продувшихся — расплата!..»)

Мы, родившиеся, к примеру, в 39-м («по указу от тридцать восьмого»,— как с горькой иронией пел Высоцкий), с детской непосредственностью считали (очень долго — до самого Дня Победы!), что война — вполне естественное, обычное состояние человечества: ведь мы до поры, по факту рождения, еще и не знали, какими они бывают, мирные времена... Так и дети застоя жили,— одни более, другие менее убежденно считая, что та двуликая обстановка, которая сложилась в стране, вполне естественная и единственно возможная.

Так чего же мы сегодня хотим от них? Литературных откровений? Одобрения оттепели 56-го года? Или безоговорочного одобрения сегодняшней перестройки?.. Нет, они ведь (внутренне, с собою наедине) тоже — сталинисты, убежденно доказывающие сегодня, что «это Никита зря измазал грязью отца народов». То есть в большинстве своем — преемники традиций и принципов сталинщины. Именно они составляют сегодня до конца еще не высказавшийся отряд, во всех сферах жизни противящийся прогрессивным преобразованиям. За два, за три года такие люди не перестроятся. Именно о них пыталась говорить Н. Ильина в многострадальных своих заметках. Их средние литературные способности, которые «генералы», принимающие их в члены СП, сочли в свое время за талант, ныне растрачиваются в административных боях. Эта девальвация блестяще подтверждена в статье Н. Ильиной — на примере выборочного анализа двух текстов С. Лыкошина и Б. Маслова. Многочисленные тому примеры приводит и Т. Иванова — в регулярных обзорах журнальной жизни, публикуемых в «Огоньке».

Я отнюдь не отнимаю у этой группы литераторов права на литературное бессмертие: сейчас возможности у всех равны. Ежели после своих бодрячески-конъюнктурных опусов они создадут вдруг нечто подлинно талантливое, истинное — ради бога, им откроет двери любой журнал. Надо только помнить при этом, насколько возросли за последние годы в ведущих журналах страны требования к художественному уровню. Так что — дерзайте! Но пока что практика показывает, что наиболее одаренные из этого поколения находятся за пределами Союза писателей, а не среди его членов. Только по Ленинграду я мог бы назвать с десяток имен (среди них есть, кстати, не просто одаренные, но по-настоящему уже сложившиеся мастера — такие, как В. Кривулин, Е. Шварц, Г. Григорьев, И. Моисеева... Их годами далее коллективных сборников или тонюсеньких трехтысячных кассет не допускают; соответственно в приемную комиссию СП им просто нечего представить).

А пока талантливые молодые топчутся в прихожей литературы, небольшой, но крепкий и сплоченный отряд тех самых, «у самовара», ожесточенно продолжает работать локтями более, чем пером, имея дальний прицел именно на захват в ближайшем будущем ключевых литературных постов. Взгляд их холоден, поступки расчетливы и циничны. Ибо «дети застоя» ведают, что творят — в отличие, скажем, от большинства конъюнктурщиков сталинского периода, которые воспевали свою эпоху хоть и скверно, но искренне.

В полемических заметках «Здравствуй, племя младое, незнакомое» разговор о некоторых «отцах» идет не менее острый, чем о детях застоя. Н. Ильина приводит убедительные примеры, когда критика льстит их амбициям, потакает мелочному тщеславию. Имя Ю. Бондарева, например, с необычайной серьезностью поднимается одним из досужих критиков — прямо на глазах изумленного читателя! — все выше и выше, пока оно не попадает наконец в один ряд с именами Данте, Горация, Флобера, Канта, Моцарта, Гоголя, Сервантеса и, разумеется, Достоевского. Не меньшее изумление читателя вызывает и приведенный Н. Ильиной факт многократного переиздания другим писателем исторического романа, в котором автор до сего дня так и не удосужился исправить ни элементарных исторических ошибок, ни трагических по своей сути искажений, связанных с именами ряда лиц, погибших в сталинских лагерях и реабилитированных в 1956-м.

Литераторы этого ранга вообще неохотно признают ошибки — и особенно политические. Понимаю их страх, предвоенные и послевоенные их кошмары, вошедшие в кровь и плоть,— понимаю и даже в чем-то сочувствую,— но читатель-то как же? Читателю нужна истина, и ему нет дела до административных и литературных боев.

Справедливо говорится: ошибка ошибке рознь. Что бы ты сказал, читатель, о такой вот «ошибке», совершенной девятнадцать лет назад целой группой литераторов — из одиннадцати человек, в один день? И когда именно совершали они ошибку — в те годы или ныне, когда (восемь из них живы) продолжают они отстаивать свои кощунственные наветы? Да и, право,— ошибка ли это?

Речь идет о печально известном «письме одиннадцати», озаглавленном «Против чего выступает „Новый мир“?». Оно было опубликовано в том, софроновском еще, «Огоньке», № 30 за 1969 год. Эти имена нам придется сегодня освежить еще раз в своей памяти. Это Михаил Алексеев, Сергей Викулов, Сергей Воронин, Виталий Закруткин, Анатолий Иванов, Сергей Малашкин, Александр Прокофьев, Петр Проскурин, Сергей Смирнов, Владимир Чивилихин и Николай Шундик.

Хорошо помню ощущение тех дней, когда пришел к читателям этот номер «Огонька». Не сговариваясь, мы, три брата, собрались на квартире отца, прочитали «письмо» вслух. Долго все, подавленные, молчали... Потом старший из нас — сказал: «Это все, это конец. „Нового мира“ больше не будет...». Было ощущение не только боли, но и заката, непоправимости. Так что для нашего поколения «письмо одиннадцати» — это не «история литературы», это документ, во многом повлиявший на наши судьбы.

Ну, так что же — повторяю — ошибка? Или тенденция, которой кое-кто хотел бы придерживаться и ныне?

Для решения вопроса нам придется обратиться к текущей прессе — посмотреть, как сегодня некоторые авторы «письма» оценивают давние обвинения, брошенные «Новому миру».

К сожалению (я подчеркиваю — к сожалению!), здесь мне не обойтись без довольно длинных цитат, ибо нигде человек не раскрывается так полно, как в том, что он пишет. Первое слово — Анатолию Иванову («Литературная Россия», № 18 от 6 мая 1988 г.). В канун своего шестидесятилетия А. Иванов дает интервью корреспонденту еженедельника:

«Демократизация и гласность необходимы. Но, к сожалению, находятся люди, которые доводят эти благотворные для страны процессы до абсурда, до своей противоположности. Если демократия — так демократия без берегов, гласность — так гласность без честности, без ощущения социальной необходимости той или иной информации. Под видом гласности извращают факты нашей истории, поступки некоторых деятелей партии, правительства, науки, литературы, придают им антисоциальную, а то и антисоветскую окраску. Иные критики не брезгуют и прямой, сознательной спекуляцией. Разве

с этим не надо бороться? Все же в обществе существуют нравственные законы, не говоря уже о законах юридических».

(Забегая вперед, замечу: каждое слово в этой насквозь демагогической тираде может быть адресовано... самому А. Иванову, много лет возглавляющему журнал «Молодая гвардия», позиции которого в сегодняшней перестройке, мягко говоря, достаточно одиозны.)

Но вернемся к интервью. Далее следует вопрос корреспондента:

— Вы сказали очень резко — «иные критвки не брезгуют и прямой, сознательной спекуляцией». Можете привести хотя бы один такой пример?

А. Иванов (тут — внимание! — *В. П.*):

— Вот пример, достаточно характерный. Н. Ильина в своей публикации «Здравствуй, племя младое, незнакомое...» («Огонек», № 2, 1988) объявляет одиннадцать литераторов (здесь следуют уже известные имена.— *В. П.*) не более не менее как ***возможными виновниками преждевременной смерти Александра Трифоновича Твардовского.*** (Подчеркнуто мною.— *В. П.*). На каком же основании? А на том, что они опубликовали в «Огоньке» № 30 за 1969 год материал под названием «Против чего выступает „Новый мир"?». Причем в последующих своих публикациях «Огонек» старательно муссирует обвинение, уже не подвергая его никакому сомнению, требует от названных литераторов покаянии в содеянном!..

...Что это такое, читатель,— полемические издержки? Или, может, новая ошибка, естественно вытекающая из прежних ошибок? Или просто оговорка? Вот ведь он, номер «Огонька» с полемическими заметками Н. Ильиной, на моем столе. Хоть на свет посмотри, хоть как — нигде автор не обвиняет одиннадцать литераторов, в том числе, конечно, и А. Иванова, в преждевременной кончине А. Т. Твардовского. И уж тем более ни в одном из последующих номеров «Огонька» не поддерживается столь жестокое обвинение. Или А. Иванов в сей полемике рассчитывает на какого-то особого, забывчивого читателя?

Впрочем, предоставим слово Н. Ильиной. Приведя уже цитированные мною слова одного из нынешних «условно молодых» о том, что мы «в 60-е годы пустили вот эту ползучую гидру фрондерства на литературный фронт» и что «в период всеобщего попустительства был нанесен серьезный урон основополагающим ценностям советского народа», Н. Ильина справедливо восклицает:

«Знакомые слова! Что они напоминают? А вот что: „...планомерно и целеустремленно культивируется тенденция скептического отношения к социально-моральным ценностям советского общества". (Это как раз — из «письма одиннадцати».— *В. П.*) Быть может,— продолжает далее Н. Ильина,— современные златоусты по молодости лет и невинности не знают, что их обвинения чуть не слово в слово перекликаются с обвинениями, брошенными „Новому миру" Твардовского? Дослушаем, однако, того, кто говорил о „попустительстве". Он выражает опасение, как бы наша сегодняшняя гласность „не превратилась в попустительство гласности: так вновь преуспеют те потакальщики, которые и господствовали в период попустительства"». В свое время «авторы письма в „Огонек" этих опасений не выражали. Весной 1969 г. Твардовскому не дали опубликовать поэму „По праву памяти" и к июлю — когда появилось письмо — борьба против демократизации и гласности была уже успешно завершена. Почти. Не сдавался лишь „Новый мир", продолжая развивать идеи XX съезда, говоря правду о наших бедах. И в знаменитом письме журнал обвиняют в „кощунственном" отношении к прошлому, в „глумлении" над настоящим, в „очернительстве" и „космополитизме". К февралю 1970 г. цель была достигнута: журнал был вырван из рук Твардовского и, не защищенный его именем, его авторитетом, поставлен на колени...»

Такова, как видим, позиции Н. Ильиной.

Тем не менее А. Иванов — вопреки логике, вопреки самому обыкновенному здравому смыслу — продолжает в интервью «Литературной России» гнуть свою линию: «В письме одиннадцати... ни имя Твардовского, ни его произведения даже не упоминаются, не касаются писатели и личной жизни поэта, и его общественной деятельности. Речь там идет о статье критика А. Дементьева „О традициях и народности" («Новый мир», 1969, № 4), где он делает откровенные попытки развенчать определенные народом и временем литературные, историко-культурные ценности... То есть „письмо" было по тем временам самым обычным публицистическим, полемическим выступлением против нездоровых, на взгляд его авторов, явлений в критике. Но если бы даже в письме и критиковался за что-то А. Твардовский — при чем, скажите, тут смерть великого поэта, последовавшая, как известно, в результате тяжкой и безжалостной болезни?»

Тут опять — что ни слово, то передержка. Как уже было сказано выше, ни Н. Ильина, ни кто-либо другой в преждевременной кончине А. Твардовского авторов «письма» не обвинял. Хотя все же, согласитесь,— на излете той оттепели бить по единственному в стране журналу, сохраняющему демократические традиции, означало бить и по его главному редактору. Справедливости ради надо сказать, что и критик А. Дементьев в своей статье не делал никаких откровенных попыток «развенчать определенные народом и временем литературные, историко-культурные ценности». Он выступал против откровенного невежества ряда братьев по цеху, чьи тенденциозные работы в те годы в буквальном смысле слова заполонили журналы «Молодая гвардия» и «Москва». В частности, разбирая две статьи В. Чалмаева, опубликованные в «Молодой гвардии» (№№ 3 и 9, 1968), «Великие искания» и «Неизбежность», А. Дементьев писал:

«Поражает „эрудиция" автора. Отвага, с которой он ринулся на литературную арену, соединяется в его статьях с поразительной беззаботностью по части знаний. Фауста Гете В. Чалмаев считает юношей; известные строки Блока: „Но узнаю тебя, начало высоких и мятежных дней" (из стихотворения „Опять над полем Куликовым...") — приписывает Бунину; про частушку „Эх, завод ты мой, завод, желтоглазина" пишет, что эта частушка рабочих звучит в „Деле Артамоновых", в то время как она „звучит" в поэме „Владимир Ильич Ленин" Маяковского, а не в романе Горького; Нила Саровского Чалмаев, по-видимому, смонтировал из Серафима Саровского и Нила Сорского; роман И. Макарова „Стальные ребра" называет „Стальные ребята"; К. Леонтьева объявляет другом Л. Толстого и т. д. Поистине, „есть от чего в отчаянье прийти..."»

Что ж тут скажешь? Ведь невежество от веку ненаказуемо...

По случайности, в тех же первых числах мая сего года, когда А. Иванов давал свое предъюбилейное интервью корреспонденту «Литературной России», по первой программе ЦТ была показана передача, в которой мы имели возможность встретиться еще с одним литератором, подписавшим в свое время «письмо одиннадцати»,— с М. Алексеевым. Это была встреча телезрителей с редколлегией журнала «Москва».

Сразу скажу: никого не удивило, что в числе первых главному редактору «Москвы», каковым М. Алексеев является уже не одно десятилетие, был задан вопрос о том самом пресловутом «письме».

Раньше я, признаюсь, думал, что М. Алексеев — в первую очередь писатель. Но здесь, в ходе этой передачи, я вдруг увидел: не только писатель — актер! Это же прекрасный актер! Надо было видеть, сколь самозабвенно он «разыгрывал» свой ответ на ненужный этот, каверзный вопрос зрителя! Что это все зовут нас каяться? — восклицал он, воздев к небу руки.— Да, скажите,— в чем каяться-то? Честное слово, дело кончится тем, что мы опубликуем это самое письмо — например, в журнале «Москва». Вот тогда всем станет ясно, кто был прав, а кто нет!

Это было сказано очень смело, артистично и с упоением. Публика, пришедшая на эту встречу, зааплодировала.

Тем не менее, как сказал все тот же наш великий поэт,— «и все же, все же, все же...».

Смею утверждать, что хлопали на этот раз и актеру, и литератору люди, либо никогда не читавшие «письма», либо просто забывчивые.

Сам я по природе человек достаточно ленивый, но не настолько же!.. Пошел вот, да и взял в родной библиотеке этот самый журнал — «Огонек» № 30 за 1969 год. Вот он тоже, стало быть, на столе...

Прочитал, а вернее сказать — освежил в памяти знаменитое то «письмо».

Что же именно собирается напечатать М. Алексеев в своем журнале? Все «письмо» или, может, только отрывки? Например, вот этот:

«В сегодняшнем мире, разделенном на два лагеря, буржуазная пропаганда, используя провокационную тактику „наведения мостов" и „идеологического сосуществования", ведет неустанную и все более изощренную, коварную обработку умов, проповедуя среди молодежи нигилизм во всех видах, стремление к легкой, „изящной" жизни на западный образец и поверхностный интеллектуализм без нравственных норм. Всякая вольная или невольная попытка преуменьшить значение этой опасности играет на руку только нашим идеологическим противникам».

Или, может быть, этот:

«Мы полагаем, что не требуется подробно читателю говорить о характере тех идей, которые давно уже проповедует „Новый мир", особенно в отделе критики. Все это достаточно широко известно. Именно на страницах „Нового мира" печатал свои „критические" статьи А. Синявский, чередуя эти выступления с зарубежными публикациями антисоветских пасквилей. Именно в „Новом мире" появились кощунственные материалы, ставящие под сомнение героическое прошлое нашего народа и Советской Армии, глумящиеся над трудностями роста советского общества (повести В. Войновича „Два товарища", И. Грековой „На испытаниях", роман Н. Воронова „Юность в Железнодольске" и т. д.). Известно, что все эти очернительские сочинения встретили осуждение в нашей прессе. В критических статьях В. Лакшина, И. Виноградова, Ф. Светова, Ст. Рассадина, В. Кардина и других, опубликованных в „Новом мире", планомерно и целеустремленно культивируется тенденция скептического отношения к социально-моральным ценностям советского общества, к его идеям и завоеваниям».

Что, достаточно? Хватит?.. А, по-моему, читателям журнала «Москва» было бы интересно познакомиться, например, и с таким вот пассажем:

«Проникновение к нам буржуазной идеологии было и остается серьезнейшей опасностью. Если против нее не бороться, это может привести к постепенной подмене понятий пролетарского интернационализма столь милыми сердцу некоторых критиков и литераторов, группирующихся вокруг „Нового мира“, космополитическими идеями. И, если хотите, наглядным подтверждением такой опасности является сам тот факт, что у нас уже появились литераторы вроде А. Дементьева. В провокационной тактике „наведения мостов“, сближения или, говоря модным словом, „интеграции идеологии“ они словно бы не хотят видеть диверсионного смысла. Более того, прикрываясь трескучей фразеологией, они сами выступают против таких основополагающих морально-политических сил нашего общества, как советский патриотизм, как дружба и братство народов СССР, как социалистическое по содержанию, национальное по форме искусство социалистического реализма».

Как кому, но мне лично все тут — и сам топ, и подход к проблеме, и даже стилистика неуловимо напоминают времена Л. Авербаха, те рапповские статьи, после публикации которых «критикуемым» давали, как правило, десять лет.

Чего уж тут каяться нынче — А. Иванову, М. Алексееву да и прочим. Пусть их!..

Тем не менее не могу не сказать еще об одном литераторе — о Н. Шундике, тоже авторе «письма», выступившем недавно на научной конференции историков и писателей, проходившей в Москве. Вот отрывок из его выступления, опубликованного в «Советской культуре» (№ 54, 1988):

«В последнее время в некоторых периодических органах печати настоятельно звучат требования, чтобы все, кто подписал в свое время письмо по поводу своего несогласия с некоторыми тенденциями в журнале „Новый мир“, покаялись. Но в чем я лично должен каяться? В том, что был несогласен с высказанной в журнале „Новый мир“ позицией Синявского и с такими, как он? С позицией, ничем не отличающейся от той, которую он сейчас занимает там, на Западе? Или я должен забыть о том, что в этом журнале топтали, к примеру, такого замечательного писателя, ветерана, воина, гражданина, как Виталий Закруткин? И не его одного. Причем я понимал и понимаю, что во многом дело было не в Твардовском, а в синявских, с которыми я спорил и буду спорить, несмотря на глумление жаждущих крови».

Менее всего я хотел бы, чтобы Н. Шундик после прочтения этой статьи и меня бы тоже причислил к «жаждущим крови». Уж чего бы мне не хотелось, так именно этого. Дело ведь не в сведении старых счетов. Дело в ином. В том, к примеру, что Н. Шундик свой вполне естественный человеческий стыд, каждый раз неминуемо охватывающий его при одном воспоминании о злополучном «письме», до сих пор пытается хоть как-то прикрыть совершенно неуместной и неловкой ссылкой на А. Синявского и его позицию. Что мы помним, кстати, о позициях А. Синявского до ареста весной шестьдесят шестого года? Быть может, перечтем статьи его, год за годом публиковавшиеся Твардовским,— об Анне Ахматовой, о Борисе Пастернаке... О романе И. Шевцова «Тля». О поэзии Е. Долматовского... Лично я перечел. Представляю, сколько возмущенных воплей сейчас раздастся, но свое личное мнение готов о них высказать. Звучат статьи Синявского до сих пор убедительно, доказательно, современно. Я бы даже больше сказал — перестроечно. И вот что: коль скоро демократия возвратилась, как все мы сейчас ощущаем, не на время, а навсегда, коль скоро восстанавливаются ленинские нормы государственной и общественной жизни, реабилитируются безвинные, то почему бы не вернуться теперь и к процессу над А. Синявским? Кстати, почему бы не вернуться и к процессу 1964 года над лауреатом Нобелевской премии И. Бродским? Это ведь были не просто ошибки — это были акции, определяющие судьбы не только непосредственных участников драмы, но и формирующие во многом мировоззрение зрителей, то бишь нас с вами.

Кто же нынче мы в таком случае — спокойные созерцатели? Соучастники минувших бедствий? Или все же люди, способные заявить свой протест против всех без исключения несправедливостей прошлого? Если мы когда-нибудь и в этих делах наведем порядок, наша общая лодка, глядишь, будет меньше давать никому не нужного крена. Я серьезно зову задуматься над этим и нынешних достаточно агрессивных «детей» застоя, жаждущих лишь своей доли столь сладкого, по их наивному представлению, литературного пирога, и, разумеется, их духовных «отцов». Время всем дает шанс, и воспользоваться им надо благородно, по совести. Чем скорее мы снимем с души все камни, тем скорее наступит то единство, при котором все споры будут только спорами единомышленников, углубляющих общечеловеческую идею братства, а не расшатывающих ее.

АЛЕКСАНДР ФЛОРЕНСКИЙ

ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА



ЯЛТА ЗИМОЙ. Холст, масло

Александр Флоренский родился в 1960 году в Ленинграде в семье художников. Рос в атмосфере творчества и высокой художественной культуры. Рисовать начал рано, работал много и упорно и довольно быстро определил свои творческие позиции, убеждения, пристрастия. В 1982 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. С 1980 года — участник ленинградских и Всесоюзных выставок, с 1988 — член Союза художников. Живописные работы Александра Флоренского — натюрморты, интерьеры, портреты, пейзажи, цирковые и театральные плакаты, графика, книжная и журнальная — свидетельство начала пути художника интересного, талантливого и свободного в своем мастерстве.



НАТЮРМОРТ. Холст, масло



АФИША К БАЛЕТНОМУ СПЕКТАКЛЮ МАЛОГО ОПЕРНОГО ТЕАТРА



ОКНО С ГЕРАНЬЮ. Холст, масло



АФИША ЦИРКОВОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ «СЛОНЫ И ТИГРЫ»



ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ. Холст, масло

К. М. АЗАДОВСКИЙ

ЛИЧНОСТЬ И СУДЬБА НИКОЛАЯ КЛЮЕВА

Среди блистательной плеяды русских поэтов начала века трудно найти другое имя, с которым связывалось бы так много догадок (зачастую — домыслов), как с именем Николая Клюева. Самобытный крестьянский поэт, выходец из Олонецкой губернии, Клюев вступил в русскую литературу одновременно с нарастанием революционной волны 1905 года. Позднее, осенью 1911 года, в Москве был издан первый сборник его стихотворений — «Сосен перезвон». В своих ранних стихах Клюев пытался говорить от имени «жнецов» и «пахарей», то есть от лица «народа», и одно это не могло не привлечь к нему внимания, особенно в период «между двух революций», когда проблема «народ и интеллигенция» живо волновала русское общество. Клюевым увлекались Блок, Андрей Белый, Городецкий и другие литераторы, в разной мере захваченные тогда «неонародническими» исканиями. Для одних были интересны фольклорные стилизации, которые создавал Клюев, знаток и собиратель народного творчества, для других — элементы старообрядческой и сектантской культуры, окрашивающие некоторые из его сочинений. Однако всего сильней привлекала к себе современников личность Клюева — колоритная, незаурядная и во многом загадочная. Разноречивы дошедшие до нас отзывы о поэте. Одним он казался скромным, тихим и набожным. Другим, напротив,— елейным, вкрадчивым и неискренним. Одни видели в нем большого поэта и даже «пророка», другие — «шамана» и «колдуна», третьи — самозванца, рядившегося «под мужичка».

«Коренастый. Ниже среднего роста. Бесцветный. С лицом ничего не выражающим, я бы сказала, даже тупым... Длинной, назад зачесанной прилизанной шевелюрой. Речью медленной и бесконечно переплетаемой буквой „о“. С явным и сильным ударением на букве этой. И резко отчеканиваемой буквой „г“, что и придавало всей клюевской речи специфический и оригинальный и отпечаток, и оттенок.

Зимой — в стареньком полушубке. Меховой потертой шапке. Несмазанных сапогах. Летом — в несменяемом, также сильно потертом армячке и таких же несмазанных сапогах. Но все четыре времени года, также неизменно, сам он весь обросший и заросший, как дремучий его Олонецкий лес...» Это один из портретов молодого Клюева, набросанный Н. М. Гариной, женой писателя С. А. Гарина (начало их знакомства относится к 1911—1912 годам, когда олонецкий поэт стал появляться в салонах литературной Москвы).

Кто же был он в действительности? Носитель «народной души», пришедший «из молитвенных чащ и молелен Севера» (слова Андрея Белого)? Поэт-сектант хлыстовского толка (как думал, например, близко знавший Клюева критик Р. В. Иванов-Разумник)? Могучий «земляной» Микула, сказавший в литературе «свое русское древнее слово» (таким изобразила его Ольга Форш в романе «Сумасшедший корабль»)? Или все-таки «мужичок-травести», готовый с легкостью сменить поддевку и смазные сапоги на европейский «городской» костюм (сцена, описанная в мемуарах Г. В. Иванова «Петербургские зимы»)? Искусный стилизатор или подлинный большой поэт? В каждом из этих суждений о Клюеве есть, думается, доля истины. Но, видимо, более трезво судили о Клюеве те, кому удавалось распознать его многоликость и кто пытался отличить в нем существенное от случайного, «вечное» от «суетного». К числу таких «прозорливых» современников принадлежал, в частности, Блок, сказавший однажды о Клюеве: «Ведь вот иногда в нем что-то словно ангельское, а иногда это просто хитрый мужичонка» (воспоминания о Блоке Вас. В. Гиппиуса).

Неотчетливость, неокончательность наших представлений о Клюеве объясняется отчасти тем, что его биография в самых узловых моментах сознательно затемнена... самим Клюеаым, создававшим о себе некий «миф», искусно творившим легенды о своей жизни. Древность «старообрядческого» рода, к которому якобы принадлежал Клюев, его участие в хлыстовском «корабле», его пребывание (в юности) на Соловках, его скитания по России и Востоку — все эти сведения, прочно вошедшие в литературу о Клюеве, известны нам со слов самого поэта. Клюев много рассказывал о себе, и его воспоминания, записанные в начале 20-х годов его близким другом Н. И. Архиповым, могли бы, казалось, служить ценным источни-

ком для восстановления его биографии. Однако сохранившиеся документальные свидетельства убеждают нас в том, что автобиографическая проза Клюева — это скорее «художественное», нежели реальное жизнеописание, где правда и вымысел слиты зачастую нераздельно.

Проследим же основные этапы его жизненного пути — то, что не подлежит сомнению.

Клюев родился 10 октября 1884 года в одной из деревень Коштугской волости Олонецкой губернии, неподалеку от Вытегры (ныне — Вологодская область). Позднее семья переехала в деревню Желвачево (к северу от Вытегры), где отец поэта держал винную лавку. О своей матери поэт рассказывал, что она была «плачеёй» и «вопленницей» и обучила его грамоте «по псалтири». После ее смерти в 1913 году поэт сложил изумительные «Избяные песни», посвященные памяти матери.

В 90-е годы Клюев учился в Вытегорской церковно-приходской школе, а затем — в двухклассном городском училище. Тем не менее, по свидетельству современников, Клюев был человеком высокой культуры: он хорошо знал историю, древнерусскую (особенно церковную) литературу и даже немецкий язык. Всего этого он достиг сам — упорным самообразованием. Следует упомянуть и о том, что Клюев обладал не только литературным талантом: он неплохо рисовал, тонко чувствовал музыку, был замечательным актером, прекрасно исполнял собственные произведения, а также «перелагал» народные песни, сказки.

В 1904—1905 годах появляются в печати первые стихи Клюева — еще весьма слабые, но проникнутые искренним и сильным свободолюбивым пафосом. Решительный сторонник «народного дела», Клюев принимает непосредственное участие в революционной борьбе: он обходит села Олонецкой губернии, распространяя прокламации Крестьянского союза и призывая крестьян к неповиновению. За антиправительственную агитацию Клюев был арестован в январе 1906 года и провел четыре месяца в Вытегорской и еще два месяца в Петрозаводской тюрьме. Однако пребывание в тюрьме ничуть не поколебало его «левых» настроений.

Важно сказать, что бунтарство молодого Клюева во многом было вызвано его религиозными убеждениями и проникнуто ими. Разделяя программу Крестьянского союза, Клюев, конечно, боролся за осуществление вековых чаяний народа и против его притеснителей. Но истинная цель борьбы имела для Клюева не столько социальный, сколько духовный смысл — «братство». В этом Клюев сближается с русскими раскольниками и сектантами — яркими выразителями народного религиозного протеста. С официальным православием такая вера не имела ничего общего, напоминая скорее религию первых христиан-мучеников.

В 1907 году у Клюева завязываются отношения с некоторыми из петербургских литераторов (в том числе с поэтом Л. Д. Семеновым, университетским товарищем Блока). Стихи Клюева появляются на страницах «неонароднического» журнала «Трудовой путь»; его редактор, известный русский издатель В. С. Миролюбов, становится одним из горячих поклонников клюевского таланта. Некоторые из стихотворений 1907 года посвящены теме «солдатчины»: Клюеву грозила тогда воинская повинность, которую он не мог принять по своим религиозным убеждениям. Попав в солдаты, Клюев несколько месяцев вновь проводит в заточении за отказ брать в руки оружие (см. публикуемый ниже автобиографический отрывок).

Тогда же, в конце 1907 года, Клюев вступает в переписку с Блоком, которая продолжается у него до 1915 года. Знакомство с Блоком — важнейшее событие в жизни Клюева, навсегда сохранившего благодарную память о своих встречах с «Нечаянной Радостью» (так он называл Блока). Блок помог Клюеву-поэту найти себя, обрести собственный голос; кроме того, Блок содействовал публикациям стихов Клюева в видных русских журналах («Золотое руно», «Бодрое слово»). Но и для самого Блока общение с Клюевым не прошло бесследно: некоторое время, особенно в 1908—1911 годах, Клюев как бы воплощал для него ту самую «народную», религиозно-бунтарскую, сектантскую Русь, к которой Блок тогда настойчиво тянулся.

Между 1907-м и 1915 годами Клюев живет преимущественно дома — в Вытегорском уезде (что без труда устанавливается по его письмам тех лет). Именно в это время он стремится глубже узнать и по-своему осмыслить народные традиции, сохранившиеся на Севере: фольклор, обычаи, быт. Культура русского Севера щедро оплодотворила творчество Клюева. Это не только областные слова, которыми Клюев любил уснащать свои произведения, но и тональность, звучание многих его «самосожженческих» стихов.

После выхода в свет сборника «Сосен перезвон» (посвященного Блоку и с предисловием, написанным В. Я. Брюсовым) имя Клюева получает всероссийскую известность. Для него открываются страницы таких журналов, как «Заветы» и «Современник», о нем пишут хвалебные отзывы Городецкий, Гумилев, В. Львов-Рогачевский. В мае 1912 года выходит в свет вторая книжка Клюева — «Братские

песни», задуманная в основном как сборник сектантских песнопений. В начале 1913 года известный ярославский издатель К. Ф. Некрасов (племянник поэта) издает третий стихотворный сборник Клюева — «Лесные были». В 1912—1916 годах Клюев широко печатается в столичных журналах и газетах («Северные записки», «Огонек», «Биржевые ведомости» и другие). Особенно часто его стихотворения появляются в «Ежемесячном журнале» В. С. Миролюбова.

Приехав в Петроград в сентябре 1915 года, Клюев знакомится с Сергеем Есениным. В течение полутора лет поэтов соединяет теснейшая дружба: они вместе участвуют в литературных объединениях «Краса» и «Страда», выступают на «крестьянских» вечерах, публикуются в одних и тех же периодических изданиях и даже у одних и тех же издателей (так, в начале 1916 года в Петрограде у М. В. Аверьянова почти одновременно выходят в свет «Мирские думы» Клюева и «Радуница» Есенина, его первый поэтический сборник). Вокруг Клюева и Есенина группируются в эти годы некоторые другие «крестьянские» писатели, близкие им по своим устремлениям: П. И. Карпов, С. А. Клычков, П. В. Орешин, А. В. Ширяевец. Все настойчивей заявляет о себе новое направление в русской литературе тех лет — «новокрестьянское».

В этой группе Клюев выделялся как наиболее последовательный выразитель той «крестьянской программы», которую в известной мере разделяли все названные поэты. Их волновал и притягивал к себе образ «народной» России, но она представала им (прежде всего Клюеву) как древняя, «потаенная» святая Русь, как легендарный Китеж. Разумеется, с реальной «мужицкой» Россией, особенно в первые десятилетия нынешнего столетия, эта опоэтизированная «страна-сказка» имела мало общего. Клюев не уставал воспевать человека-труженика, близкого к Природе, деревенскую избу, ее вековые устои, предметы и признаки крестьянского быта. Все овеянное стариной и традицией воспринималось им как святыня («Мужицкий лапоть свят, свят, свят...»). И напротив: все, что противостояло боготворимой им «Матери-Природе», было для Клюева воплощением противоестественных, разрушительных, «адских» сил. С пафосом истинного проповедника обрушивался Клюев на современную «машинную» цивилизацию, губительную, как мнилось поэту, для духовного развития человеческой личности. «Как ненавистен и черен кажется весь так называемый Цивилизованный мир, и что бы дал, какую бы Голгофу понес — чтобы Америка не надвигалась на сизоперую зарю, на часовню в бору, на зайца у стога, на избу-сказку»,— писал Клюев А. В. Ширяевцу (1914). Особенно «ненавистен» для Клюева был Город, «каменный ад», с населяющими его — «ненуждающимися и учеными» — людьми (то есть интеллигенцией). Отсюда — многочисленные нападки Клюева на современную «мертвую» культуру, стремление всячески ее противопоставить «живому», «естественному» бытию («Олений гусак сладкозвучнее Глинки, стерляжьи молоки Верлена нежней...»). Отсюда — и его тяготение «к корням», к «седой старине», интерес к русской истории и древним книгам, к «изначальным» народным верованиям. С этими же особенностями клюевского творчества во многом связана и его художественная манера: ориентация на народное творчество, стремление говорить не только от лица «народа», но и — языком «народа».

В 20—30-е годы, в период революционной ломки старой России, виднейшие «новокрестьянские» поэты (Есенин, Клюев, Клычков) были подвергнуты уничтожительной критике. Их огульно называли «кулацкими», их взгляд на Россию — «реакционным», их фольклоризм — «не народным». При этом из виду упускалось главное — то, что Клюев и его единомышленники были прежде всего художниками, поэтами. Они страстно верили в духовное и социальное будущее своего народа и в серой «избяной» России прозревали сказочную, ослепительно прекрасную, «золотую» Русь.

Февральскую революцию 1917 года Клюев встречает в Петрограде, восторженно приветствуя свержение самодержавия. Вместе с Есениным он часто выступает на многолюдных митингах и собраниях, печатается в левоэсеровских изданиях и сборниках «Скифы», где под эгидой Р. В. Иванова-Разумника происходит объединение «народных» поэтов с поэтами «из интеллигенции», прежде всего с Блоком и Белым. Подобно другим «скифам», Клюев переживал Революцию как великое «Преображение» (не только социальное, но и духовное), как пробуждение подлинно «народной», «поддонной» России. «Уму — Республика, а сердцу — Китеж-град»,— заявлял он тогда не без вызова в своем известном стихотворении.

К лету 1917 года в отношениях Есенина и Клюева намечается охлаждение; поэты надолго расходятся друг с другом. Клюев возвращается на родину, в олонецкую деревню. В дни Октябрьского восстания Клюева в Петрограде не было, но весть о победе пролетарской революции он воспринял с огромным воодушевлением. Весной 1918 года в Вытегре (куда он перебирается вскоре после смерти отца) Клюев вступает в партию большевиков. Еще через несколько недель в журнале «Знамя труда» (июнь) появляется его стихотворение «Ленин» — первое в советской поэзии художественное изображение вождя.

Впрочем, и после Октября Клюев остается верен себе. Проповедуя всеобщее «братство», он продолжает фантазировать на тему «мужицкого рая» («Не хочу Коммуны без лежанки») и даже облику Ленина стремится придать старообрядческие черты.

В Вытегре Клюев живет — с перерывами — до середины 1923 года. Несмотря на голод и иные лишения того времени, поэт работает с небывалым подъемом, особенно в первые революционные годы. Часть клюевских «красных песен», созданных в 1918—1919 годах вошла в его сборник «Медный кит» и двухтомный «Песнослов» (обе книги изданы в Петрограде в 1919 году). Между 1919-м и 1922 годами были написаны поэмы «Четвертый Рим» и «Мать-Суббота», а также стихотворения, составившие сборник «Львиный хлеб» (1922). Многие из них звучат глубоко трагически. Клюев уже в те годы чувствовал свою обреченность как художника — певца «избы». «Революция сломала деревню и в частности мой быт»,— жаловался он Горькому осенью 1918 года. Задумываясь над судьбами национальной культуры, Клюев приходит к мысли о том, что таким людям, как он, нет места при пролетарской диктатуре (об этом он писал в 1918 году В. С. Миролюбову). Остро полемизируя с пролетарскими поэтами, отстаивая от их нападок свой «избяной рай», Клюев начинал сознавать, что его стародедовские идеалы отвергнуты самой историей. Поэт ясно видел начавшееся в стране переустройство жизни, но внутренне он многого не мог принять. Ему, например, казалось, что Советская власть недостаточно опирается на крестьянство, что резкое противопоставление деревни городу (в пользу последнего) должно нанести непоправимый урон России. Он опасался за «тайную культуру народа», скрытую в вековом «безмолвии» русской избы, за «неугасимый чисточетверговый огонек красоты» («Из золотого письма братьям-коммунистам», 1919). «Поэзия народа, воплощенная в наших писаниях,— утверждал Клюев в письме к Есенину (1922),— при народовластии должна занимать самое почетное место ⟨...⟩ порывая с нами, Советская власть порывает с самым нежным, с самым глубоким в народе». Время показало, что многие из опасений Клюева были не напрасными.

В 1919 году Клюев становится одним из основных сотрудников местной газеты «Звезда Вытегры»; он постоянно печатает в ней свои стихи и прозаические произведения. Но уже в 1920 году его участие в делах газеты сокращается. Дело в том, что в марте 1920 года Третья уездная конференция РКП (б) в Вытегре обсуждала вопрос о возможности дальнейшего пребывания Клюева в рядах партии: религиозные убеждения поэта, посещение им церкви и почитание икон вызывали, естественно, недовольство у вытегорских коммунистов. Выступая перед собравшимися, Клюев произнес речь «Лицо коммуниста». «С присущей ему образностью и силой,— сообщала через несколько дней «Звезда Вытегры»,— оратор выявил цельный благородный тип идеального коммунара, в котором воплощаются все лучшие заветы гуманности и общечеловечности». В то же время Клюев пытался доказать собранию, что «нельзя надсмехаться над религиозными чувствованиями, ибо слишком много точек соприкосновения в учении коммуны с народною верою в торжество лучших начал человеческой души». Доклад Клюева был выслушан «в жуткой тишине» и произвел глубокое впечатление. Большинством голосов конференция, «пораженная доводами Клюева, ослепительным красным светом, брызжущим из каждого слова поэта, братски высказалась за ценность поэта для партии». Однако Петрозаводский губком не поддержал решения уездной конференции: Клюев был исключен из партии большевиков.

В 1921—1922 годах ситуация Клюева в Вытегре еще более усложняется. Его имя почти совсем исчезает со страниц местной газеты (хотя анонимно или под псевдонимом Клюев продолжает в ней сотрудничать). В середине 1923 года Клюев был арестован в Вытегре и доставлен в Петроград (причины ареста не вполне выяснены). Освободившись через несколько недель, Клюев не возвращается в Вытегру. Поселившись на Большой Морской (ныне — улица Герцена), поэт становится ленинградским жителем. Он стремится к участию в литературной жизни города. Как член Всероссийского Союза писателей (с мая 1921 года) он выступает с другими поэтами на литературных вечерах, печатается в ленинградских периодических изданиях. Однако именно в 20-е годы становится особенно очевидной «несозвучность» Клюева новой исторической эпохе. Его явная приверженность к патриархальной старине, крестьянской «избе», мужику-«пахарю», его религиозность и даже его одежда и облик — все это вызывает к нему в те годы настороженное отношение. Поэт остро нуждается, часто обращается в Союз поэтов и к знакомым с просьбами о помощи. «...Нищета, скитание по чужим обедам разрушают меня как художника»,— писал Клюев Горькому в 1928 году.

Но именно в 20-е годы Клюев создает несколько замечательных по силе эпических произведений. Одно из них — «Плач о Сергее Есенине», горестный заупокойный «вопль» о «меньшом брате». Другое — поэма «Погорельщина», тоже своего рода «плач» об уходящей «погорелой» Руси (в СССР опубликована в журнале «Новый мир», 1987, № 7). В 1927 году в первом номере журнала «Звезда» появляется поэма «Деревня», вызвавшая ряд ожесточенных нападок на Клюева в печати. А. Зонин, один из ведущих авторов рапповского журнала «На литературном посту», в своем письме в редакцию клеймил это «стихотворение» Клюева как «черносотенное». Беспощадный приговор «Деревне» вынес и пролетарский поэт А. И. Безыменский на страницах ленинградской «Красной газеты» и «Комсомольской правды» («кулацкая контрреволюция»). Критически была принята и книга избранных стихов Клюева «Изба и поле» (1928) — последний его прижизненный сборник.

Теснимый рапповскими идеологами, Клюев, в сущности, устраняется из советской литературы. Изредка приходится ему давать официальные разъяснения по поводу его гражданской позиции... Один из таких образцов клюевской «самокритики» — ответ на запрос Ленинградского Союза писателей от 14 июля 1931 года («представить в Союз развернутую подробную критику своего творчества и общественного поведения») — публикуется ниже.

После 1927 года поэт не живет в Ленинграде подолгу. Он совершает поездки в другие города (Полтава, Саратов), часто бывает в Москве (здесь в 1929 году он начинает новую большую поэму — «Песнь о Великой Матери»); на лето он уезжает вместе со своим другом, молодым художником Толей Кравченко (впоследствии — народный художник РСФСР А. Н. Яр-Кравченко) в деревню Потрепухино Вятской области близ Кукарки (ныне — г. Советск Кировской области). С осени 1931 года Клюев постоянно живет в Москве, первое время — у своих знакомых, в том числе — у певца Большого театра А. Н. Садомова и его жены, Н. Ф. Христофоровой. Круг его новых московских знакомых довольно широк: писатели, художники, артисты. Самобытность и талант Клюева по-прежнему вызывают неподдельное восхищение. Известный советский дирижер и композитор Н. С. Голованов, впервые увидевший Клюева в декабре 1929 года у искусствоведа А. И. Анисимова, рассказывает в одном из писем к А. В. Неждановой: «был замечательно интересный вечер — у него поэт Клюев Николай Алексеевич читал свои новые стихи; были Коренева, Массалитинова, Р. Ивнев ⟨актрисы Л. М. Коренева и В. О. Массалитинова и поэт Рюрик Ивнев.— *К. А.*⟩. Я давно не получал такого удовольствия. Это поэт 55 лет с иконописным русским лицом, окладистой бородой, в вышитой северной рубашке и поддевке — изумительное, по-моему, явление в русской жизни. ⟨...⟩ Теперь его ничего не печатают, так как он считает трактор наваждением дьявола, от которого березки и месяц бегут топиться в речку. Стихи его изумительны по звучности и красоте ⟨...⟩ Читает он так мастерски, что я чуть не заплакал в одном месте ⟨...⟩ Я о нем много слышал раньше, но не думал, что это так замечательно».

В начале 1932 года Клюев — при поддержке Московского Союза писателей — получает крохотную квартиру в полуподвальном помещении в Гранатном переулке (ныне — ул. Щусева). Впрочем, положение Клюева не меняется к лучшему и после его переезда в Москву; путь в литературу для него по-прежнему закрыт. «Я гневаюсь на вас и горестно браню, что десять лет певучему коню ⟨...⟩ вы не дали и пригоршни овса» — с этими горькими словами обращается Клюев в 1932 году к своим собратьям по искусству. Все, что он пишет, отклоняется редакциями: так, не было напечатано ни одного из стихотворений, составивших в 1933 году новый сборник — «О чем шумят седые кедры». Невыносимо трудное материальное положение заставляет поэта, если верить свидетельствам, просить милостыню на церковной паперти.

И. М. Гронский, в то время — ответственный редактор «Известий» (позднее — редактор «Нового мира») в своих воспоминаниях (впрочем, не всегда достоверных) рассказывал о том, как он, возмущенный «антиобщественными» выходками Клюева, оказался инициатором его высылки из Москвы. «Я позвонил Ягоде и попросил убрать Н. А. Клюева из Москвы в 24 часа. Он меня спросил: Арестовать? — Нет, просто выслать. После этого я информировал И. В. Сталина о своем распоряжении, и он его санкционировал». Действительно, 2 февраля 1934 года Клюев был арестован и вскоре выслан из Москвы сроком на пять лет в поселок Колпашево Нарымского края (ныне — город Колпашево Томской области). Сам Клюев, однако, считал, что он осужден за свои стихи. «Я сослан за поэму „Погорельщина“, ничего другого за мной нет. Статья 58-ая пункт 10-й, предусматривающий агитацию,— писал Клюев из Колпашева 25 июля 1934 года Н. С. Голованову.— ⟨...⟩ Сообщите телеграммой, возможно ли через Вас передать лично Калинину или Ворошилову мое заявление о помиловании. Это самый верный путь к моему спасению».

С такими же мольбами Клюев обращался в те дни из Нарыма к нескольким людям, в том числе — к Н. Ф. Христофоровой. Ниже мы публикуем полностью несколько писем Клюева к ней. Надежда Федоровна спустя много лет вспоминала, что, получив известие из Колпашева, она тут же собрала для Клюева одну за другой три посылки и отправила их в Сибирь.

(«Другие-то боялись»,— говорила она автору этих строк). В последующих письмах Клюев подтверждает получение от нее вещей и продуктов («как бы из другого мира гостинцы») и сердечно благодарит свою «сестру по упованию».

Писатель Р. Менский, встречавший Клюева в Колпашеве, впоследствии рассказывал:

«В Колпашеве он писал мало — быт, тяжелая нужда убивали всякую возможность работы. Кроме того у ссыльных несколько раз в году производились обыски. Отбирали книги, письма и тем более рукописи. Запись откровенных мыслей была исключена. В Колпашеве Н. А. была начата поэма — „Нарым". Пока это были композиционно не слаженные, отдельные строфы. Записаны они были на разных клочках бумаги (от желтых кульков, на оберточной бумаге). Видимо, поэму он записывал только на время, пока не выучит наизусть, а затем уничтожал записи. Написанное он читал некоторым ссыльным. Талант его не угасал, хотя поэт и чувствовал себя морально подавленным».

В середине октября 1934 года Клюева переводят в Томск...

Поэт мучительно переживал свой вынужденный отрыв от литературы. «Положение мое очень серьезно и равносильно отсечению головы, ибо я, к сожалению, не маклер, а поэт. А залить расплавленным оловом горло поэту ⟨...⟩ это похуже судьбы Шевченка или Полежаева, не говоря уже о Пушкине ⟨...⟩ Не жалко мне себя как общественной фигуры, но жаль своих песен-пчел, сладких, солнечных и золотых. Шибко жалят они мое сердце». Впрочем, поэт еще находит в себе силы для творчества. Сохранился законченный в конце 1934 — начале 1935 года (обращенный к Н. Ф. Христофоровой) трактат «Очищение сердца» — свидетельство углубленных в то время раздумий Клюева о «грехе» и «искуплении». Сохранилось и несколько стихотворных фрагментов, написанных в те годы: в них преобладают трагические интонации. «Есть две страны: одна — Больница, Другая — Кладбище...» — так начинается последнее из известных ныне стихотворений Клюева (дата: 25 марта 1937 года).

В марте 1936 года Клюева разбил паралич, и он оказался на долгое время прикованным к постели. «Не владею ни ногой, ни рукой,— рассказывает он Надежде Федоровне в августе 1936 года.— Был закрыт и левый глаз. Теперь я калека. Ни позы, ни ложных слов нет во мне ⟨...⟩ За косым оконцем моей комнатушки серый сибирский ливень со свистящим ветром. Здесь уже осень, холодно. Грязь по хомут, за досчатой заборкой ревут ребята, рыжая баба клянет их, от страшной общей лохани под рукомойником несет тошным смрадом. Остро, но вместе нежно хотелось бы увидеть сверкающую чистотой комнату, напоенную музыкой „Китежа" с „Укрощением бури" на стене ⟨...⟩ Очень тяжело на чужих людях хворать. Каждую минуту жди ворчанья и оскорбления». Жалобы на новых хозяев, у которых приходится снимать угол, слышны почти в каждом письме. «На меня, как из мешка, сыплются камни ежечасных скорбей от дальних и лжебратий, и ближних — с кем я живу под одной крышей» (25 октября 1936 года). «За досчатой заборкой от моей каморки — день и ночь идет современная симфония — пьянка, драка, проклятия, рев бабий и ребячий, и все это покрывает доблестное радио. Я, бедный, все терплю» (осень 1936 года). Но его духовная жизнь не угасает и в этих невыносимых условиях («Все чаще и чаще захватывает дух мой неизглаголанная музыка»). В письмах Клюева последних лет — обилие цитат из Гомера, Феогнида, сектантских гимнов, не говоря уже об Евангелии.

Около середины 1937 года Клюев был вновь арестован и попал в Томскую тюрьму. О его последних днях известно мало. По поводу смерти Клюева бытуют две версии. Одна из них восходит к А. Н. Яр-Кравченко, который рассказывал, что в 1937 году получил от Клюева письмо, где поэт уведомлял своего младшего друга, что освободился и выезжает в Москву. На основании этих устных рассказов художника принято было считать, что Клюев умер на одной из станций Сибирской магистрали; при нем был якобы «чемодан с рукописями», который бесследно исчез. Повторенная Р. В. Ивановым-Разумником в его книге «Писательские судьбы» (Нью-Йорк, 1951), эта легенда получила широкое распространение.

Более достоверной представляется другая версия, согласно которой Клюев умер в Томской тюрьме. Имеется несколько косвенных подтверждений этому факту; приводим одно из них, наиболее яркое — воспоминания В. А. Баталина, филолога и врача, позднее — о. Всеволода, архимандрита. Мемуарные записи В. А. Баталина, сделанные им в начале 60-х годов, хранятся в собрании М. С. Лесмана (Ленинград).

«Осенью 1939 года,— вспоминал Баталин,— в звене з/к, работавших на прииске „Фролыч" Севвостлага (Колыма), в составе 2-х калмыцких поэтов — Манджиева Э. М. и Эренджиева Константина, одного грузина (как звали? — не помню) и меня, появился бывший сержант — паренек лет 23-х, только что поступивший в наш лагерь из Сиблага.

Калмыки ⟨...⟩ частенько просили меня читать им наизусть Пушкина, Блока, Ахматову и др. Очень любили в моем чтении стихи и поэмы Н. А. Клюева.

Когда я стал, помню, читать Клюева в присутствии нашего нового собрата по работе, парень оживился и сказал: „Такие же вот стихи читал у нас в камере в Томской тюрьме дед Никола. Он говорил, что он сам сочиняет стихи и известный поэт".— „Не *Клюев* ли?" — спросил я. И парень с радостью подтвердил, что фамилия „деда" была — похоже — *Клюев*, что он поступил в Томскую тюрьму из Новосибирской *весной 1938 г.* и что там он и умер во время припадка в тюремной бане, упавши с банной шайкой в руках и ударившись головой о каменную скамью. И что вынесли его из бани *уже мертвым*. Что было это в *сентябре — октябре 1938 года*.

Парень вспоминал, что Клюев называл себя другом Есенина, читал им в камере и есенинские стихи, пел былины, рассказывал смешные сказки».

К сожалению, точная дата смерти Клюева до настоящего времени не установлена.

«Миновав житейские версты, умереть, как золе в печурке, без малинового погоста...»,— писал Клюев в одном из стихотворений начала 20-х годов. Он словно предвидел свою безымянную смерть в далеком краю и могилу без креста и погоста. Его предсказания оказались пророческими.

Несколько пояснений к публикуемым ниже текстам.

Автобиографический отрывок представляет собой запись со слов Клюева, сделанную Н. И. Архиповым в Вытегре 6 января 1923 года; хранится в Государственном Литературном музее (Москва). Частично этот текст использован в статье: К. М. Азадовский. Раннее творчество Н. А. Клюева («Русская литература», 1975, № 3, с. 192). Сведения, которые сообщает о себе Клюев, не вполне достоверны; так, его одиннадцатимесячное пребывание в Выборгской крепости, пребывание в Харьковской тюрьме и Даньковском остроге не подкрепляются другими известными нам материалами.

Заявление Клюева в Союз писателей печатается по копии, находящейся в архиве К. М. Азадовского; копия сверена с другим экземпляром, хранящимся в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (имеются незначительные расхождения).

Письма Клюева к Н. Ф. Христофоровой хранятся в Рукописном отделе Пушкинского дома; несколько отрывков из них опубликованы в газете «Красное знамя» (Вытегра), 1985, № 125, 17 октября, стр. 4.

---

1. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТРЫВОК

Впервые сидел я в остроге 18 годов отроду, безусый, товенький, голосок с серебряной трещинкой.

Начальство почитало меня опасным и «тайным». Когда перевозили из острога в губернскую тюрьму [1], то заковали меня в вожные кандалы. Плакал я, на цепи свои глядя. Через годы память о них сердце мне гложет...

Когда пришел черед в солдаты идти, везли меня в Питер, почитай, 400 вер⟨ст⟩ от партии рекрутской особо, под строжайшим коивоем...

В Сен-Михеле, городок такой есть в Фивляидии [2], сдалв мевя в пехотную роту. Сам же про себя я порешил ве быть солдатом, не учиться убийству, как Христос велел и как мама мне завещала.

Стал я отказываться от пищи, не одевалсн и ие раздевался сам, силой меня взводные одевали; не брал я и винтовки в руки. На брань же и побои под миквтку, взглезь [3] во мордасам, во поджилкам врикладом молчал. Только вочью плакал на голых досках нар, так как постель у меня в наказание была отобрана. Сидел я в Сев-Михеле в военной тюрьме, в бывших шведских магазеях петровских времен. Лютo всвоминать про эту мерзлую каменную дыру, где вошь неусыпающая и дух гробвый...

Бедный н человек! Никто меня не вожалеет...

Сидел и и в Выборгской крепоств (в Финлявдии). Кревость построепв из дикого камня, столетиями ее век мервть. Одиннадцать месяцев в этом гранитном колодце я лязгал кандалами на руках в ногах...

Сидел я и в Харьковсков каторжной тюрьме в а Даньковском остроге (Рязанской губ.)... Кусок хлеба и ввсательская слава даром мне ве достались!

Бедный я человек!

---

[1] Из Вытегорского «острога» в Петрозаводскую «губернскую» тюрьму Клюева перевозили в 1906 году; ему шел тогда 22-й год.

[2] Ныне — город Мнккели.

[3] Т. е. вскользь *(обл.)*.

2. ЗАЯВЛЕНИЕ В СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

В Правление Всероссийского Союза Советских Писателей
поэта Николая Клюева

Заявление

На запрос Союза о самокритике моих последних произведений и о моем общественном поведении довожу до сведения Союза следующее:

Последним моим стихотворением является поэма «Деревня». Напечатана она в одном из виднейших журналов республики и прошедшая сквозь чрезвычайно строгий разбор нескольких редакций, подала повод обвинить меня в реакционной проповеди и кулацких настроениях. Говорить об этом можно без конца, но я, признаваясь, что в данном произведении есть хорошо рассчитанная мною как художником туманность и преотдаленность образов, необходимых для порождения в читателе множества сопоставлений и предположений, чистосердечно заверяю, что поэма «Деревня», не гремя победоносною медью, до последней глубины пронизана болью свирелей, рыдающих в русском красном ветре, в извечном вопле к солнцу наших нив и чернолесий. Свирели и жалкованья «Деревни» сгущены мною сознательно и родились из причин, о которых и буду говорить ниже, и из уверенности, что не только сплошное ура может убеждать врагов трудового народа в его правде и праве, но и признание им своих величайших жертв и язв неисчислимых, претерпеваемых за спасение мирового тела трудящегося человечества от власти желтого дьявола — капитала. Так доблестный воин не стыдится своих ран и пробоин на щите — его орлиные очи сквозь кровь и желчь видят

«На Дону вишневые хаты,
По Свири лодки из кедра»
(из поэмы «Деревня»).

Разумеется вишневые хаты и кедровые лодки выдвигаются мною не как абсолютная ценность и тем более не как проклятие благороднейшим явлениям цивилизации (радио, ученье об электронах и т. п.). Я двадцать пять лет в литературе, просвещенным и хорошо грамотным людям давно знаком мой облик как художника своих красок и в некотором роде туземной живописи. Это не бравое «так точно» царских молодцов, не их казарменные формы, а образами живущие во мне заветы Александрии, Корсуня, Киева, Новгорода от внуков Велесовых до Андрея Рублева, от Даниила Заточника до Посошкова, Фета, Сурикова, Бородина, Врубеля, и меньшого в шатре отца — Есенина. Если средиземные арфы живут в веках, если песни бедной, занесенной снегом Норвегии на крыльях полярных чаек разносятся по всему миру, то справедливо ли будет взять на финку берестяного сирина Скифии, единственная вина которого — его многопестрые колдовские свирели. Я принимаю и финку, и пулемет, если они служат сирину-искусству, но, жестоко критикуя себя за устремление связать свое творчество с корнями мировой культуры, я тем не менее отдам свои искреннейшие песни революции (конечно не поступаясь своеобразием красок и слова, чтобы не дать врагу повода обвинить меня в холопстве).

Первая часть «Деревни» — это дума исторического пахаря, строки же

«Объявится Иван третий
Попрать татарские плети»

скрывают за собой тот же смысл, что я слова в моем повестном стихотворении «Ленин» —

«То червой неволи басму
Попрала стопа Иоанна...»

Неуместная повышенность тона стихов «Деревни» становится понятной, если Правление Союза примет во внимание следующее: с опухшими ногами, буквально обливаясь слезами, я, в день создания злополучной поэмы, впервые в жизни вышел на улицу с протянутой рукой за милостыней. Стараясь не попадаться на глаза своим бесчисленным знакомым писателям, знаменитым артистам, художникам и ученым, на задворках Ситного рынка, смягчая свою боль образами потерянного избяного рая, сложил я свою «Деревню». Мое тогдашнее бытие голодной собаки определило и соответствующее сознание. В настоящее время я тяжко болен, целыми месяцами не выхожу из своего угла, и мое общественное поведение, если под ним подразумевать неучастие в собраниях, публичные выступления и т. п., объясняется моим тяжелым болезненным состоянием, внезапными обмороками и часто жестокой зависимостью от чужой тарелки супа и куска хлеба. Я дошел до последней степени отчаяния и знаю, что погружаюсь на дно Ситных рынков и страшного мира ночлежек, но это не мое общественное поведение, а только болезнь и нищета. Прилагаемый документ от Бюро медицинской экспертизы при сем прилагаю и усердно прошу Союз (не стараясь кого-либо разжалобить) не лишить меня последней радости умереть в единении со своими товарищами по искусству членом Всероссийского Союза *Советских* писателей [1].

Справедливость и русская поэзия будут Союзу благодарны.

С товарищеской преданностью

20 января 1932.

Николай Клюев

[1] На заседании Бюро секции поэтов от 9 января Клюев был выведен из ее состава. В ленинградской организации ВСП на 1 мая 1932 года Клюев не значится.

3. ПИСЬМА ИЗ НАРЫМА

Дорогая Надежда Федоровна!

После четырех месяцев тюремной и этапной агонии я чудом остался живым и, как после жестокого кораблекрушения, когда черная пучина ежеминутно грозила гибелью, и океан во всей своей лютой мощи разбивал о скалы корабль — жизнь мою — до верха нагруженный не контрабандой, нет, а только самоцветным грузом моих песен, любви, преданности и нежности, я выброшен наконец на берег! С ужасом, со слезами и терпкой болью во всем моем существе я оглядываюсь вокруг себя. Я в поселке Колпашев в Нарыме. Это бугор глины, усеянный почерневшими от непогод и бедствий избами. Косое подслеповатое солнце, дырявые вечные тучи, вечный ветер и внезапно налетающие с тысячеверстных окружных болот дожди. Мутная торфяная река Обь с вязкими ржавыми берегами, тысячелетия затопленными. Население — 80 % ссыльных — китайцев, сартов, экзотических кавказцев, украинцев, городская шпана, бывшие офицеры, студенты и безличные люди из разных концов нашей страны — все чужие друг другу и даже, и чаще всего, враждебные, все в поисках жранья, которого нет, ибо Колпашев давным-давно стал обглоданной костью. Вот он — знаменитый Нарым! — думаю я. И здесь мне суждено провести пять звериных темных лет без любимой и освежающей душу природы, без привета и дорогих людей, дыша парами преступлений и ненависти! И если бы не глубины святых созвездий и потоки слез, то жалким скрюченным трупом прибавилось бы в черных бездонных ямах ближнего болота. Сегодня под уродливой дуплистой сосной я нашел первые нарымские цветы, какие-то сизоватые и густо желтые,— бросился к ним с рыданием, прижал их к своим глазам, к сердцу, как единственных близких и не жестоких. Они благоухают, как песни Надежды Андреевны [1], напоминают аромат ее одежды и комнаты. Скажите ей об этом. Вот капля радости и улыбки сквозь слезы за все десять дней моей жизни в Колпашеве. Но безмерны сиротство и бесприютность, голод и свирепая нищета, которую я уже чувствую за плечами. Рубище, ужасающие видения страдании и смерти человеческой здесь никого не трогают. Все это — дело бытовое и слишком обычное. Я желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашеве. Недаром остяки говорят, что болотный черт родил Нарым грыжей. Но больше всего пугают меня люди, какие-то полунсы, люто голодные, безблагодатные и сумасшедшие от несчастий. Каким боком прилепиться к этим человекообразным, чтобы не погибнуть? Но гибель неизбежна. Я очень слаб, весь дрожу от истощения и от не дающего минуты отдохновения больного сердца, суставного ревматизма и ночных видений. Страшные темные посещения сменяются областью загробного мира. Я прошел уже восемь демонских застав, остается еще четыре, на которых я неизбежно буду обличен и воплющусь сам во тьму. И это ожидание леденит и лишает теплоты мое земное бытие. Я из тех, кто имеет уши, улавливающие звон березовой почки, когда она просыпается от зимнего сна. Где же теперь моя чуткость, мудрость и прозорливость? Я прошу Ваше сердце, оно обладает чудотворной способностью воздыхания. О, если бы можно было обнять Ваши ноги и облить их слезами! Сейчас за окном серый ливень, я навьючил на себя все лохмотья, какие только уцелели от тюремных воров. Что будет осенью и бесконечной 50-градусной зимой? Временно или навсегда, не знаю, я помещен в только что отстроенный дом, похожий на дачный и в котором жить можно только летом. Углы и конуры здесь на вес золота. Ссыльные своими руками роют ямы, землянки и живут в них, иногда по 15-ть человек в землянке. Попасть в такую человеческую кучу в стужу считается блаженством. Кто кончил срок и уезжает, тот продает землянку с печкой, с окном и жалкой утварью за 200—300 рублей. И для меня было бы спасением одному зарыться в такую кротовью нору, плакать и не на пинках закрыть глаза на веки. Если бы было можно продать мой ковер, картины или складни, то на зиму я бы грелся живым печужным огоньком. Но как это осуществить? Мне ничего не известно о своей квартире. Нельзя ли узнать и написать мне, что с нею сталось? Хоть бы спасти мои любимые большие складни, древние иконы и рукописные книги! Стол расписной, скамью резную и ковер один большой, другой шелковый, старинной черемисской работы, а также мои милые самовары! Остальное бы можно оставить на произвол судьбы. В комоде есть узел, где хранится плат моей матери, накосник и сорочка. Как это уберечь?! Все эти вещи заняли бы только полку в Вашем шкафу. Но что говорить об этом, когда самая жизнь положена на лезвие! Продуктов здесь нет никаких. Продавать съестное нет обычая. Или все до смешного дорого. Бутылка жидкого водяного молока стоит 3 руб. Пуд грубой, пополам с охвостьем муки 100 руб. Карась величиной с ладонь 3 руб. Про масло и про мясо здесь давно забыли. Хлеб не сеют, овощей тоже... Но что нелепей всего, так это то, что воз дров стоит 10 руб., в то время как кругом дремучая тайга. Три месяца дождей и ветров здесь считаются летом, до сентября, потом осень до Покрова, и внезапный мороз возвещает зиму. У меня нет никакой верхней одежды, я без шапки, без перчаток и пальто. На мне синяя бумазейная рубаха без пояса, тонкие бумажные брюки, уже ветхие. Остальное все украли шалманы в камере, где помещалось до ста человек народу, днем и ночью прибывающего и уходящего. Когда я ехал из Томска в Нарым, кто-то, видимо, узнавший меня, послал мне через конвоира ватную короткую курточку и желтые штиблеты, которые больно жмут ноги, но и за это и горячо благодарен. Так развертывается жизнь, так страдною тропою проходит душа. Не ищу

[1] Надежда Андреевна Обухова (1886—1961) — известная певица, народная артистка СССР. Была в дружеских отношениях с Клюевым, посвятившим ей стихотворение «Баюкало тебя райское древо» (30-е гг.).

славы человеческой, ищу лишь одного прощения. Простите меня, дальние и близкие! Всем, кому я согрубил или был неверен, чему подвержен всякий, от семени Адамова рожденный! Благословляю всякого за милостыню мне недостойному, ибо отныне я нищий и лишь милостыня — мое пропитание! Одна замечательная русская женщина мне говорила, что дорого мне обойдется моя пенсия, так и случилось, хотя я и не ждал такой скорой развязки. Но слава Богу за все! Насколько мне известно, расправа с моей музой произвела угнетающее действие на лучших людей нашей республики. Никто не верит в мои преступления, и это служит для меня утешением. Если будет милостыня от Вас, то пришлите мне чаю, сахару, если можно, то свиного шпику немного. Крупы манной и компоту — потому что здесь цынга от недостатка растительной пищи. Простите за указания, но иначе нельзя. Если можно, то белых сухарей, так как я пока еще очень слаб от тюремного черного пайка и воды, которыми я четыре месяца питался. Теперь у меня отрыжка и резь в животе, ломота в коленях и сильное головокружение, иногда со рвотой.

Получил от Н⟨адежды⟩ А⟨ндреевны⟩ 50 руб. по телег⟨рафу⟩ уже в Колпашев. Сердце мое озаряется счастьем от сознания, что русская блистательная артистка милосердием своим и благородством отображает «русских женщин» декабристов, «во глубину сибирских руд» несущих свет и милостыню. Да святится имя ее! Когда-нибудь в моей биографии чаша воды, поданная дружеской рукой, чтоб утолить алкание и печаль сосновой музы моей, будет дороже злата и топазия. Так говорят даже чужие холодные люди. Простите за многие ненужные Вам мои слова. Я знаю, что для Вас я только лишь страдающее живое существо и что Вам в Вашему милосердию я совершенно не нужен как культурная и тем более общественная ценность, но тем потрясающее и прекраснее Ваша простая человечность!

Простите, не осудите, и да будет ведомо Вашему сердцу, что если я жив сейчас, то главным образом надеждой на Вашу помощь, на Ваш подвиг доброты и милостыни. На золотых весах вечной справедливости Ваша глубокая человечность перевесит грехи многих. Кланяюсь Вам земно. Плачу в ладони рук Ваших с истинной преданностью, любовью и обожанием, которые всегда жили в моем духе, и только дьявольский соблазн и самая трепетная глубокая забота не причинить Вам горя на время отдалили внешне меня от Вас — в Москве. Жадно и горячо буду ждать от Вас письма. Кланяюсь всем, кто пожалеет меня в моем поистине чудовищном несчастии.

Если бы удалось зажить своей землянкой, то было бы больше покоя для души моей, а главное чужие глаза не видели б моего страдания. Что слышно в Москве про меня? Возможны ли какие-либо надежды? Нужно торопиться с хлопотами, пока не поздно. Я подавал из Томска Калинину заявление о помиловании, но какого-либо отклика не дождался. Не знаю, было ли оно и переслано. Еще раз прощайте! Еще раз примите слезы мои и благословения. Земно кланяюсь Анат⟨олию⟩ Ник⟨олаевичу⟩ [1], милым вашим комнатам с таким ласковым диваном, на котором я спал! Где будете летом и где будет Н⟨адежда⟩ А⟨ндреевна⟩?

Адрес: Север⟨о⟩-Запад⟨ная⟩ Сибирь, поселок Колпашев. До востребования такому-то.

10 июня 1934 г.

28 июля 1934 г.

Дорогая Надежда Федоровна!

Получил Ваши посылки, как бы из другого мира гостинцы. Такой сказкой пахнуло мне в душу от милых вещей, ведь они пришли из Москвы, с Голутвинского переулка, где меня любили и где я видел столько ласки и внимания, и только мучительные и безобразные условия, в которые я был поставлен за последний год, разлучили меня с ним. Но все к лучшему. Ваши сердечные прямые слова как корпия на мои раны. Умоляю Вас о письме. Каждое Ваше слово и пью как липовый мед. Так мне никто не скажет. Я очень обрадован, что для Вас понятна моя чисто внешняя неискренность, я очень страдал за это не присущее мне по природе свойство, но я попробовал раз в жизни обыграть черта в карты — теперь познал, что для этого я не гожусь. Сколько труда было Вам с посылками! Как трогательны клубки с шерстью! Облил я их слезами. Два платочка с голубыми каемочками — благодарю за них, через все я общаюсь с дорогими мне людьми и вот уже три дня как будто гощу у Вас, вижу Ваши милые комнаты, где столько пережито мною чистых чувств, слов и видений. Я готов оставить Нарыму руку или ногу, как медведь капкану, только бы ухватиться за порог Вашего жилища и рыдать благодарно, как может благодарить человек, снятый с колеса! Вечные очи любви и звезды небесные — порука за мою искренность и благодарность. Над⟨ежде⟩ Андр⟨еевне⟩ я написал письмо и в Москву, и на Кавказ. Горькому, думаю, напрасно писать. У него есть секретарь Крючков [2], который мое письмо непременно затормозит. Нужно письмо вручить лично и поговорить. Горький всю жизнь относится ко мне хорошо, я крепко надеюсь, что и теперь он не изменился ко мне. Ведь поэт Павел Васильев [1], которого он поучает и отчевает письмами в печати на его, Васильева, письма, только мой младший ученик в искусстве. Квартира моя еще в июне была запечатана. Послал доверенность, заверенную официально, не знаю, что будет. У меня ведь все вещи-то на любителя и для ширпотреба не годятся. Если продать, наприм⟨ер⟩, ковер или древние складни, то я хотя бы сколько-нибудь смягчил Ваше беспокойство обо мне и о моем куске хлеба. Ах, если бы удалось это! Недавно я получил сообщение, что мне разрешено печататься везде, где пожелаю, дело лишь за созвучными с нашей эпохой произведениями. Но не оставляйте меня! Время свое покажет. Вот идет полярная зима, уже тянет из тундры изморозью по вечерам, а я ведь только что перенес воспаление легких, очень слаб, говорю и глухо кашляю, если к этому прибавить старинную болезнь сердца, общий ревматизм и болезнь сосудистой ткани, то хлопотать обо мне долго не придется. Напишите, как живете? Что нового в искусстве Миши? Окончил ли он своего Сирина? Жалеет ли меня? [2] В Колпашеве театра нет. Хотя часто сердце щемит от необходимости побывать в нем, но приходится убаюкивать себя прошлыми видениями. Интересных людей и не вижу. Иногда мне на улице кланяются незнакомые, но я ни с кем из ссыльных не схожусь. Слишком уж кровоточит душа, чтобы с кем-либо чужим сходиться! Местное начальство относится ко мне хорошо. Внешне никто меня пока не обижает и не шпыняет. Начальник здешнего ГПУ прямо замечательный человек и подлинный коммунар. Всякий день варю суп из присланной ветчины, приправляю манной крупой, картофелем и луком. Очень вкусно. От Толи [3] получил письмо, обещает посылку, но что он может, когда сам еще учится, и все, что и имел в Москве, отсылал ему в Питер. Он переведен в третий индивидуальный класс. Читал о нем статью в журнале — называется «Большие горизонты». Мне очень приятно, что мой посев принес в лице этого юноши пока еще цветы, а в будущем быть может и плоды. Его последняя живописная работа: «Портрет Зощенко» очень хорош — помещен в журнале и прислан мне. У Толи уже жена — очень видная и красивая женщина, что будет дальше — покажет время. Сейчас за окном ливень, и по обыкновению серое нарымско⟨е⟩ небо. На столе у меня букет лесных цветов в глиняном горшке. Цветы здесь задумчивые, все больше лиловые, покрытые пухом, как шубой. Это они защищены от холодных утренников. Недавно был на жалком местном кладбище — все песчаные бугорки, даже без дерна, без оградок и даже без крестов. Здесь место вечного покоя отмечают поостяцки — колом. Я долго стоял под кедром и умывался слезами: «Вот такой кол, думал я, вобьют и в мою могилу случайные холодные руки». Ведь братья-писатели слишком заняты собой и своей славой, чтобы удосужиться поставить на моей могиле голубец, которым я давно себя утешал, и многим говорил о том, чтобы надо мной поставили голубец. Простираюсь к Вам сердцем своим. Земно кланяюсь. Простите меня за все вольное в невольное, за слово, за дело, за помышление. Желаю Вам жизни, света и крепости душевной. Передайте от меня поклон всем, кто знает меня или спросит обо мне. Еще очень важная просьба к Вам. Мне необходимо получить мед-свидетельство от профессора Плетнева [4] с приложением печати и его подписью, что я болен кардиосклерозом, артериосклерозом и склерозом мозговых сосудов. Что даст мне право на инвалидность второй группы. Это может облегчить мое положение. На основании такого документа я могу смелей идти на комиссию, и она, я уверен, примет к сведению то, что меня лечил Плетнев и удостоверил документом. Я могу быть переведен в лучшие условия, где есть специальное по моей болезни лечение. Потрудитесь. Поговорите об этом с Над⟨еждой⟩ Андреев⟨ной⟩. Она хорошо знает Плетнева, и он ее выслушает, а сам я, хотя и лечился у него, но забыл адрес, чтобы просить о свидетельстве письмом. Повторяю: это очень может мне помочь. Многие по инвалидности второй группы совершенно освобождались. Мое свидетельство, выданное Бюро врачебной экспертизы, осталось в Москве в квартире. Его даже обещались мне добыть, но это не наверно. Простите. Прощайте! Жизнь Вам и свет. Еще раз прошу о письме и милостыне.

Н. Клюев.

Дорогая Надежда Федоровна.

Кланяюсь Вам земным поклоном, приветствую от всей крови сердечной, преисполняясь глубокой преданностью и благодарностью за Ваше милосердие ко мне недостойному. Под хмурым нарымским небом, под неустанным воющим болотным ветром, в сизое утро и в осенние косматые ночи — простираюсь к Вам душой своей и, умываясь слезами, вызываю перед внутренним своим зрением все дни и часы, прожитые мною в общении с Вами. Какой великий смысл в них, во днях чистоты и в часах святых слов и благоуханных мечтаний! Но все как сон волшебный. Я в жестокой нарымской ссылке. Это ужасное событие исполняется на мне в полной мере. За оконцем остяцкой избы, где преклонила голову моя узорная славянская муза, давно крутится снег, за ним чернеет и гудит река Обь, по которой изредка проползает пароход — единственный вестник о том, что где-

---

[1] Анатолий Николаевич Садомов (1884—1942) — солист Большого театра, муж Н. Ф. Христофоровой. «Был на „Пиковой даме" в Большом. Слушал Садомова в Томском — очень ярок и большой мастер — красивый гусар»,— писал Клюев А. Н. Яр-Кравченко осенью 1931 года. «Был в опере, слушал Садомова — великолепен и необычайно сочен» (ему же, 12 октября 1931 года). Позднее Клюев подарил А. Н. Садомову свою книгу «Изба и поле» с дарственной надписью: «Светлому русскому артисту Анатолию Николаевичу Садомову ларец песенных самоцветов преподношу в благодарность за хлеб соль в черные дни моей жизни! Н. Клюев. (Милосердие и русская поэзия будут Вам благодарны). 1932 г. Москва» (Рукописный отдел Пушкинского дома).

[2] Петр Петрович Крючков (1889—1938) — писатель; с середины 20-х гг.— секретарь Горького.

[1] Павел Николаевич Васильев (1910—1937) — известный советский поэт; в начале 30-х гг.— близкий знакомый Клюева.

[2] По словам Н. Ф. Христофоровой, здесь имеется в виду художник Михаил Дмитриевич Егоров (1883—?).

[3] То есть А. Н. Яр-Кравченко (1911—1983).

[4] Дмитрий Дмитриевич Плетнев (1873—1941) — известный врач-терапевт, впоследствии осужденный и расстрелянный как «враг народа».

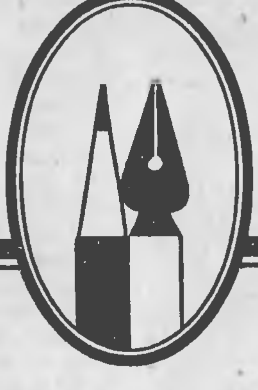
то есть иной мир, люди, а быть может и привет с родным гнездом. Едкая слезная соль разъедает глаза, когда я провожаю глазами пароход: «Прощай! Скажи своим свистом и паром живым людям, что поэт великой страны, ее красоты и судьбы, остается на долгую волчью зиму в заточении — и быть может не увидит новой весны!» Мое здоровье весьма плохое. Средств для жизни, конечно, никаких, свирепо голодаю, из угла гонят и могут выгнать на снег, если почуют, что я не могу за него уплатить. Н⟨адежда⟩ А⟨ндреевна⟩ прислала месяц назад 30 руб. Это единственная помощь за последнее время.— Что же дальше? Близкий человек Толя не имеет ничего кроме ученической субсидии. Квартира запечатана и трудно чего-либо добиться положительного о моем жалком имуществе, правда, есть из Москвы письмо с описанием впечатлений от съезда писателей. Оказывается, на съезде писателей упорно ходили слухи, что мое положение должно измениться к лучшему и что будто бы Горький стоит за это. Но слухи остаются в воздухе, а я неизбежно и точно, как часы на морозе, замираю кровью, сердцем, дыханием. Увы! для писательской публики, занятой лишь саморекламой и самолюбованием, я не ощутим как страдающее живое существо, в лучшем случае я для нее — лишь повод для ядовитых разговоров и ведовольства — никому и в голову не приходит подать мне кусок хлеба. Такова моя судьба как русского художника, так и живого человека. И вновь и снова я умолию о помощи, о милостыне. С двадцатых чисел октября пароходы встанут. Остается помощь по одному телеграфу. Пока не закует мороз рек и болот — почта не ходит. Я писал Ник⟨олаю⟩ Семен⟨овичу⟩ [1]. Ответа нет. Да и вообще мне в силу условий ссылки — почти невозможно списаться с кем-либо из больших и известных людей. К этому есть препятствия. Вот почему я прошу переговорить с ними лично. В первую очередь о куске насущном, а потом о дальнейшем спасении. Посоветуйтесь с Н. Г. Чулковой [2], она поговорит со своим мужем и т. д. Как отнесется Антонина Васил⟨ьевна⟩ Нежданова? Она может посоветоваться со Станиславским, а он в свою очередь с Горьким. Нужно известить Веру Фигнер — ее выслушает Крупская и конечно посоветует самое дельное. Очень бы не мешало поставить в известность профес⟨сора⟩ Павлова в Ленинграде, он меня весьма ценит [3]. Конечно, все это не по телефону, а только лично или особым письмом. Еще раз извещаю Вас, что Ваши три посылки я получил в целости и, как это ни тяжело, и вынужден просить Вас не оставить меня милостыней, хотя бы первое время — если возможно телеграфом. Простите. Прощайте и благословите.

5 октября ⟨19⟩34 г.

Публикация и примечания **К. М. АЗАДОВСКОГО**

[1] Имеется в виду Николай Семенович Голованов.
[2] Надежда Григорьевна Чулкова (1874—1961) — переводчица, жена писателя Г. И. Чулкова.
[3] Имеется в виду Иван Петрович Павлов (1849—1936) — известный ученый-физиолог.

Седьмая тетрадь



Родом из детства

Галина КУЗЬМИНЫХ

НИЗВЕРЖЕНИЕ КУМИРА

Год моего рождения — 1937. Сколько помню себя, над кроватью, где спали мы с сестрой, всегда висел портрет Сталина. С этим Именем я засыпала, давая мысленное обещание быть достойной пионеркой, с этим Именем и просыпалась.

Если случалась в школе оценка «посредственно», жгучий стыд терзал меня, я с трудом поднимала на Него глаза и видела презрительный прищур: Он осуждал.

Сегодня это может показаться чем-то вроде душевной болезни. Но это — сегодня...

Ни одного урока не проходило без упоминания имени Сталина, а песню со словами:

Сталин — наша слава боевая,
Сталин — нашей юности полет! —

мы исполняли, как клятву. На каждом пионерском сборе скандировали: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». И хотя я не помню в своем детстве дня, когда бы меня не мучил голод, эти слова произносила от чистого сердца, с огромной любовью к Нему. И что бы ни делала, я верила: Он видит и слышит меня...

Нас в семье было трое. Мама Екатерина Федоровна (учительница математики), сестра Людмила и я.

Это сейчас я понимаю, почему мама даже не пыталась развенчать в наших глазах миф о Сталине. Она боялась. Не за себя — за нас.

Отца забрали в декабре 1937-го, когда мне было одиннадцать месяцев, а сестре около двух лет. Маму всю жизнь мучил страх: что будет с нами, если заберут и ее? Наскоро собравшись, она увезла нас из сибирского города Ленинска-Кузнецкого к своим родным в Поволжье.

Когда впервые я узнала правду об отце? Наверное, в первом классе: у всех были папы, а у меня не было. Я поинтересовалась у мамы, и она очень осторожно рассказала, что папу оклеветали плохие люди, он в тюрьме, но ни в чем не виноват, и скоро товарищ Сталин разберется в его деле, только об этом никому пока нельзя говорить.

Видимо, и тут имя Сталина заслонило для меня страшную трагедию семьи. Я никогда больше не спрашивала об отце, чьим «делом» занимается самый справедливый, самый великий человек на свете.

Когда я училась в пятом классе, мы вернулись в Сибирь к папиным родным, так как в Поволжье жилось очень голодно.

Здесь моя детская психика получила первое испытание.

Я готовилась к праздничному утреннику, декламировала стихи о вожде. Голос мой дрожал от обожания, я была на седьмом небе от счастья. Вошла бабушка (мать отца). Всегда такая ласковая со мной, она вдруг буквально прошипела:

— Не будь фанатичкой, как мать! Она носится со своей правдой — и ты туда же! Кого ты прославляешь? Изверга! Он отца твоего сгноил в тюрьме, этот рыжий идол...

Я бы закричала, но пол начал уходить из-под ног, и, видимо, я упала. Когда пришла в себя, то удивилась, что жива, что потолок не обрушился и не придавил нас с бабушкой.

В этот вечер за столом взрослые не разговаривали. А я перед сном пообещала вождю, что никогда больше не позволю бабушке ничего подобного. Обещание я выполнила. Теперь я была начеку. И стоило бабушке начать издалека атаку, я затыкала уши, кричала: «Не смейте! Я вас не слушаю!» — и убегала из дома.

Осенью 1952 года я получила возможность еще раз убедиться в величии и справедливости вождя. Сестра Людмила после успешного окончания поселковой средней школы отправила документы в Казанский авиационный институт. Она с детства мечтала быть летчицей, как Валерий Чкалов, затем эта мечта переросла в твердое намерение стать инженером авиации.

Прошел июнь, близился к концу август, а из института — ни слуху, ни духу. Людмила решила ехать без вызова. Собрали мы ее, как смогли,— в одной руке чемодан с учебниками и пожитками, в другой авоська с продуктами — и отправили в Казань. Телеграмму о прибытии мы получили, а затем — молчок. Мама старалась быть мужественной, но я видела, как она страдает. И вдруг приходит от сестры открытка с просьбой не расстраиваться, так как она едет домой. Подробности обещала рассказать при встрече.

Вернулась она какая-то вся поникшая, даже улыбаться вроде бы разучилась, хотя мы с ней отличались веселым нравом. Оказывается, в приемной комиссии на вопрос сестры: «Почему вы не послали мне вызов?» — сначала растерялись, а потом объяснили, что есть установка — детей репрессированных родителей в авиационные институты не принимать.

— Почему же вы не предупредили, я бы не поехала напрасно...

— А мы подумали, что вы без вызова не решитесь поехать в такую даль.

Поскольку Людмила с подачей документов в другие вузы опоздала, она добилась приема у директора Казанского авиаинститута и попросила разрешения сдать вступительные экзамены здесь, а потом покинуть эти стены. Разрешение было получено, сестра прекрасно сдала экзамены, выдержала конкурс, забрала документы и вернулась домой.

— Вот она, твоя правда,— сказала бабушка.— Если бы Милочка не написала об отце, уже была бы студенткой...

В эту ночь мама не спала, она писала письмо в ЦК партии. А я впервые увидела, как она, «твердокаменная», плачет.

Письмо я не читала, но знала со слов мамы, что она в нем напомнила о статье Сталина, где он говорил, что дети за родителей не отвечают. И вот однажды, кажется, это было в начале октября, нам вручили телеграмму следующего содержания: «Манчук Людмиле немедленно выехать в Казанский авиационный институт и приступить к занятиям».

В этот день я второй раз видела маму плачущей, но то были слезы счастья. А я подошла к Его портрету и одними губами прошептала: «Спасибо». Прищуренные глаза улыбались мне...

– Помню урок истории. Учительница Мария Родионовна, волевая, знающая предмет, умела увлечь и нас. На том уроке она назвала Сталина корифеем наук, как, впрочем, его называли тогда повсеместно. И тут вдруг Миша Макаров (самый красивый мальчик в нашем классе) задал ей вопрос:

— Мария Родионовна, а разве можно товарища Сталина называть корифеем наук? По-моему, корифей — это ученый в какой-либо области. Например, Менделеев в химии, Ньютон — в физике. Неужели товарищ Сталин знает все науки одинаково хорошо?

— Да! — отрезала учительница.— Товарищ Сталин — корифей во всех областях наук.

Я бросила презрительный взгляд на Мишку...

Март 1953 года. Умер СТАЛИН. Это было вторым страшным ударом по моей психике. Несколько дней я была в состоянии прострации. Но не плакала: в нашей семье вообще плакать считалось непростительной слабостью. Не хотелось жить. Просто не верилось в возможность жить без Него.

Помню: лежу ночью с открытыми глазами. Рядом мама.

— Мама, почему Он умер! Разве нельзя было сделать так, чтобы Он никогда не умирал?

— Девочка моя, все люди рано или поздно умирают.

— Все, но не Он! Не Он! Не Он!

— Но ведь он тоже человек, а люди смертны...

Как мучительно было это осознание реальности... Я заплакала. Горько. Безутешно. Мама тихо гладила меня по волосам. Впервые за долгие часы я уснула крепким сном...

Не помню точно год, кажется, в 1956-м, нас, студентов, собрали в актовом зале и прочли закрытое письмо ЦК о культе личности Сталина. Этот удар был страшнее первых двух. Я слушала, но сознание не воспринимало того, что говорилось с трибуны. Меня бил озноб. Плохо соображая, я вышла из зала в бурлящей студенческой толпе и пошла куда глаза глядят.

Мне было девятнадцать, а жизнь казалась оконченной. Зачем жить, если самое главное, что давало силы переносить голод, холод, обиды, казалось обманом...

Очнулась оттого, что какой-то мужчина взял меня за плечи и сказал:

— Доченька, не надо этого делать. Ты еще такая молодая, все образуется.

Тут я поняла, что стою на самом краю перрона, а как пришла на вокзал — не помню.

Но это было еще не все.

Летом 1957 года маму вызвали в прокуратуру. Там сообщили, что отец скончался в тюрьме 8 апреля 1945 года, что он посмертно реабилитирован и что маме до конца дней государство определило пенсию в размере зарплаты отца. Мама решила перевести пенсию на бабушку, чтобы хоть как-то скрасить горе матери, потерявшей сына. Мы поехали в гороно для переоформления документов. И тут случилось неожиданное. Нас окружили какие-то старички и старушки. Запричитали. Заохали:

— Ах, это же дочка Александра Ивановича! Как похожа!

— А знаете, какой кристальной души человек был ваш папа!

— Как он рисовал! Как лепил из снега!

— Настоящий скульптор!

— А как играл на скрипке!

— На пианино, на мандолине! А какие прекрасные стихи писал!

— Удивительно одаренный был человек!

Я впервые столько сразу услышала об отце. Он вставал передо мной живым укором: я — его плоть и кровь — совершенно ничего не знала о нем, а ведь он жил! Он жил! Он смеялся и страдал! И вот — безвинно осужден и уничтожен...

Со мной случилась первая (и единственная) в жизни истерика. Я ничего не могла с собой поделать. Разревелась, выскочила во двор, упала на скамейку и дала волю чувствам. Мама пыталась меня успокоить, но я лишь выкрикивала сквозь рыдания:

— Почему они об этом говорят лишь сейчас?! Где они были тогда?! Почему молчали?!

В этот вечер я потребовала рассказать мне всю (всю!) правду об отце.

Мой отец — Манчук Александр Иванович — преподавал в школе русский язык и литературу. Одаренный от природы, он умел и любил дарить радость другим. На переменах по первому снегу он выбегал с учениками во двор и лепил не снеговиков, а скульптуры великих людей. Многие фотографии этих скульптур пропали при обыске, но некоторые уцелели. Чудом сохранился альбом с папиными стихами — вырезками из газет, где он печатался. Осталось несколько фотографий с его картин.

Когда за отцом пришли, он был спокоен. Будучи сам человеком честным, он искренне верил в справедливость.

— Не волнуйся, Катя, я скоро вернусь. Пока жив Сталин, ни один волос не упадет с головы невинного человека,— последние слова отца.

А на следующий день при обыске в нашем доме нашли старый сепаратор, и маму арестовали как укрывательницу неизвестного оружия. Правда, с этой нелепицей разобрались быстро, маму освободили, но с момента ареста отца к ней обращались только официально: «гражданка»...

В ночь ареста папы мама сгоряча написала Сталину письмо, где назвала его



Портрет Т. Г. Шевченко, вылепленный А. И. Манчуком из снега

«кровавым тираном», чьим именем когда-нибудь матери «будут пугать своих детей». А когда опустила письмо в почтовый ящик, одумалась, но... С этого момента и поселился в ней вечный страх за детей. А еще она боялась показать кому-либо эту свою слабость. Даже самые близкие люди считали маму волевой, несгибаемой женщиной.

После ареста папы в школе, где он работал, было устроено судилище. Вызвали и младшую папину сестру Валю, потребовали, чтобы она отреклась от «врага народа». Тетя Валя (сейчас она на пенсии, живет в Томске) сказала:

— Мой брат никогда не был врагом народа. Даже под пытками я не отрекусь от него.

После этого ей пришлось расстаться и со школой и с комсомолом. Она уехала в другой город, там поселилась на чьей-то квартире, там и окончила среднюю школу. Ее жизнь, как и жизнь моей матери,— это целые повести, о них не расскажешь в двух словах.

Мама пронесла любовь к отцу через всю свою жизнь. (Два года назад она скончалась.)

Когда ей сообщили о посмертной реабилитации мужа, она поинтересовалась, какова мотивировка ареста, и поразилась услышанному. Оказывается, отца сгубил его же талант. Однажды они с учениками вылепили скульптуру Сталина, а собачка подбежала и подняла ножку на вождя.

Правда, в области поняли всю нелепость подобного обвинения и поэтому инкриминировали отцу... подготовку восстания против Советской власти.

Рассказывая, мама доставала из сумочки записки отца в роддом, и я читала теплые слова о себе, целовала пожелтевшую бумагу и плакала. Плакала от счастья, что у меня был такой прекрасный отец; плакала от горя, что я так поздно узнала об этом. В этот вечер кумир умер для меня навсегда. Я просила прощения у мертвого отца, я просила прощения у живой еще бабушки. Душа освободилась от чего-то душного, темного.

На этом бы поставить точку, но...

Но мне еще раз пришлось встретиться с прошлым — в 1959 году. Мы приехали на преддипломную практику в Москву и, естественно, захотели посетить Мавзолей. Те, кто бывал там, рассказывали, что Ленин смотрится живым. Отстояли очередь. Вошли. И я увидела... Сталина. И больше — никого! Я стукнулась обо что-то лбом. Какой-то гипноз овладел мною. Я не могла оторвать глаз от этого человека. Мозг било, словно током: «Вот он. Страшный. Жестокий. Человеконенавистник». Я видела короткие пальцы в рыжих волосиках, и мне казалось — на них кровь. Я, наверное, затормозила всё движение, потому что кто-то осторожно взял меня под руки и стал выводить. Я слышала шепот:

— Осторожно. Спускайтесь.

Я двигалась, будто сомнамбула, а взгляд мой был прикован к Сталину. Даже мертвый он казался страшным, он обладал еще какой-то магической силой. Наваждение медленно покидало меня...

Вот и все. Потом я очень сожалела, что так и не увидела Ленина, а больше как-то не представилось возможности побывать в Мавзолее...

И это история не только моей жизни, а тысяч моих сверстников.

Совсем недавно. Совсем давно

А. АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО

КИНОФИЛЬМ «ПОКАЯНИЕ» И СЕМЬЯ ОРАХЕЛАШВИЛИ

О том, что пережила эта женщина в «годы культа», Тенгиз Абуладзе узнал намного раньше, чем у него возник замысел фильма «Покаяние». Ежедневный его маршрут на тбилисскую студию пролегал по улицам Мамии Орахелашвили, Евгения Микеладзе, Сандро Ахметели. Но и спустя годы, когда работа над фильмом была уже закончена, режиссер вновь и вновь встречался с Кетеван Орахелашвили, расспрашивал, вспоминал, думал.

Детство Кетеван пришлось на послереволюционное время. Ее отец, Мамия Дмитриевич Орахелашвили, в прошлом врач, большевик-подпольщик, возглавлял тогда правительство и парторганизацию Закавказья, а мать, Мария Платоновна, была наркомом просвещения Грузии.

Потом Сталин отдал Закавказье Берии: в те годы «гений и благодетель» особо ревностно насаждал на командные посты псов, что поверней. Пришла пора выбирать между порядочностью и благополучием — эти понятия отныне друг друга исключали. Черта, разделившая их, разделила и людей — на «народ» и «врагов»: как все тираны, Сталин разделял, чтобы властвовать.

У Берии, именовавшего себя «железным стражем Кавказа», Орахелашвили стояли поперек дороги. Мария Платоновна, достаточно наслышанная о темном прошлом сталинского фаворита, требовала поднять архивы, дознаться, какая все-таки организация принимала в партию «знаменитого чекиста». Как-то Берия проезжал мимо дома Орахелашвили и, заметив у подъезда юную Кетеван, остановил машину, вышел и заговорил с ней. Мать, как раз возвращавшаяся домой, выговорила дочери:

— Кетуся, зачем ты разговариваешь с этой жабой?

А когда однажды на заседании Пленума ЦК Компартии Грузии Берия, к тому времени уже первый секретарь, затевая очередную травлю, устроил разнос одному работнику аппарата, не успевшему в срок выполнить задание, и пообещал расправиться с ним по-своему, в давящей тишине зала прозвучал одинокий возглас Марии Платоновны:

— Послушайте, Берия, здесь вам не че-ка, здесь цэ-ка!

Характер человека — это его судьба; древняя мудрость была в те годы как никогда верной. Ибо прямота, с какой стоял вопрос — порядочность или благополучие, — была убийственной в самом буквальном смысле слова. В 1937 году Мамия Орахелашвили был объявлен врагом народа, арестован и убит — он не вынес пыток. Марию Платоновну всякий раз после допросов кидали в камеру окровавленную, без сознания. И вот настал день, когда тюремщик дал ей взглянуть на себя в осколок зеркала. Увидев чужое изуродованное лицо, редкие клочки слипшихся седых волос, она упала в обморок. Ее выволокли в коридор и тут же, у двери камеры, застрелили.



Мамия Орахелашвили

Кетеван, тогда уже мать двоих детей, отправили в концлагерь. С момента ареста она ничего не знала о судьбе родных. Она не знала, что ее мужа Евгения Микеладзе, главного дирижера Театра оперы и балета имени Захария Палиашвили, замучили в тюрьме. По приказу Берии его арестовали прямо в театре, после триумфального завершения премьеры — во фраке, с цветами в руках. В Грузии рассказывают, будто следователь, узнав, что Микеладзе музыкант, проколол ему гвоздями барабанные перепонки... Может быть, это легенда. Но какой же была явь, если подобные легенды вообще могли родиться? Если нельзя даже измыслить зверства, про которое смело можно было бы сказать: нет, такого быть не могло, это уже слишком!.. Если судьбу семьи Орахелашвили, при всей ее трагичности, мы не можем назвать хоть сколько-нибудь из ряда вон выходящей?

Кетеван освободилась из лагеря в 1955 году. Приехав в Москву, сразу позвонила Анастасу Микояну. Он уже активно помогал Хрущеву в кампании реабилитации. Во всяком случае, со стороны это выглядело так. Только чтобы пробиться к нему на прием, понадобилась помощь вдовы Орджоникидзе.

Годы сталинского правления не выработали у Кетеван привычки вытягиваться в струнку перед чиновниками госаппарата. На приеме у Микояна она первым делом потребовала объяснений, почему начальник его канцелярии Барабанов взашей гонит из Кремля бывших лагерников и их родственников, добивающихся правды. Микоян поспешил переменить тему беседы:

— Если б я встретил тебя на улице, то не узнал бы,— искренне подивился он.

— Да неужто? Всего каких-то восемнадцать лет... А вас не удивляет, что я вообще жива осталась?

— Подумать только, каким мерзавцем оказался Берия! — сказал Микоян.

— Я об этом знаю с тех пор, как себя помню...

В Москве Кетеван поселилась у вдовы Орджоникидзе, Зинаиды Гавриловны. В кабинете Серго все сохранилось так, как было в день его самоубийства. На письменном столе — календарь, раскрытый на дате 17 февраля 1937 года, ручка, которой писал нарком за час до гибели. На стене — портрет Сталина.

— А этого выродка зачем здесь оставили? — побледнела Кетеван.

— Что ты! — испуганно замахала руками Зинаида Гавриловна.— Молчи, а то услышат...

В сентябре 1955 года Кетеван присутствовала в Доме культуры железнодорожников — судили бериевских подручных. И только теперь она узнала подробности гибели



Слева направо: Надежда Аллилуева, Кетеван Орахелашвили, Мамия Орахелашвили (стоит), Мария Орахелашвили, Авель Енукидзе. Фото 1927 года

родных... Она держалась все девять дней суда и лишь однажды упала в обморок — когда Генеральный прокурор зачитал письмо сына Нестора Лакобы. Мальчика отправили в лагерь, и он обратился к «дяде Лаврентию» с просьбой перевести его в другой, где он мог бы закончить школу. Через две недели его вывели из барака и расстреляли на виду у всех заключенных...



Кетеван Орахелашвили (Микеладзе)

В фильме «Покаяние» Кетеван Баратели зарабатывает на жизнь тем, что выпекает торты. Этот образ режиссер лепил с Кетеван Орахелашвили: вернувшись после каторги в родной Тбилиси, она была вынуждена выпекать торты: надо было как-то существовать...

Шли годы. Та кампания реабилитации оказалась, к сожалению, всего-навсего кампанией. На фасаде дома, где жил Мамия Орахелашвили с семьей, установили две мемориальные доски. Одну — в память о Мамии. Другую — о бериевском палаче Э. Бедии, погибшем от руки своего шефа... По распоряжению какого высокого чина было это сделано? И не этот ли чин в 60-е годы, кипя праведным гневом, осуждал с газетных страниц западногерманских неофашистов, рисующих свастики на могилах гитлеровских жертв? Незадолго до смерти Кетеван, оскорбленная кощунственным соседством этих двух досок, говорила:

— Пусть уж снимут имя моего отца, лишь бы оно не стояло рядом с именем палача...

Позорные страницы были в истории всех народов. У иных — сто, двести, триста лет назад. У нас они на памяти. Но не вдесятеро ли больший позор — упорствовать в своем позоре, замалчивать его? Остались еще улицы и города, носящие имена преступников...

Позор перестает быть позором лишь после покаяния, когда открыта вся правда и порок громогласно осужден. У нас этот процесс только-только начался,— но ведь «об одном кающемся больше, чем о десяти праведных, радости на небесах». Лишь пройдя через покаяние, мы сможем вспоминать сталинский и брежневский периоды — с горечью, с болью, но без стыда.

С. ЛУРЬЕ

ИЗ БУМАГ Л. ПАНТЕЛЕЕВА

Был — и есть, и долго еще будет — писатель Л. Пантелеев, автор многих произведений, нравящихся почти всем детям и наиболее грустным взрослым.

Был Алексей Иванович Еремеев — замкнутый, молчаливый, высокомерно-отчужденный человек в дымчатых очках, иногда — очень редко — появлявшийся на писательских собраниях.

Был Алексей Иванович — хрупкий, беловолосый восьмидесятилетний мальчик с беззащитным взглядом и ясным строгим голосом. Приходить к нему в гости полагалось не ранее десяти часов вечера; примерно с часу ночи до рассвета он работал — один в пустой — опустелой — квартире. Ложился утром, принимал снотворное. Болезнь и память роковых утрат точили его.

А еще в нем горела — ровно и яростно — жажда справедливости. Он помнил все, что случилось с ним в жизни и в литературе; помнил, кто кого предал; за себя и за других, живых и мертвых, он не простил никому ни единого лживого слова. Он благотворил несчастным и гонимым, заступался за преследуемых. Об этом почти никто не знал. Он стоял на посту — один, в темноте, и понимал, что никто не сменит, и что это не игра. У него было чувство чести.

Публикуемые три документа из архива Л. Пантелеева почти не нуждаются в комментариях. Замечу только, что копия определения Верховного суда по делу А. И. Солженицына (недавно подлинник этого документа заново открыл молодой историк Д. Юрасов), получена, по-видимому, от А. Т. Твардовского, с которым Пантелеев состоял в переписке.

1. ИЗ СТАРОГО СНА

Нашел черновик своего старого письма или заметки. Не сразу понял: что это? откуда? Как будто из сна какого-то. А это не сон. Это было. И было, по-видимому, не так уж давно — зимой или ранней весной тысяча девятьсот шестьдесят какого-то года. Если не ошибаюсь, вскоре после Двадцать второго партийного съезда «Правда» в одном из своих воскресных номеров напечатала передовую статью, которую все мы (но все ли?) читали с тем чувством, с каким просыпается выздоравливающий после смертельной болезни.

Жил я тогда в Комарове, в Доме творчества. Ко мне пришел писатель Нисон Ходза, занимавший какой-то партийный или административный пост в нашем союзе. Сказал, что ЦК партии интересуется отношением интеллигенции к передовице «Правды» и просит таких-то и таких-то, в том числе и меня, изложить письменно свое мнение об этой статье.

Я сел и написал:

«Передовая статья воскресного номера „Правды“ порадовала меня, как, вероятно, и многих других работников искусства, прежде всего тем, что она не только декларирует внимательное отношение к художнику, но и сама является живым примером такого внимания и доверия партии к художественной интеллигенции.

Прежде всего в этой статье мне понравился гнев, с каким газета обрушивается на приспособленцев, ремесленников, версификаторов и декламаторов. Эту опасность — засилье ремесленничества и бездушного пустозвонства — у нас часто недооценивают.

По-настоящему радуют и те строки, где говорится о моральном облике советского художника.

В статье я увидел призыв по-новому строить работу в творческих организациях. Давно пора! Воистину „сама жизнь стучится в двери писательских организаций“,— а ведь там, в этих организациях, бывает, и по сей день царят порядки бюрократические, казенные, как будто не было у нас Двадцатого и последующих съездов.

Очень своевременно ставится в статье вопрос о творческой молодежи...

Приветствую те слова передовой, где говорится о ровном, умном, любовном, отеческом отношении к молодежи, о вреде „шараханья из одной крайности в другую“...

В статье я увидел заботливое и уважительное отношение к нашему трудному делу».

Написав эту заметку, я вручил ее Ходзе. Куда, в чьи руки она потом попала — не знаю. Что написали другие — тоже не знаю.

Потом сон кончился, мы проснулись. Больше никто никогда не интересовался нашим мнением.

2

Верховный Суд Союза ССР
Определение № 4н — 083/57

Военная Коллегия Верховного Суда СССР

В составе: Председательствующего полковника юстиции Борисоглебского и членов — полковников юстиции Долотцева и Конова

рассмотрела в заседании от 6 февраля 1957 г.

Протест Главного военного прокурора
на постановление Особого Совещания при НКВД СССР
от 7 июля 1945 г.,

на основании которого по статьям 58—10, ч. 2, и 58—11 УК РСФСР был заключен в ИТЛ сроком на 8 лет

Солженицын Александр Исаевич рождения 1918 г., уроженец г. Кисловодска, с высшим образованием, до ареста являлся командиром батареи, участвовал в боях против немецко-фашистских войск и был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды.

Заслушав доклад тов. Конова и заключение зам. Главного военного прокурора — полковника юстиции Терехова, полагавшего протест удовлетворить,

установила:

Солженицыну вменялось в вину то, что он с 1940 года и до дня ареста среди своих знакомых проводил антисоветскую агитацию и предпринимал меры к созданию антисоветской организации.

В протесте Главный военный прокурор ставит вопрос об отмене в отношении Солженицына указанного постановления Особого Совещания и прекращении о нем дела за отсутствием состава преступления по следующим основаниям:

Из материалов дела видно, что *Солженицын* в своем дневнике и в письмах к своему товарищу Виткевичу Н. Д., говоря о правильности марксизма-ленинизма, о прогрессивности социалистической революции в нашей стране и неизбежной победе ее во всем мире, высказывался против культа личности Сталина, писал о художественной и идейной слабости литературных произведений советских авторов, о нереалистичности многих из них, а также о том, что в наших художественных произведениях не объясняется объемно и многосторонне читателю буржуазного мира историческая неизбежность побед советского народа и армии и что наши произведения художе-

ственной литературы не могут противостоять ловко состряпанной буржуазной клевете на нашу страну.

Эти высказывания *Солженицына* не содержат состава преступления.

В процессе проверки жалоб Солженицына были допрошены Решетовская, Симонян, Симонянц, которым *Солженицын* якобы высказывал антисоветские измышления. Указанные лица охарактеризовали *Солженицына* как советского патриота и отрицали, что он вел антисоветские разговоры.

Из боевой характеристики на *Солженицына* и отзыва служившего вместе с ним капитана Мельникова видно, что *Солженицын* с 1942 года до дня ареста, т. е. до февраля 1945 года находился на фронтах Великой Отечественной войны, храбро сражался за Родину, неоднократно проявлял личный героизм и увлекал за собой личный состав подразделения, которым командовал. Подразделение *Солженицына* было лучшим в части по дисциплине и боевым действиям.

Исходя из изложенного, Главный военный прокурор считает, что осуждение *Солженицына* является неправильным, и в связи с этим ставит вопрос о прекращении о нем дела на основании ст. 4 п. 5 УПК РСФСР.

Рассмотрев материалы дела и дополнительный материал проверки, соглашаясь с доводами, изложенными в протесте, и принимая во внимание, что в действиях *Солженицына* нет состава преступления и дело о нем подлежит прекращению за отсутствием состава преступления, Военная Коллегия Верховного Суда СССР

определила:

постановление Особого совещания при НКВД СССР от 7-го июля 1945 года в отношении *Солженицына* Александра Исаевича отменить и дело о нем за отсутствием состава преступления на основании ст. 4 п. 5 УПК РСФСР *прекратить.*

Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно: ст. офицер Военной коллегии
майор о/с
(Дегтярев)

3

В Правление
Союза писателей СССР
Москва, ул. Воровского, 52

Из газетной заметки я узнал об исключении из Союза писателей СССР Александра Исаевича Солженицына.

Считаю своим гражданским долгом заявить, что не могу пройти молча мимо этого факта, не могу согласиться с этим решением выборного органа. Исключение из нашей корпорации одного из крупнейших прозаиков советской эпохи — прискорбная ошибка, одна из многих в ряду тех, какие были допущены в разное время нашим союзом и всем нашим обществом. Я имею в виду факты, когда изгонялись из писательской организации или годами не печатались или иными способами были разлучены с читателем такие видные и теперь уже неоспоримо признанные деятели нашей литературы, как Зощенко, Булгаков, Пастернак, Платонов, Бабель, Ахматова, Мандельштам и другие.

Не слишком ли мы всякий раз торопимся, всегда ли по-хозяйски относимся к нашему общему делу и с достаточной ли высоты смотрим на литературный процесс и на его ценности?

17.XI.69 *Л. Пантелеев*

Мини-мемуары

Виктор БАКИНСКИЙ

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО

Из записок современника

В 1930 году, будучи студентом Ленинградского университета, я поехал на газетную практику в город Кинешму. Жить мне пришлось не в самой Кинешме, а на другом берегу Волги, в селе. Переправляться за реку приходилось лодкой. Однажды утром, выйдя на берег, я не увидел ни одного пассажира. Только лодочник, угрюмоватый, средних лет, сидел на борту лодки и лениво вертел цигарку.

— Поедем, что ли? — сказал я.

— Подождем. Тут еще двое должны быть... с портфелями.

Двое с портфелями не появлялись, и я проворчал:

— Мне на работу нужно. Уже успели бы перевезти. Не знал я, что на ваш корабль сажают пассажиров первого и лишь потом — второго класса. Меня бы небось не стали ждать.

— Может, и не стал бы,— согласился он.

— Это просто тема для Зощенко,— возмущался я. Лодочник не ответил, и я пояснил: — Есть такой писатель Зощенко.

Лодочник посмотрел на меня, и, странное дело, лицо его прояснилось.

— Сам знаю, что есть. Ты и сказал бы Зощенке, что, мол, в Кинешме перевозчикам нет расчета работать. Один, два, как ты, придут, и вези. Ладно, садись, поехали.

И позднее я не раз был свидетелем почти фантастической популярности Михаила Михайловича Зощенко. Он был широко известен не только по имени, но и по своим произведениям. Их бессчетно передавало радио, распространяли концертные бригады, их читали на заводах, в сельских клубах... Я бывал в глухих уголках страны, и всюду, стоило лишь назвать имя Зощенко, как лица расплывались в улыбке и вы становились для незнакомых вам людей своим человеком. Имя Зощенко объединяло людей, и в этом было его великое значение.

В свое время о Гоголе говорили, что положительным героем его произведений был смех. Оружием смеха он разил пороки людей и пороки общества. То же можно сказать о Зощенко. Я увидел и услышал Михаила Михайловича за несколько лет до Великой Отечественной войны. Это было на большом многолюдном собрании. Выступали писатели. И вот на трибуну поднялся невысокого роста человек с темным лицом и несколько грустными глазами. Было что-то изящное, простое и вместе с тем артистическое в его тонкой фигуре, в самой походке, в сдержанных жестах его, в звуках голоса. Он никогда не произносил длинных речей. И эта тоже была короткая. Он начал ее словами:

— С тех пор как я написал «Возвращенную молодость», я стал чувствовать себя хуже...

Я воспринял это начало как желание рассмешить публику. Но на деле было не так. Лишь позднее я понял, что у Зощенко было свое, удивительное отношение к искусству, к литературе. Он верил в исключительную преображающую силу искусства, преображающую и творца — писателя, художника,— и читателя, зрителя. Юмористический рассказ имел для него то же значение, что роман, драма, элегия. Он никогда не ставил перед собой целью просто-напросто рассмешить публику. Нет, цель всегда была нравственная, воспитательная. Он относился к искусству так же, как относился к нему Лев Толстой. И поэтому очень строго и серьезно воспринимал любое явление, о котором собирался написать,— хотя бы и по заданию редакции журнала «Крокодил» или другого издания.

Припоминается следующий случай. Как-то я пригласил Зощенко к себе. Среди гостей была моя старая приятельница, превосходный хирург Татьяна Ш., и она рассказала эпизод, который только что произошел в больнице, где она работала. Перед обходом палат она вышла из своего кабинета и увидела перед дверьми палаты человека в казенном халате.

— А вы почему здесь? Почему не в палате? — спросила она строго, решив, естественно, что перед ней — больной.

— Да вот... нянечка меня сводила в ванну, я помылся и жду. Пришел сродственника навестить, зятя, вон он там на койке в углу лежит.— И он рукой показал, где лежит его зять.

Тут было маленькое недоразумение. Нянечка приняла посетителя за больного, проникшего в коридор без белого халата, который выдается в раздевалке, повела его мыться и обрядила в больничное.

— И у нас,— заключила Татьяна Ш.,— все стали говорить по этому поводу: «Тут все произошло по Зощенко».

И мы все смеялись этому рассказу, и только Зощенко был серьезен. Правда, я никогда не видел его весело улыбающимся, а тем более — громко смеющимся. Лишь очень редко на лице его появлялась слабая улыбка, а темные умные глаза оставались при этом серьезными, если не грустными. Но тут такое необыкновенное совпадение... И мы все уставились на Зощенко несколько недоуменно, и Зощенко понял нас.

— А тот случай, что я описал в рассказе, произошел на самом деле,— сказал он своим обычным негромким голосом, иногда чуть-чуть растягивая слова.— Я пошел по заданию редакции в больницу и тут увидел все так, как описал.

«Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно»,— мог бы во многих и многих случаях сказать Зощенко. Он этого не говорил. Но смешное, в его глазах, смешное в рассказе должно было преследовать важную нравственную цель. Этой цели, как уже сказано, он и посвящал свой талант и свое прирожденное чувство юмора. Он был писателем с головы до ног. Смешное в рассказе Татьяны Ш. напомнило ему то, что он уже видел и о чем поведал читателю в «Истории болезни», и это была для него перевернутая страница.

Поразительно было не только отношение Михаила Михайловича к смеху в ли-

тературе. Поразительна была его скромность. Он был как бы выше честолюбия, не говоря уже о тщеславии. Об этом писали не раз, и мне остается прибавить лишь один штрих. Скромность и поразительно трезвое и требовательное отношение Зощенко к литературной работе бросились мне в глаза на одном собрании в Красной гостиной Дома писателя имени Маяковского. Говорили о литературе и о разных высоких материях, иной раз впадая в пафос, а Зощенко скромно сидел в зале, слушал, молчал. Затем он взял слово и сказал:

— Давайте поговорим о нашем ремесле.— И сразу же придал всему ходу беседы осмысленный и конкретный характер. Он лучше многих записных ораторов знал, что такое творчество. Но он знал и то, что в основе творчества лежит ремесло, упорный, обдуманный труд. Бывает ремесло без творчества, но не бывает творчества без ремесла — это он знал хорошо.

Обаяние личности Зощенко было удивительное. Недаром актриса Н. Г. Волотова однажды сказала: «Когда Зощенко говорит, он весь светится».

Я познакомился с ним в 1940 году, после того как напечатал в журнале «Ленинград» рецензию — положительную рецензию — на его пьесу «Опасные связи». Но год спустя началась Великая Отечественная война, и встретились мы лишь после войны.

Мы вместе, в одной компании встречали новый, 1950 год. Это было в квартире на набережной Невы, в особняке с необыкновенно высокими потолками. Когда я посмотрел на эти непривычно высокие потолки, столь не соответствующие обычному нашему жилью, мне стало как-то неуютно. И другие, как я заметил, испытывали то же. Да и не все тут были ранее знакомы друг с другом, а это обстоятельство вносит в атмосферу встречи некоторый холодок...

Но вот вошел Зощенко. Разумеется, он не стал острить, не рассказывал «байки», менее всего старался развлечь общество. Но уже самый факт появления его, самое его присутствие всех объединило. И стало казаться, будто все давно друг с другом знакомы. И таково уж влияние личности, судьбы крупного человека, что все остальные разговоры и шутки этой новогодней ночи забылись, а осталось в памяти лишь то, что связано было с Зощенко. Лидия Ч. рассказала, как она за два с половиной года перед тем разыскивала Михаила Михайловича по московским гостиницам. Зощенко с серьезным лицом выслушал этот уже хорошо знакомый ему рассказ и дополнил своим. Ему предоставили не номер гостиницы, а койку в общей комнате, где помещались десять человек. Раздался телефонный звонок, один из товарищей по комнате взял трубку, сказал: «Нет, Зощенко здесь нет», положил трубку и засмеялся. И все остальные засмеялись. Они не знали, что писатель среди них, и приняли телефонный звонок за шутку. Михаил Михайлович передал этот эпизод со спокойствием объективного повествователя, не внеся в свой рассказ особенных эмоций. И так было всегда, когда ему приходилось говорить о себе.

Скромность Зощенко отнюдь не исключала прямоты и большого чувства собственного достоинства. В тот вечер, когда женщина-хирург рассказывала о происшествии «по Зощенко», кто-то заметил, что, конечно, каждый пишет для народа, и вдруг Зощенко выпрямился и обратился к говорящему:

— Народ — это не только то, что находится вне нас. А вы — не народ? А я — не народ? А все сидящие здесь — не народ?

Годы, о которых я вспоминаю,— конец сороковых и начало пятидесятых — были трудные для Зощенко. Как раз в то время я был свидетелем его разговора с редакционным работником ленинградского отделения издательства «Советский писатель».

— Мы ведь предлагали вам на редактуру разные вещи,— сказал редакционный работник. И тут в глазах Зощенко появилось необычное выражение упрямства, гордости, что-то пронзительное даже.

— Вы предлагали мне вещи, которые стоят вне художественной литературы, я не мог позволить себе взяться за это,— с достоинством ответил Михаил Михайлович. При обмене репликами присутствовал и тогдашний главный редактор отделения издательства Е. И. Наумов, и, к чести его, Наумов тотчас предложил писателю прийти для разговора на более приемлемой для Михаила Михайловича основе, а еще через некоторое время при активном содействии Наумова издательство включило в план издание однотомника произведений Зощенко.

Эта прямота и это высокое чувство собственного достоинства, чуждое не только искательства, о коем не может быть и речи применительно к Зощенко, но и замалчивания правды, сказались и в последнем выступлении Зощенко на большом собрании ленинградских писателей в середине июня 1954 года. То была взволнованная и сильная речь, документ большого человеческого, нравственного и литературного значения. В адрес Зощенко в разное время говорилось слишком много несправедливого. Необъективными, необоснованными, грубо неуважительными были и высказывания в докладе тогдашнего редактора «Звезды» В. Друзина на открытом партсобрании в ленинградском отделении Союза писателей в конце мая 1954 года. (Изложение доклада появилось тогда же в ленинградской печати.)

Зощенко вынужден был напомнить своим критикам, что он был и остается правдивым писателем, что несправедливые обвинения от отвергал всегда и что писал об этом Сталину в связи с докладом Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Велико было впечатление от этой искренней и страстной речи. Стенограмма ее считалась утерянной. Однако в 1988 году, почти тридцать четыре года спустя, она опубликована — с комментариями — дважды: Д. Граниным в журнале «Огонек» № 6 и Ю. Томашевским в журнале «Дружба народов» № 3. Не стану поэтому приводить стенограмму. Скажу лишь, что все выступление замечательного сатирика, отстаивавшего свое законнейшее право называться советским писателем и патриотом, было исполнено мужества и сознания своей правоты.

Выступление Зощенко начинается словами: «Очень и очень трудно мне говорить о моем положении, тем более что ни в чем мою особу я не хотел бы противопоставлять ни коллективу, ни партии. Я ведь не являюсь „воинствующим проповедником безыдейности", как сказано в „Ленинградской правде"».

Мужеством, решимостью, сознанием своего достоинства, а в то же время и тревожной, угнетающей печалью были проникнуты и заключительные слова писателя:

«Я могу сказать — моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын. Как я могу работать?.. У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения, ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею».

Конечно, эти слова были обращены не к собранию, а к гонителям писателя.

Томашевский заканчивает свою информацию словами: «Выкрикнув последние слова, он выбежал из зала. Несколько человек бросились за ним...». Гранин в своей публикации иначе оценивает тональность последних слов Зощенко. Не было и у меня впечатления «выкрика». Нет, выкриков вообще не было. И последние слова Зощенко произнес страстно, но с сдержанной силой. Едва он спустился с трибуны и исчез из вида, кто-то сильно хлопнул дверью, но в тот момент мне показалось (и только ли мне?), что прогремел выстрел. «Он покончил с собой»,— мелькнуло у меня в голове. Я нечаянно посмотрел на сидящих сбоку. У них были бледные напряженные лица. И во всем зале ощущалось огромное напряжение. Раздавшиеся после речи Зощенко несколько хлопков были как бы погашены этим звуком выстрела.

Истины ради я должен сказать, что после того выступления Зощенко не всегда выглядел печальным или угнетенным. Осенью 1956 года я встретил его в помещении ленинградского отделения издательства «Советский писатель», и мы подробно обсуждали незадолго до того вышедший роман В. Дудинцева «Не хлебом единым». Зощенко тогда порадовал меня. Он был спокоен, доволен романом, хотя сделал несколько весьма точных критических замечаний относительно художественных достоинств некоторых сцен, в особенности — любовных. В те дни Зощенко вновь печатали.

Зощенко нес на себе двойную тяжесть. Тяжесть переживаний от целого ряда резких, несправедливых, оскорбительных нападок и запретов. И тяжесть почти врожденной тоски, о которой он признавался в некоторых своих сочинениях. И надо удивляться твердости, самообладанию писателя, его поразительной любви к своему литературному делу, его преданности своим профессиональным наблюдениям, замыслам, идеям, его ощущению своей кровной связи с читателем, если при всех этих условиях он творил непрерывно и в полную меру своих сил, своего таланта юмориста и сатирика.

Замечу при этом, что переживал он не только за себя, за свое собственное положение, но и за общее литературное дело.

Положение в литературе в ту пору, и последние годы жизни Зощенко, хотя в чем-то и изменилось после XX съезда партии, но все же было не очень-то стабильным, противоречивым, не всегда внушало писателю уверенность в себе, в судьбе своего произведения.

Нередко раздавался командный тон. Не изжиты были методы периода культа личности, не угасла «проработочная» критика, которой подвергался тот или иной литератор.

Достаточно вспомнить, что тот же роман Дудинцева подвергся осуждению, нападкам с разных сторон, и от его создателя отреклись некоторые из тех, кто ранее ему покровительствовал, а Борису Пастернаку редколлегия журнала «Новый мир» (в то время его редактировал Константин Симонов) вернула со всевозможными критическими замечаниями, лучше сказать обвинениями, рукопись романа «Доктор Живаго», и против писателя начались гонения.

Зощенко был весьма чувствителен к подобным вещам. Как, впрочем, и ко всему, что совершалось в обществе, в искусстве и литературе.

В последний раз мы виделись за несколько месяцев до его смерти. Он был грустен. По-видимому, та склонность к грусти и тоске, о которой он писал и в

примечаниях к «Возвращенной молодости», и в повести «Перед восходом солнца», взяла в его натуре верх над жизнелюбием и деятельным началом. Он был худ, немногословен. Позже я узнал, что он в последнее время испытывал род отвращения к еде, почти ничего не ел. Однажды, по рассказу его друга писателя М. Л. Слонимского, когда Зощенко пришел к нему и жена Михаила Леонидовича Ида Исааковна стала угощать гостя обедом, предлагая то одно, то другое, Михаил Михайлович лишь поковырял вилкой в тарелке, с трудом одолел котлетку, а затем сказал удивленно:

— О, я съел целую котлету!

В последнюю встречу с Зощенко, заметив его состояние (а не заметить было невозможно), я сказал:

— Я уверен, что еще увижу вас бодрым, веселым.

Он чуть поднял голову, посмотрел на меня и безмолвно протянул тонкую худую ладонь...

Обратная связь

«Нева» получила множество читательских писем — в ответ на публикацию «Апокрифического диалога» Л. Н. Гумилева. Интересно отметить резкую полярность суждений авторов этих писем о работе ученого. В одних письмах — благодарность и желание добраться до истины, в других — ругань и сплошное недоумение. Сейчас в печати стало традицией преподносить читателю целые серии подобных высказываний, посвященных той или иной проблеме. В некоторых случаях это оправданно, особенно тогда, когда речь идет о современных явлениях или процессах, в других — нет. Таков и наш случай. Выводить слабо оснащенных фактами, плохо вооруженных научной аргументацией оппонентов против специалиста-профессионала нам кажется некорректным — главным образом по отношению к истине. Поэтому мы и ограничились публикацией лишь письма А. М. Чехета. В нем высказаны все «за» и «против», нет перехлеста эмоций, и письмо это как бы концентрирует в себе идеи, содержащиеся в письмах других корреспондентов. Редакция благодарит всех, кто отозвался на статью Л. Н. Гумилева: В. М. Решетняка (Кокчетав), А. Ушакова (Харьков), А. Быкова (Казань), Л. Шипицина (Раменское), С. Чернова (Казань), Я. Цукерника (Москва), М. Колодочкина (Москва), О. Смолина (Челябинск). Мы ознакомили Л. Н. Гумилева с письмами, имеющими отношение к его публикации (они, кстати, еще поступают). Надеемся, диалог, начатый в марте-апреле 1988 года, получит свое продолжение.

Л. Н. ГУМИЛЕВУ

Уважаемый Лев Николаевич!

С большим интересом, как и ряд Ваших предшествующих работ, прочитал «Апокрифический диалог» [1]. Не будучи во всех положениях Вашей статьи с Вами согласен, я решился предложить себя Вашим оппонентом в качестве «благонамеренного читателя» (по О. Сулейменову), особенно памятуя наш недавний разговор о спорных местах «Слова о походе Игореве».

В настоящее время Вы являетесь почти единственным в нашей стране представителем так называемой школы евразистов (привычка к «ярлыкам»!), которые считают нашествие монгольских племен естественным историческим процессом и которые не только «подсчитывают убытки» в результате этого нашествия, но и пытаются выяснить (как это ни кощунственно для некоторых может звучать), что положительного дало нам Иго.

Не беря на себя смелость расставить все точки над i, упомяну лишь немногое.

Армия, предводительствуемая монголами (сами они, по-видимому, составляли 0,5—1% от общего числа воинов), разбила разрозненные дружины русских князей и объединила эти княжества властью «Джасака» — единого для всей монгольской империи закона Чингиз-хана. «Удельные князья монгольского периода, если бы были предоставлены вполне сами себе, разнесли бы свою Русь,— говорит С. Ф. Платонов,— на бессвязные, вечно враждующие удельные лоскутья, так как в их опустошенном общественном сознании оставалось место только инстинктам самосохранения и захвата, но, к счастью, княжества тогдашней северной Руси были не самостоятельные владения, а даннические „улусы“ татар... Власть... хана давала единство мельчавшим и взаимно отчуждавшимся вотчинным углам русских князей».

Итак, влиянием монгольского владычества эти княжества и племена были слиты воедино, образовав сначала Московское царство, а впоследствии — Российскую империю. Монголы дали покоренной ими стране основные элементы будущей русской государственности: самодержавие, централизм, крепостное право. У нас както не принято было об этом писать, но прикрепление крестьян к земле было одним из основных условий существования государства на определенном этапе его развития.

Исходя из задач административного и хозяйственного управления монголы распорядились сооружением почтовых трактов, установили ямскую повинность, произвели всеобщую перепись населения в фискальных целях, ввели однообразное военно-административное устройство и податное обложение.

До сих пор нет исчерпывающего труда о монгольских, маньчжурских и тюркских заимствованиях в русском языке (между прочим, на несколько букв русского алфавита вообще не начинается почти ни одно слово славянского происхождения: а, ю, я).

Видимо, не так уж неправ д-р Эренжен Хара-Даван, утверждая, что «сношения с восточными народами и пример той терпимости, которую проявляли монголы по отношению к людям другой веры и другого языка, несомненно сыграли крупную роль в последующем проникновении России в Азию и в мирном сожительстве русского народа с иноверными и иноплеменными народами, вошедшими в состав Московского государства, чего мы далеко не видим в европейских державах этой же эпохи».

Несомненно также влияние монголов на боевые приемы русской армии. Техника применения резерва была использована против своих учителей уже в 1380 году, когда Владимир Андреевич Храбрый в решительную минуту бросился на татар со своим свежим отрядом и вырвал из рук Мамая колебавшуюся победу. Многое переняли у монголов русские казачьи войска, казачья лава — прямая наследница монгольской лавы.

Распространялись восточные обычаи, культура, быт. Коренным образом изменилась одежда: от длинных белых рубах, от бритых голов с «оселедцами», длинных штанов наши предки перешли к кафтанам, шароварам, сапогам, рубахам-косовороткам. Даже такие привычные «исконно русские» предметы быта, как самовар, валенки — также (увы!) пришли к нам от татаро-монголов.

Не обошло своим вниманием монгольское влияние и духовную культуру жителей Руси. Это — величавость и почти полное отсутствие эротического элемента русских народных танцев в отличие от танцев Западной Европы; это и русские народные песни, обрядовые и свадебные, составленные в так называемой «пятитонной», или «индокитайской» гамме, то есть как бы в мажорном звукоряде, с пропуском четвертой и седьмой ступени (например, на черных клавишах рояля написан романс Рахманинова «Сирень»).

Этот перечень чуть ли не бесконечен, и добрую память оставил бы в сердцах потомков исследователь, посвятивший себя изучению всего наследства, которое нам оставило «иго», всего того, что сделало русских русскими.

Большой вклад в освещение этой проблемы внесли Вы, Лев Николаевич.

Но с некоторыми Вашими «апокрифическими» мыслями согласиться не могу.

Вы пишете, что на Руси «отрицательное отношение летописцев к татарам проявилось не в XIII веке, а столетие спустя». А как еще можно понимать хотя бы следующие строчки (по Лавр. летописи)? «В год 1237. ...пришли из восточных стран на Рязанскую землю лесом безбожные татары, и начали завоевывать Рязанскую землю, и пленили ее до Пронска, и взяли все Рязанское княжество, и сожгли город, и князя их убили. А пленников одних распинали, других — расстреливали стрелами, а иным связывали сзади руки. Много святых церквей предали они огню, а монастыри сожгли, и села, и взяли отовсюду немалую добычу...» (так что, видимо, не пастбища они искали в лесистой Руси). «В ту же зиму взяли татары Москву. ...А людей избили от старца до грудного младенца, а город и церкви святые огню предали и все монастыри и села сожгли...». Правда, цитируемая летопись переписывалась в 1377 году со свода 1305 года. Но последний составлялся по значительно более ранним источникам XIII века.

Далее. Вы удивляетесь, что больше всех возненавидел тюрко-монголов романо-германский Запад, так как «монголы их не завоевывали». Так ли? В 1240—1242 гг. крайней линией достижения монгольской конницы на западе была следующая: на Адриатическом море — Каттаро и Клисса, Загреб в Хорватии, Нейштадт под Веной, Краков. Впечатление, произведенное на Западную Европу татаро-монголами, было ужасно. Известен трогательный рассказ о том, как восприняла весть о монголах королева Бланш (мать короля Франции): «...Что же делать, сын мой, при сем ужасном обстоятельстве, невыносимый шум от которого доносится до нас? Мы все, как и святая блаженная церковь, осуждены на общую погибель от сих татар!». К этому можно добавить, что 9 апреля 1241 года под Лигницем от рук монголов, предводимых царевичем Байдаром, был разбит цвет немецкого и польского рыцарства. Вскоре после этого Батый разгромил объединенную хорват-

[1] См: «Нева», 1988, № 3, 4.

ско-венгерскую армию короля Белы IV и захватил Будапешт. Король спасся бегством в Далмацию, а Будапешт подвергся всем ужасам огня, меча и разграбления. Западная Европа слишком хорошо знала, что несут с собой монголы, и страх ее перед кочевниками имел вполне реальную почву.

Не могу принять Вашего положения, что «объекты научного исследования не оцениваются, а исследуются». Интересно, насколько беспристрастным (не дающим никаких оценок) Вы посоветуете быть историку, исследующему, например, «деяния» фашистов?

Разница же между Чингиз-ханом и Тимуром в чисто историческом плане, по-моему, не очень велика: оба начинали на «большой дороге» а «политические» устремления их не так уж разнятся. Оба создали (схожими методами) огромные лоскутные империи, но детище Тимура оказалось более эфемерным.

В вопросе об исчезновении Хара-Хото Вы, кажется, несколько расходитесь с выводами, сделанными Вами ранее в статье «Люди и природа Великой степи», где утверждаете, что «главную роль сыграли изменения климата».

Немного непривычно звучит фраза, что «монголы... с русскими дружили». Но, во всяком случае, в результате этой насильственно навязанной «дружбы» выковалась русская нация. И здесь (простите, если не совсем кстати) вспоминаются слова моей самой дорогой поэтессы, Анны Андреевны Ахматовой, Вашей матери:

Мне от бабушки-татарки
Были редкостью подарки;
И зачем я крещена,
Горько гневалась она.

Ваше поколение было свидетелем (и, к сожалению, не только свидетелем) такого геноцида времен «казарменного коммунизма», трусливо именуемого у нас «временем культа личности», с которым сравнимы разве преступления полпотовцев в Кампучии. Если историк только исследует, но не оценит этого бедствия, то можно ли будет «увести людей с побережий в горы», если история повторится?

Парируя ответ «рассудительного искусствоведа», Вы счет разрушениям Москвы ведете в обратном порядке, начиная с Наполеона. Между тем, если восстановить хронологию, то все становится на свои места: Батый (1237), Тохтамыш (1382), Девлет-Гирей — вассал Высокой Порты, но детище монгольской империи — (1571), поляки (1600), Наполеон (1812). Итак, первые три разрушения прямо или косвенно произвели татаро-монголы, а русские неудачи в Смутное время и Отечественную войну — это в значительной степени последствия «застойной» политики монголов, когда в русских душах уже крепко сидела рабская психология и инертность, и по сию пору дающие себя знать.

Вам уже пеняли на то, какое преувеличенное значение Вы придаете убийству монгольских послов. Значит, останься послы живы, монголы расправились бы с половцами и убрались восвояси? Вряд ли! На великом «курултае» было решено в 18 походов овладеть миром, прежде всего Европой. А чингизханов «Джасак» прямо называет нам методы ведения войн: «Мы отправляемся на охоту и убиваем много горных быков; мы отправляемся на войну и убиваем много врагов». И к послам на Востоке относились не всегда как к гостям. Например, в «Сказании об Аксак-Темире» есть строчки: «Но разбойники Аксак-Темира убили начальника послов, а самих их одарили подарками и к себе заманили...». Монголы тоже не всегда испытывали пиетет к послам. Из Вашего ответа «искусствоведу» получается, что монголами при взятии Козельска руководила святая жажда мщения за попранные русскими законы проксении. И за это они только *в феврале* и только в суздальской земле уничтожили «14 городов, не считая слобод и погостов к концу сорок пятого года». Киевская, Черниговская, Ростовская и прочие земли *в этот счет не входят.*

Позволю себе не согласиться с Вашей расстановкой акцентов в рассуждении о культуре монголов и европейской культуре (рассмотрение арабо-персидской культуры — тема особая).

Согласен с Вами, что юрта в XIII веке, особенно для кочевников, имела ряд несомненных достоинств. Но... к монгольскому нашествию:

— во всех княжеских резиденциях стояли прекрасные каменные храмы (например, во Владимире — Успенский собор), расписанные с удивительным мастерством;

— неизвестным автором было создано «Слово о походе Игоревом»;

— на Кавказе в это же время творил Шота Руставели;

— в Западной Европе начиналась эпоха раннего Ренессанса.

А монголы воевали. И надо отдать им должное — прекрасно освоили это искусство. А завоевав какой-либо народ, они начинали «доить» его. И как рачительные хозяева делали все от них зависящее, чтобы корова давала как можно больше молока и доилась возможно дольше.

Вот, собственно, и все, что я хотел сказать по поводу Вашего «Диалога».

С уважением

А. М. ЧЕХЕТ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В «Неве» (№ 2, 1988) была опубликована моя статья «Три кита здоровья», которая вызвала столь обильный поток писем, что при всем желании моем и моих товарищей-единомышленников на каждое письмо, на каждый звонок откликнуться невозможно. Значительная часть писем — это конкретные вопросы, чаще всего связанные с желанием подробнее узнать о том, как поддерживать или вернуть здоровье той или иной системы организма. Что тут сказать? Весь смысл статьи был в том, чтобы показать необходимость комплексного подхода к своему здоровью, в том, чтобы ехать, образно говоря, на упряжке из трех китов. Многие же авторы писем полагают, что достаточно им вынуть одну косточку из одного «китовьего» плавника и искомая цель будет достигнута...

Нет, это не подход, а антиподход к заботе о своем здоровье, прямо противоположный моему и даже компрометирующий то, что я исповедую. Какой смысл, к примеру, в детоксикации лимфатической системы, если будет продолжаться загрязнение организма алкоголем, никотином, противоестественным питанием, химическими лекарствами, если психика взвинчена и сосредоточена на мелочных, эгоистических интересах, если физзарядка сводится к трехминутному маханию руками перед форточкой раз в неделю и так далее и тому подобное? Или, допустим, вы провели очистку костяка от солей, на какое-то время вам полегчало, и вы на этом успокоились. А в результате — вам стало даже хуже, чем до того! «Ах, он такой-сякой, автор этих „Трех китов"! А я-то ему поверил (-а)!..»

Я уж и не говорю о том, что любая акция, особенно столь фундаментальная и важнейшая для общего состояния здоровья, как очистка печени, например, требует благожелательного и компетентного ассистента-наблюдателя, готового и способного в любой момент помочь вам и поддержать вас. Вот почему конкретные советы, граничащие со специфически медицинским вмешательством в организм, я незнакомым людям давать воздержусь. Надежды, возлагаемые на частное средство как на всесильную панацею, могут и навредить здоровью. Панацеей, то есть действительно общим исцеляющим принципом, является всесторонний, комплексный подход к своему здоровью. Настолько комплексный, что он предполагает даже значительное усиление нашей совместной социальной активности.

Поясню эту мысль.

Многие положения статьи почерпнуты мною у превосходных авторов, чьи книги широко издавались и издаются за рубежом. Назову некоторые из них. Н. Уоккер, «Лечение соками» (кстати, именно в его книге в разделе «Детоксикация» содержится методика очистки лимфы цитрусовыми). П. Н. Куренов, «Лечебник» (русский медик, оказавшийся в 20-е годы в США и издавший там свой труд, обобщивший огромный опыт русской народной медицины. В этой книге наряду с многими другими бесценными советами излагается и способ очистки печени). А. Суворин, чьи труды по очистке организма и голоданию, изданные в 30-е годы в Белграде, отличаются непревзойденной глубиной.

Полезно, конечно, прочесть работы великих американских врачей-натуропатов Г. Шелтона и П. Брегга, ознакомиться с блистательной и оригинальной системой здоровья в книге замечательного русского врача А. Залманова, частично и мизерным тиражом изданной когда-то и у нас. Можно назвать и другие ценнейшие, основанные на здравых принципах и огромной положительной практике труды, но где они в наших библиотеках? А где книги Н. Амосова и А. Микулина?

Все эти имена и названия здесь приведены для того, чтобы мы соединенными усилиями побудили ведомства издать их у нас — с компетентными современными предисловиями, разумеется.

Многие из моих корреспондентов жалуются на слабый тонус, другие задают грустные вопросы о качестве продуктов и так далее и тому подобное. Все правильно, но, дорогие товарищи, ведь великая энергия рождается для великих дел! Давайте поднимать температуру своих эмоций за счет объединения своих гражданских коллективных устремлений, создания, например, сообществ по выращиванию не отравленных нитратами овощей или, напротив, по контролю и недопущению на рынки и в магазины ядовитых для человека продуктов. «Колхозы», объединяющие людей, стремящихся к здоровью, должны и могут возникать повсеместно. Хватит надеяться только на помощь откуда-то извне, сверху, сбоку. Наша пробужденная социальная инициатива должна размыть и нашу собственную косность, и вялость тех, от кого зависят конкретные шаги по созданию действительно здорового образа жизни в нашей стране.

Еще и еще раз хочу сказать: человек способен обходиться гораздо меньшим количеством еды, чем это принято считать, ибо дело решает ее качество. Конечно, можно превратиться в машину по переработке громадного количества продуктов, как это практикуют, например, марафонцы или многие люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом. Но ведь это дикое насилие над организмом — заставлять сердце натужно работать для безотказного снабжения кровью мышц, да и все ферментативные системы неимоверно трудиться во имя расщепления огромной массы пищи. Уменьшить эту массу — значит резко снизить внутренние энергетические затраты. Они будут еще более снижены, если пищу принимать, во-

первых, легко расщепляемую и, во-вторых, максимально насыщенную именно той специфически живой энергией, которая и нужна организму.

В журнале «Природа и человек» № 8 за этот год опубликованы заметки Надежды Семеновой «Сверхмарафон к себе», содержащие ценные суждения о совместимости продуктов и те рецепты наших очисток, которые и породили множество запросов в адрес «Невы».

А теперь о конкретных продуктах в рационе моем и моих единомышленников. Дело в том, что не может быть единой, общей для всех системы. Каждый человек должен питаться так, как полезнее всего именно для него. Согласитесь, что глупо было бы лишать эскимосов, например, мяса. К этой пище их организм приспосабливался тысячелетиями.

Я и моя семья мясо практически не употребляем — за исключением редких случаев.

Рыба — продукт более легкий для усвоения, чем мясо, но есть ее лучше тоже без мучных или картофельных гарниров, а с зеленью или овощами.

О молоке. Не мое дело спорить с инструкциями Минздрава, но я знаю и другие «инструкции» — самой природы, и им верю больше. Подумайте: где и каков млекопитающее после выхода из грудного возраста потребляет молоко? Да нигде и никакое, кроме человека! А ведь природа весьма экономна, и если подобное питание в зрелом возрасте не предусматривалось, следовательно, ферменты, расщепляющие этот продукт, с выходом из соответствующего возраста, в организме исчезают. А это значит, что цельное молоко полностью нами не перерабатывается, со всеми вытекающими отсюда последствиями...

Совсем иное дело — молочнокислые продукты. Грибок взял на себя отсутствующую у нас функцию переработки, а потому все ценные вещества, содержащиеся в молоке, без каких-либо помех служат нам. Брынзы, сыры, творог наряду с другими молочнокислыми продуктами — еда долгожителей.

Короче говоря, рациональное питание — это целая наука, и овладеть ею да еще в сочетании с наукой поддержания внутренней чистоты организма — значит вернуть себе прекрасные возможности, отпущенные нам матерью-природой и столь неразумно разбазариваемые нами.

Впрочем, эти знания — лишь небольшая часть науки о здоровом образе жизни, куда входит очень широкий круг вопросов. Остановлюсь только на вызвавшей особо серьезное внимание читателей воде.

Сколько времени сохраняет она свои свойства после размораживания? До суток, но наиболее эффективны первые десять — двенадцать часов.

Можно ли на ней готовить? Дома мы готовим только на ней, стремясь не разрушить ее свойства: чай завариваем и снимаем с огня, не дожидаясь бурного клубления кипятка, овощной суп тоже варится без долгого кипения — едва вода взволновалась, в нее закладываем заранее заготовленные овощи и зелень. Через несколько минут уже можно есть удивительно ароматное, здоровое блюдо.

Многие читатели спрашивают: как быстро охладить воду, чтобы она приобрела целебные свойства «зелепухинской» воды? Очень просто: поставьте, например, джезву с водой, нагретой до 94 градусов, в таз с холодной проточной, вот и все дела.

Приношу благодарность и тем, к сожалению, немногим корреспондентам, которые вели товарищескую полемику со мной, их корректные замечания, безусловно, будут учтены в дальнейшем. Что касается некоторых писем, выдержанных в удивительно злобной тональности, то и в них я постараюсь найти рациональное зерно.

Я рад, что растревожил интерес к близкой и дорогой мне теме: «Наше здоровье — в наших руках» и теперь отчетливо вижу, что мне никуда не деться от создания большой и серьезной работы.

Всего доброго!

Ваш Юрий Андреевич Андреев

СОДЕРЖАНИЕ
за 1988 год

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

СТИХИ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК

ПРОДОЛЖАЯ РАЗГОВОР

СРЕДИ КНИГ

ИСКУССТВО

ТЕКСТЫ К ВКЛЕЙКАМ

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

ПОПРАВКА

В № 10 за 1988 год текст на 151 странице, в правом столбце, 25 строка сверху, следует читать: «вспоминать и делала».

Сдано в набор 26.08.88. Подписано к печати 28.10.88. М-31510. Формат бумаги 70×108[1]/16. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2+2 вкл.=18,55 усл. печ. л. 20,3 усл. кр.-отт. 23,19+2 вкл.=23,48 уч.-изд. л.
Тираж 555 000 экз. Заказ № 1428. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 315-84-72, 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 312-65-85, отдел критики и искусства — 312-70-96,
технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15